Д. С. ЛИХАЧЕВ

„СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ“ и культура его времени



Д. С. ЛИХАЧЕВ • „СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ“ И КУЛЬТУРА ЕГО ВРЕМЕНИ





Д. С. ЛИХАЧЕВ

•

„СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ“ и культура его времени



ЛЕНИНГРАД · «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
Ленинградское отделение
1978

Оформление художника
Н. И. ВАСИЛЬЕВА

Л $\frac{70202\ 052}{028(01)-78}$ 256-78

ПРЕДИСЛОВИЕ

Многим читателям вся древнерусская литература известна только по одному памятнику — «Слову о полку Игореве». И «Слово» поэтому представляется одиноким, ни с чем не связанным произведением, сиротливо возвышающимся среди унылого однообразия княжеских свар, диких нравов и жесточайшей нищеты жизни. Эти представления поддерживаются традиционными мнениями о низком уровне культуры Древней Руси, при этом косной и малоподвижной.

Все это глубоко ошибочно. Русь до ее монгольского завоевания была представлена великолепными памятниками зодчества, живописи, прикладного искусства, историческими произведениями и публицистическими сочинениями. Она не была отгорожена от других европейских стран, поддерживала тесные культурные связи с Византией, Болгарией, Сербией, Чехией, Моравией, Польшей, скандинавскими странами. Она была связана с Кавказом и степными народами. Ее культура не была отсталой или замкнутой в себе, отгороженной «китайской стеной» от внешнего культурного мира. Широкое распространение грамотности — это факт, доказанный сейчас многочисленными находками берестяных грамот в Новгороде. Ее культура была единой на всей огромной территории от Ладоги и Белого моря на севере до черноморской Тмуторокани на юге, от Волги на востоке и до Карпат на западе. Брачные узы княжеских семей связывали их с Францией, Германией, Венгрией, Польшей, Скандинавией, Византией, с Кавказом и половецкой кочевой аристократией.

Культура домонгольской Руси была высокой и утонченной. На этом культурном фоне «Слово о полку Игореве» не кажется одиноким, исключительным памятником.

Основная цель этой книги — показать глубокие корни всей художественной и идейной системы «Слова о полку Игореве». Особую роль играют в данном случае внелитературные связи — связи с устной речью, с феодальной символикой, с историческими представлениями, с представлениями о своем времени, с верованиями, наконец, просто с исторической действительностью и историческим прошлым Руси. Этому всему и посвящена первая и основная часть книги. Вторая часть книги полемическая. Ее цель — представить читателю серьезную и аргументированную полемику со скептиками или с неправильными истолкованиями содержания «Слова». Есть в этой второй части книги полемика с серьезными исследованиями (А. Данти и Дж. Феннелла) и с работами легковесными (О. Сулейменова и С. Н. Азбелева), но полемика и с теми, и с другими необходима для того, чтобы уровень исследований «Слова» «сохранял набранную высоту». Далеко не все из того, что писал автор в защиту «Слова», вошло в эту книгу. Нет в ней полемики по частным вопросам, например, по поводу отдельных произвольных исправлений в «Слове». Автор стоит на той точке зрения, что «Слово» необходимо защищать не только от скептиков, но и от слишком вольного обращения с его текстом, дошедшим до нас в первом издании 1800 г. и в Екатерининской копии. «Слово» можно не только срубить на корню, но и подточить его отдельными исправлениями многочисленных «старателей», пытающихся добыть в нем «золотую руду» эффектных гипотез.

«Слово» — это многосотлетний дуб, дуб могучий и раскидистый. Его ветви соединяются с кронами других роскошных деревьев великого сада русской поэзии XIX и XX вв., а его корни глубоко уходят в русскую почву. «Слово», как и всякое живое растение, нуждается в тщательном уходе, во внимательном отношении к нему — как ученых специалистов, так и рядовых читателей. Только в детальном изучении раскрывается вся его художественная мудрость, вся его неповторимая, единственная и вместе с тем традиционная и «почвенная» красота.



«СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» И ОСОБЕННОСТИ РУССКОЙ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Что сближает «Слово о полку Игореве» с литературой своего времени и что его выделяет в ней? Указывают ли отдельные сближения с литературой XII в. на то, что «Слово» не могло быть порождено другой эпохой, а то, что выделяет «Слово» среди произведений его времени, не противоречит ли его обычной датировке?

А. С. Пушкин писал в своей статье «О ничтожестве литературы русской», изумляясь непреходящей красоте «Слова»: «...«Слово о полку Игореве» возвышается уединенным памятником в пустыне нашей древней словесности»[1]. С тех пор прошло почти полтора столетия, «Слово» изучалось литературоведами, лингвистами, историками, было открыто много новых памятников древней русской литературы, изучен процесс литературного развития. Подтвердили ли все эти дальнейшие изучения мнение Пушкина об одинокости «Слова»?

Я думаю, что слова Пушкина подтверждены в том, что перед нами произведение изумительное, «горная вершина». Мы ведь и до сих пор воспринимаем «Слово» как памятник гениальный. Но мнение Пушкина не подтверждено в том, что «Слово» одиноко. «Слово» возвышается, но не в пустыне, не на равнине, а среди горной цепи, где есть и памятники исторические, ораторские, житийные, где есть произведения, сходные по своему типу, где высказывались сходные патриотические идеи, возникали сходные темы. Более чем полуторавековое изучение «Слова» и всей древней русской литературы, в которой были открыты после Пушкина многие новые памятники, позволяют нам согласиться с тем, что было в свое время сказано Б. Д. Грековым: «Волнующая

[1] Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10-ти т. Изд. 2-е. Т. 7. М., 1958, с. 307.

красота и удивляющая глубина «Слова» — не чудо, а закономерность»[1].

Не буду касаться всех связей «Слова» с литературой его времени. В последние десятилетия особенно много сделано в этом направлении. Укажу хотя бы на те многочисленные параллели, которые были подысканы к отдельным местам и образам «Слова» в работах В. П. Адриановой-Перетц, Д. В. Айналова, Б. С. Ангелова, В. Л. Виноградовой, С. А. Высоцкого, Св. Гординського, Н. К. Гудзия, Л. А. Дмитриева, Н. М. Дылевского, А. П. Евгеньевой, И. П. Еремина, К. Менгеса, Н. А. Мещерского, А. С. Орлова, А. В. Соловьева, В. И. Стеллецкого, Б. А. Рыбакова, О. В. Творогова, Р. О. Якобсона и многих других[2].

В нашу задачу входит выделить те особенности «Слова», которые делают несомненной его средневековую природу.

* * *

Русская литература уже с древнейшего периода отличалась высоким патриотизмом, интересом к темам общественного и государственного строительства, неизменно развивающейся связью с народным творчеством. Она поставила в центр своих исканий человека, она ему служит, ему сочувствует, его изображает, в нем отражает национальные черты, в нем ищет идеалы. В русской литературе XI—XVI вв. не было поэзии, лирики как обособленных жанров, и поэтому вся литература проникнута особым лиризмом[3]. Этот лиризм проникает в летописание, в исторические повести, в ораторские произведения. Характерно при этом, что лиризм имеет в древ-

---

[1] Греков Б. Д. Автор «Слова о полку Игореве» и его время. — «Историк-марксист», 1938, кн. 4, с. 10.

[2] Свод параллелей к отдельным местам «Слова» см. в кн.: Адрианова-Перетц В. П. «Слово о полку Игореве» и памятники русской литературы XI—XIII веков. Л., 1968. Библиографические сведения о работах других упомянутых здесь авторов см. ниже в подстрочных примечаниях.

[3] Об отсутствии в Древней Руси стихотворства и лирики, потребности в которых удовлетворялись по преимуществу фольклором, фольклорной лирической песнью, см.: Лихачев Д. С. Система литературных жанров Древней Руси. — В кн.: Славянские литературы. Доклады советской делегации. V Международный съезд славистов. София, сентябрь 1963 г. М., 1963, с. 47—70.

ней русской литературе по преимуществу гражданские формы. Автор скорбит и тоскует не по поводу своих личных несчастий, он думает о своей родине, к ней по преимуществу обращает всю полноту своих личных чувств. Это лирика не личностного характера, хотя личность автора в ней и выражается призывами к спасению родины, к преодолению неурядиц в общественной жизни страны, острым выражением горя по поводу поражений или междоусобий князей.

Эта типичная особенность нашла себе одно из самых ярких выражений в «Слове о полку Игореве». «Слово» посвящено теме защиты родины, оно лирично, исполнено тоски и скорби, гневного возмущения и страстного призыва. Оно эпично и лирично одновременно. Автор постоянно вмешивается в ход событий, о которых рассказывает. Он прерывает самого себя восклицаниями тоски и горя, как бы хочет остановить тревожный ход событий, сравнивает прошлое с настоящим, призывает князей-современников к активным действиям против врагов родины.

Совершенно прав И. П. Еремин, когда пишет, что автор «Слова» «действительно заполняет собою все произведение от начала до конца. Голос его отчетливо слышен везде: в каждом эпизоде, едва ли не в каждой фразе. Именно он, автор, вносит в «Слово» и ту лирическую стихию, и тот горячий общественно-политический пафос, которые так характерны для этого произведения»[1].

Те же черты мы найдем во всех исторических повестях Древней Руси, но особенно характерны они для XII и XIII вв.— для «Слова о погибели Русской земли», для «Повести о разорении Рязани Батыем», для повестей о битве на Калке, о взятии Владимира татарами и многих других.

И. П. Еремин справедливо отмечает в «Слове о полку Игореве» многие приемы ораторского искусства. Это еще не служит, как мне кажется, доказательством принадлежности «Слова» к жанру ораторских произведений, но это ярко свидетельствует о пронизывающей «Слово» стихии устной речи. Эта стихия устной речи

---

[1] Еремин И. П. «Слово о полку Игореве» как памятник политического красноречия Киевской Руси. — В кн.: «Слово о полку Игореве». Исследования и статьи. М.—Л., 1950, с. 111.

вообще характерна для древнерусской литературы, как бы еще не освободившейся от традиции устных художественных произведений, от традиций речевых выступлений[1] и церковной проповеди, но вместе с тем теснейшим образом связана с той лирической стихией, о которой говорилось выше. Через ораторские обращения и ораторские восклицания передавалось авторское отношение к событиям, изображаемым в рассказе. Перед нами в «Слове», как и во многих других произведениях Древней Руси, рассказ, в котором автор чаще ощущает себя говорящим, чем пишущим, своих читателей — слушателями, а не читателями, свою тему — темой поучения, а не рассказа.

Автор «Слова» обращается к своим князьям-современникам и в целом, и по отдельности. По именам он обращается к двенадцати князьям, но в число его воображаемых слушателей входят все русские князья и, больше того, все его современники вообще. Это лирический призыв, широкая эпическая тема, разрешаемая лирически. Образ автора-наставника, образ читателей-слушателей, тема произведения, средства убеждения — все это как нельзя более характерно для древней русской литературы в целом.

* * *

Не случайно поводом для призыва князей к единению взято в «Слове» поражение русских князей. Только непониманием содержания «Слова» можно объяснить тот факт, что А. Мазон считал целью «Слова» обоснование законности территориальных притязаний Екатерины II на юге и западе России[2]. Для такого рода притязаний скорее бы подошла тема победы, именно победа могла бы сослужить наилучшую службу для выражения лести... Для той шовинистической цели, которую предполагает А. Мазон в «Слове», толкуя его как произведение XVIII в., незачем было менять тему «Задонщины», повествующей о *победе* русского оружия, на тему *поражения* мелкого русского удельного князя

---

[1] См. в наст. изд.: Устные истоки художественной системы «Слова», с. 150—198.

[2] Mazon A. Le Slovo d'Igor. Paris, 1940, c. 160—163, 76—77 и др.

Игоря Святославича от войск половцев. Для своего времени тема поражения была органически связана с призывом исправиться и постоять за Русскую землю. Вспомним церковные поучения XI—XIII вв. Они прикреплялись к несчастным общественным событиям — нашествиям иноплеменников, землетрясениям, недородам. Начиная от «Поучения о казнях божиих», помещенного в летописи под 1067 г., и кончая поучениями Серапиона Владимирского, все призывы церковных проповедников строились на примерах общественных несчастий. Не только церковные проповедники, но и летописцы стремились высказать хотя бы несколько слов поучения по поводу того или иного поражения русских войск, голода, недорода, пожара, землетрясения, разорения городов и сел половцами, а впоследствии татарами и т. д. Типична сама форма этих поучений: если они коротки — это восклицания, напоминающие авторские отступления в «Слове о полку Игореве» («о горе и тоска!»; «тоска и туга!»; «о, велика скорбь бяше в людях!» и т. д.); если они пространны — это лирические призывы к современникам исправиться, стать на путь покаяния, активно сопротивляться злу.

Общественные несчастья служили нравоучительной основой и для житийной литературы. Убийство Бориса и Глеба, убийство Игоря Ольговича служили исходной темой для проповеди братолюбия, княжеского единения и княжеского послушания старшему.

Характерно, что не только церковная, но и чисто светская литература, светское нравоучение, политическая агитация находили себе повод в общественных несчастьях. Поражение обычно служило в Древней Руси стимулом для подъема общественного самосознания, для начала новых действий, реформ, введения новых установлений. Это была до известной степени реакция здорового, полного сил общественного организма, признак его жизнеспособности и уверенности в своем будущем. Вспомним всю реформаторскую деятельность Владимира Мономаха. Он стремился использовать уроки неурядиц и поражений для новых и новых обращений к русским князьям. Замечательно при этом, что проповедь политического единения, призывы к исправлению нравов или к новым военным действиям против врагов опирались на события только что совершившиеся, которые еще живо ощущались, не остыли, были

перед глазами у всех, были полны эмоциональной силы. Этим во много раз увеличивалась действенность проповеди. В древней литературе XI—XIII вв. почти нет случая, чтобы основной нравоучительный толчок давался событием далекого прошлого[1]. Нравоучение могло широко использовать воспоминания о прошлом (особенно когда нужно было сравнить печальное настоящее с цветущим прошлым, как, например, в «Слове о погибели Русской земли»), но тем не менее *поводом* для написания нравоучения прошлое не служило. Литературная тенденция была остро современна.

Почти все произведения древней русской литературы XI—XIII вв., посвященные реальным событиям, избирают эти события из живой современности, описывают события только что случившиеся. События далекого прошлого служат основанием только для новых компиляций, для новых редакций старых произведений, для сводов — летописных и хронографических. Вот почему самые события, изображенные в «Слове», служат до известной степени основанием для датировки столь публицистического произведения, как «Слово». Слово о полку Игореве» и в этом отношении типично. Тема поражения, как основа для поучения, для призыва к единению, может быть избрана только для произведения, составленного тотчас же после этого поражения.

* * *

Давно обращала на себя внимание жанровая одинокость «Слова» среди памятников древнерусской литературы. Ни одна из гипотез, как бы она ни казалась убедительной, не привела полных аналогий жанру «Слова». Если «Слово» — светское ораторское произведение XII в., то других светских ораторских произведений XII в. пока еще не обнаружено. Если «Слово» — былина XII в., то и былин от этого времени до нас не дошло. Если это воинская повесть, то такого рода воинских повестей мы также не знаем.

Присмотримся к некоторым особенностям жанровой системы древнерусской литературы XI—XIII вв.

---

[1] В последующее время это положение несколько меняется, особенно если произведение бывало посвящено крупнейшим историческим событиям — таким, например, как Куликовская победа.

Жанровая система древней русской литературы была довольно сложной. Основная часть жанров была заимствована русской литературой в X—XIII вв. из литературы византийской: в переводах и в произведениях, перенесенных на Русь из Болгарии. В этой перенесенной на Русь системе жанров были в основном церковные жанры: жанры произведений, необходимых для богослужения и для церковной жизни — монастырской и приходской. Здесь должны быть отмечены различные руководства по богослужению, молитвы и жития святых различных типов; произведения, предназначавшиеся для благочестивого индивидуального чтения и т. д. Но, кроме того, были и сочинения более «светского» характера: разного рода естественно-научные сочинения (шестодневы, бестиарии, алфавитарии), сочинения по всемирной истории (по ветхозаветной и римско-византийской), сочинения типа «еллинистического романа» («Александрия») и многие другие.

Разнообразие перешедших на Русь жанров поразительно. Однако вот на что следует обратить внимание. Перешедшие на Русь жанры по-разному продолжали здесь свою жизнь. Были жанры, которые существовали только вместе с перенесенными на Русь произведениями и самостоятельно здесь не развивались. И были другие, продолжавшие на Руси активное свое существование. В их рамках создавались новые произведения: например, жития русских святых, проповеди, поучения, реже молитвы и другие богослужебные тексты.

Таким образом, среди жанров, перенесенных на Русь из Византии и Болгарии, существовали «живые» жанры и «мертвые».

Кроме этой традиционной системы литературных жанров, существовала и другая традиционная жанровая система — фольклорная.

Одна особенность жанровой системы фольклора должна быть отмечена прежде всего. Фольклор в XI—XIII вв. был тесно связан с литературой, и его жанры были соединены с жанрами литературы. Те и другие составляли некое двуединство словесного искусства. Поясню, что я имею в виду.

В XI—XIII вв. граница между фольклором и литературой проходила не там, где она проходит в новое время. В новое время фольклор — это искусство народа, крестьянства, низших слоев населения. В средние века

и в особенности в раннем средневековье фольклор распространен во всех слоях общества: и у крестьян, и у феодалов. Граница между литературой и фольклором в это время не столько социальная, сколько жанровая.

Есть жанры, которые требуют письменного оформления, и есть жанры, которые требуют устного исполнения. А поскольку грамотность была распространена не во всех слоях общества, то не столько фольклор, сколько литература была ограничена и социально. Фольклор же в период раннего феодализма этих социальных ограничений в целом не знал. Как известно, в новое и особенно новейшее время положение обратное: не ограничена социально литература, а социально ограничен фольклор.

Обе традиционные системы жанров — литературная и фольклорная — находились во взаимной связи. Отдельные потребности в словесном искусстве удовлетворялись только фольклором, другие — только литературой.

В самом деле. Любовная лирика, развлекательные жанры были на Руси до XVII в. только в фольклоре. Церковные же и различные сложные исторические жанры были только в литературе.

Отсутствие в древней русской литературе от XI и до XVII в. любовной лирики, театра, ограниченность развлекательных сочинений, как я думаю, объясняется именно тем, что в фольклоре была уже высокая личная лирика, была сказка, были игры и представления скоморохов. А фольклор обслуживал всех.

Итак, в древней русской литературе ко времени создания «Слова о полку Игореве» существовали две традиционные системы жанров, тесно связанные друг с другом и взаимно друг друга дополнявшие.

Однако, как бы ни была богата традиционная (двойная) система жанров, в XI—XIII вв. она оказалась все же недостаточной.

Самым кратким образом остановимся на вопросе о том, почему же она оказалась недостаточной.

XI—XIII вв. на Руси — это время необыкновенных по быстроте, широте и глубине социальных и политических преобразований. Русь из родового общинного общества быстро становится обществом феодальным. Феодализация происходит ускоренными темпами. Возникает колоссальное, самое большое в тогдашней Ев-

ропе государство. Это государство принимает развитую христианскую религию, на Русь переносится высокая византийская культура. Возникает новое историческое и патриотическое самосознание, которое требует новых жанровых форм для своего выражения.

В результате поисков новых жанров в русской литературе и, я думаю, в фольклоре появляется много произведений, которые трудно отнести к какому-нибудь из прочно сложившихся традиционных жанров. Эти произведения стоят как бы вне их.

Ломка традиционных форм вообще была довольно обычной на Руси. В разные эпохи и в разных обстоятельствах стремление «начать все сначала» овладевало обществом. Дело в том, что новая явившаяся на Русь культура была хотя и очень высокой, создав первоклассную «интеллигенцию», но налегла тонким слоем — слоем хрупким, ломким. Вследствие этой хрупкости и ломкости образование новых форм, появление внетрадиционных произведений было очень облегчено.

Вместе с тем все более или менее выдающиеся произведения литературы, основанные на глубоких внутренних потребностях, часто вырываются за пределы традиционных форм. В самом деле, такое выдающееся произведение, как «Повесть временных лет», не укладывается в воспринятые на Руси жанровые рамки. «Повесть об ослеплении Василька Теребовльского» — это тоже произведение вне традиционных жанров.

Ломают традиционные жанры произведения князя Владимира Мономаха: его «Поучение», его автобиография, его письмо к Олегу Святославичу.

Вне традиционной жанровой системы находится «Моление Даниила Заточника», «Слово о погибели Русской земли», «Похвала» Роману Галицкому и многие другие замечательные произведения древней русской литературы XI—XIII вв. В последующее время, в XIV—XVI вв., литературные произведения укладываются в установившиеся жанры — и те, что были традиционно восприняты из византийской литературы, и те, что были вновь созданы на Руси.

Таким образом, для XI—XIII вв. характерно, что многие более или менее талантливые произведения отличаются младенческой неопределенностью форм.

Забегая несколько вперед, скажу, что неясность жанровой принадлежности «Слова о полку Игореве» —

явление как раз этого порядка, типичное для литературы XI—XIII вв.

Следует предположить, что новые жанры или новые видоизменения старых жанров образовались в раннефеодальный период также и в фольклоре. Эти изменения нам очень мало известны, как мало известен и самый фольклор этого периода, очень слабо отразившийся в письменности XI—XIII вв.

Свидетельством появления новых жанров в эпическом творчестве является «Слово о полку Игореве» — памятник, стоящий на грани литературы и фольклора.

Обратим внимание на одну черту общественного сознания раннефеодального общества, вызвавшего формирование новых жанров и в литературе, и в фольклоре.

Раннефеодальные государства были очень непрочными. Рост производительных сил при недостаточности экономических связей приводил к обособлению отдельных княжеств. Единство государства постоянно нарушалось раздорами феодалов. Однако общность языка, фольклора, бытовых и исторических традиций, память об общности исторического прошлого и постоянная внешняя опасность настоятельно требовали сохранения единства страны. Чтобы удержать единство, требовалась высокая общественная мораль, высокое чувство чести, верности, самоотверженности, высокое патриотическое самосознание и высокое развитие словесного искусства — жанров политической публицистики, жанров, воспевающих любовь к родной стране, жанров лиро-эпических.

Единство государства, при недостаточности связей экономических и военных, не могло существовать без интенсивного развития патриотических качеств у феодалов и рядовых воинов. Вот почему развивается личностное начало в эпосе. Певец-исполнитель выражает свое личное отношение к рассказываемым событиям.

Для раннефеодальной литературы и для раннефеодального эпоса в равной степени характерны произведения, окрашенные чувством сильной личной привязанности к родной стране, недовольством существующим положением, особенно раздорами и вызванными этими раздорами военными поражениями. В раннефеодальном эпосе Франции типичны в этом отношении chansons de geste. Эпос становится лиричен и публицистичен. В нем отражаются симпатии к сильной королевской власти,

осуждение своевольных поступков феодалов и вместе с тем похвала их чувству чести, их рыцарским добродетелям, скорбь по поводу вызванных их своевольством поражений.

Возвращаясь к проблеме образования новых жанров в русской литературе XI—XIII вв., необходимо указать на то, что новые жанры по большей части образуются на стыке фольклора и литературы. Такие произведения, как «Слово о погибели Русской земли» или «Моление Даниила Заточника»,— полулитературные-полуфольклорные.

Возможно даже, что зарождение новых жанров происходит в устной форме, а потом уже закрепляется в литературе.

Типичным мне представляется образование нового жанра в «Молении Даниила Заточника». В свое время я писал о том, что это произведение скоморошье[1]. Скоморохи Древней Руси были близки к западноевропейским жонглерам и шпильманам. Близки были и их произведения. «Моление Даниила Заточника» было посвящено профессиональной скоморошьей теме. В нем скоморох Даниил выпрашивает «милость» у князя. Для этого он восхваляет сильную власть князя, его щедрость и одновременно стремится возбудить жалость к себе, расписывая свои несчастья и пытаясь рассмешить слушателей своим остроумием.

Другой тип произведения, гораздо более серьезного, но вышедшего из той же среды княжеских певцов, представляет собой «Слово о полку Игореве».

«Слово о полку Игореве» принадлежит к числу книжных отражений раннефеодального эпоса. Оно стоит в одном ряду с такими произведениями, как немецкая «Песнь о Нибелунгах», грузинский «Витязь в тигровой шкуре», армянский «Давид Сасунский» и т. д. Но особенно много общего в жанровом отношении у «Слова о полку Игореве» с «Песнью о Роланде».

Автор «Слова о полку Игореве» причисляет свое произведение к числу «трудных повестей», то есть к повествованиям о военных деяниях (ср. chansons de geste). «Слово» оплакивает поражение Игоря. Это поражение — результат безрассудного, безумно смелого по-

---

[1] Лихачев Д. С. Великое наследие. Классические произведения литературы Древней Руси. М., 1975, с. 218—220.

хода небольшого войска князя Игоря в далекие степи — на неверных язычников «паганых» (paganus — язычник). Трагичность поражения усугубляется тем, что войско идет навстречу неминуемой гибели, но не может вернуться из-за высокого чувства чести князя и его дружины.

Как и в «Песне о Роланде», где седобородый император Карл сочувствует Роланду и оплакивает его, хотя и осуждает,— в «Слове о полку Игореве» седой киевский князь Святослав оплакивает гибель Игорева войска, жалеет о судьбе Игоря и одновременно его осуждает.

Карл и Святослав символизируют собой национальное и государственное единство своих стран. Они мирно управляют своими странами, пока герои идут в поход.

В русских былинах образам Карла и Святослава соответствует образ киевского князя Владимира Красное Солнышко, при дворе которого живут богатыри, совершающие свои подвиги по защите Русской земли от врагов-язычников.

В «Слово о полку Игореве» вставлено (инкрустировано) другое произведение — «Плач Ярославны», — очень напоминающее западноевропейские песни о разлуке. Как и песни о разлуке (chansons de toile), плач Ярославны, жены князя Игоря, оплакивает разлуку с мужем, ушедшим в далекий поход на язычников.

В «Слове о полку Игореве», как и в chansons de geste, сильно сказывается авторское начало. Пока это авторское начало еще слито с началом исполнительским, не отделено от него. В «Слове» автор говорит о себе как об исполнителе своего произведения под аккомпанемент гуслей. Однако это авторско-исполнительское начало чрезвычайно важно для понимания особенностей жанра. Оно дает возможность лирически интерпретировать события, сопровождать рассказ горестными размышлениями, лирическими восклицаниями и отступлениями и обратиться к слушателям с призывом объединиться и стать на защиту Русской земли.

Лирическое начало пронизывает собой весь стиль «Слова о полку Игореве». В наиболее патетических местах автор дважды восклицает: «О русская земля, уже ты за холмом!» Дважды автор горестно восклицает, прерывая свой рассказ: «А Игорево войско не воскре-

сить!» Для «Песни о Роланде», как известно, также характерны повторные тирады (laisses similaires).

В «Слове о полку Игореве», как и в «Песне о Роланде», кажется, что поэт, пораженный горем, не может расстаться с этим горем, не может перейти к другой теме. Он как бы останавливает свой рассказ, предаваясь горестным размышлениям и воспоминаниям о таких же несчастьях в прошлом.

Между «Словом о полку Игореве» и «Песнью о Роланде» есть и другие черты типологической близости: вещие сны, знамения, приметы, заботливое перечисление военной добычи и многое другое.

О близости «Слова о полку Игореве» и «Песни о Роланде» писали многие русские и советские ученые — Полевой, Погодин, Буслаев, Майков, Каллаш, Дашкевич, Дынник и Робинсон [1]. Однако прямой генетической зависимости «Слова» от «Песни о Роланде» здесь нет. Есть только общность жанра, возникшего в сходных условиях раннефеодального общества.

Но между «Словом о полку Игореве» и «Песнью о Роланде» есть и существенные отличия. Эти различия не менее важны, чем и сходства, для истории раннефеодального эпоса Европы.

Различия эти вызваны вот чем. «Слово о полку Игореве» создано вскоре после событий, по-видимому, через несколько лет, тогда как «Песнь о Роланде» формировалась столетиями. Во всяком случае, Оксфордская — наиболее ранняя — рукопись «Песни о Роланде» относится к XI в. и отстоит от событий поражения Роланда (778 г.) на три-четыре века.

Это различие сказывается на приемах художественного обобщения в том и другом произведении.

Чудесный, сверхъестественный элемент в «Слове о полку Игореве» слабее, чем в «Песне о Роланде». Гиперболизация в «Слове о полку Игореве» не достигла такой сильной степени, как в «Песне о Роланде». Поэтому образ князя Святослава ближе к историческому князю Святославу, чем образ императора Карла в «Песне о Роланде» к историческому Карлу.

---

[1] Робинсон А. Н. «Слово о полку Игореве» и героический эпос средневековья. — «Вестник АН СССР», 1976, № 4, с. 104—112. В этой статье вопрос о близости «Слова» и «Песни о Роланде» рассмотрен с наибольшей широтой в культурологическом аспекте; там же библиография вопроса.

«Слово о полку Игореве» историчнее, ближе к историческим событиям, чем «Песнь о Роланде». Хотя, надо сказать, что тенденции гиперболизации и введения чудесного элемента ясны уже и в «Слове». Гиперболизированы мудрость и сила Святослава, гиперболизированы подвиги брата Игоря — Всеволода Буй Тура. Что же касается чудесного элемента, то в «Слове о полку Игореве» он все же интенсивно проникает в описания природы. Как и в «Песне о Роланде», природа сочувствует герою, предупреждает его об опасности, помогает ему. Это сочувствие природы русскому войску и предводителю похода сильно увеличивает трагичность и лиричность всего произведения.

Вместе с тем, поскольку «Слово о полку Игореве» ближе к животрепещущим событиям, которые послужили его темой, в нем сильнее сказывается, чем в «Песне о Роланде», публицистический элемент, вернее — лирико-публицистический. В «Слове» сильнее, чем в «Песне о Роланде», осуждение князей-современников за их междоусобия и легкомысленную отвагу, сильнее звучит призыв объединиться и общими усилиями защитить Русскую землю от «поганых» — язычников.

«Слово о полку Игореве» «злободневнее», чем «Песнь о Роланде».

Наконец, есть и еще одно важное отличие «Слова о полку Игореве» и «Песни о Роланде». Отличие это заложено как будто бы в различиях самих событий. Дело в том, что герой «Песни о Роланде» погибает, герой же «Слова о полку Игореве» бежит из плена. Поэтому «Слово о полку Игореве» заканчивается радостно — «славой» Игорю.

Однако наличие в «Слове о полку Игореве» элементов «славы» могло явиться не только результатом темы, событий, легших в основу произведения, но и особенностей русского жанра «трудных пóвестий».

В свое время я уже неоднократно писал о том, что в «Слове» соединены два фольклорных жанра — «слава» и «плач»: прославление князей с оплакиванием печальных событий. В самом «Слове» и «плачи», и «славы» упоминаются неоднократно. И в других произведениях Древней Руси мы можем заметить тоже соединение «слав» в честь князей и «плача» по погибшим. Так, например, близкое по ряду признаков к «Слову о полку Игореве» — «Слово о погибели Русской земли» пред-

ставляет собой соединение «плача» о гибнущей Русской земле со «славой» ее могучему прошлому.

Это соединение в «Слове о полку Игореве» жанра «плачей» с жанром «слав» не противоречит тому, что «Слово о полку Игореве» как «трудная повесть» близка по своему жанру к chansons de geste. «Трудные повести», как и chansons de geste, принадлежат к новому жанру, очевидно соединившему при своем образовании два более древних жанра — «плачи» и «славы». «Трудные повести» оплакивали гибель героев, их поражение и восхваляли их рыцарские доблести, их верность и их честь.

Как известно, «Песнь о Роланде» не есть простая запись устного, фольклорного произведения. Это книжная обработка устного произведения. Во всяком случае, такое соединение устного и книжного представляет текст «Песни о Роланде» в известном Оксфордском списке.

То же самое мы можем сказать и о «Слове о полку Игореве». Это книжное произведение, возникшее на основе устного. В «Слове» органически слиты фольклорные элементы с книжными.

Характерно при этом следующее. Больше всего книжные элементы сказываются в начале «Слова». Как будто бы автор, начав писать, не мог еще освободиться от способов и приемов литературы. Он недостаточно еще оторвался от письменной традиции. Но по мере того как он писал, он все более и более увлекался устной формой. С середины он уже не пишет, а как бы записывает некое устное произведение. Последние части «Слова», особенно «плач Ярославны», почти лишены книжных элементов.

Выше я утверждал, что в XI—XII вв. на Руси недостаточно оформились многие новые жанры и были произведения, которые стояли обособленно в жанровом отношении, носили монадный характер.

Однако эта жанровая обособленность вела к образованию новых жанров. Мы не можем сейчас решить окончательно: было ли «Слово о полку Игореве» совершенно одиноко в жанровом отношении, как некая «трудная повесть», chansons de geste, или были и другие произведения того же жанра. Во всяком случае, одинокое или не одинокое, «Слово» представляло собой

некое закономерное и характерное явление для литературы и для фольклора раннефеодального периода.

Попытаемся все же проанализировать своеобразную гибридность «Слова» и прежде всего его жанровые связи с народной поэзией.

Связь «Слова» с произведениями устной народной поэзии яснее всего ощущается, как я уже сказал, в пределах двух жанров, чаще всего упоминаемых в «Слове»: плачей и песенных прославлений — «слав», хотя далеко не ограничивается ими. «Плачи» и «славы» автор «Слова» буквально приводит в своем произведении, им же он больше всего следует в своем изложении. Их эмоциональная противоположность дает ему тот обширный диапазон чувств и смен настроений, который так характерен для «Слова» и который сам по себе отделяет его от произведений устной народной словесности, где каждое произведение подчинено в основном одному жанру и одному настроению.

Плачи автор «Слова» упоминает не менее пяти раз: плач Ярославны, плач жен русских воинов, падших в походе Игоря, плач матери Ростислава; плачи же имеет в виду автор «Слова» тогда, когда говорит о стонах Киева и Чернигова и всей Русской земли после похода Игоря. Дважды приводит автор «Слова» и самые плачи: плач Ярославны и плач русских жен. Многократно он отвлекается от повествования, прибегая к лирическим восклицаниям, столь характерным для плачей: «О, Руская земле! уже за шеломянемъ еси!»; «То было въ ты рати и въ ты плъкы, а сицей рати не слышано!»; «Что ми шумить, что ми звенить далече рано предъ зорями?»; «А Игорева храбраго плъку не крѣсити?».

Близко к плачам и «золотое слово» Святослава, если принимать за золотое слово только тот текст «Слова», который заключается упоминанием Владимира Глебовича: «Туга и тоска сыну Глѣбову». «Золотое слово» «съ слезами смѣшено», и Святослав говорит его, обращаясь, как и Ярославна, к отсутствующим — к Игорю и Всеволоду Святославичам. Автор «Слова» как бы следует мысленно за полком Игоря и мысленно его оплакивает, прерывая свое повествование близкими к плачам лирическими отступлениями: «Дремлетъ въ полѣ Ольгово хороброе гнѣздо. Далече залетѣло! Не было оно обидѣ порождено, ни соколу, ни кречету, ни тебѣ, чрьный воронъ, поганый половчине!».

Близость «Слова» к плачам особенно сильна в плаче Ярославны. Автор «Слова» как бы цитирует плач Ярославны — приводит его в более или менее большом отрывке или сочиняет его за Ярославну, но в таких формах, которые действительно могли ей принадлежать.

Плач русских жен по воинам Игоря автор «Слова» передает не только как лирическое излияние, но старается воспроизвести перед воображением читателя и сопровождающее его языческое действо: «За нимъ кликну Карна, и Жля поскочи по Руской земли, смагу людемъ мычючи въ пламянѣ розѣ».

Не менее активно, чем «плачи», участвуют в «Слове» стоящие в нем на противоположном конце сложной шкалы поэтических настроений песенные «славы». С упоминания о славах, которые пел Боян, «Слово» начинается. Славой Игорю, Всеволоду, Владимиру и дружине «Слово» заключается. Ее поют Святославу немцы и венедици, греки и морава. Слава звенит в Киеве, ее поют девицы на Дунае. Она вьется через море, пробегает пространство от Дуная до Киева. Отдельные отрывки из «слав» как бы звучат в «Слове»: и там, где автор говорит о Бояне, и там, где он слагает примерную песнь в честь похода Игоря. «Славы» то тут, то там слышатся в обращениях автора «Слова» к русским князьям, в диалоге Игоря с Донцом («Княже Игорю, не мало ти величия...»; «О, Донче! не мало ти величия...»). Наконец, они прямо приводятся в его заключительной части: «Солнце свѣтится на небесѣ,— Игорь князь въ Руской земли».

Итак, «Слово» очень близко к народным «плачам» и «славам» (песенным прославлениям). И «плачи», и «славы» часто упоминаются в летописях XII—XIII вв. «Слово» близко к ним и по своей форме, и по своему содержанию, но в целом это, конечно, не «плач» и не «слава». Народная поэзия не допускает смешения жанров. Это произведение книжное, но близкое к этим жанрам народной поэзии.

Было ли «Слово» единственным произведением, столь близким к народной поэзии, в частности к двум ее видам: к «плачам» и «славам»? Этот вопрос очень существен для решения вопроса о том, противоречит ли «Слово» своей эпохе по стилю и жанровым особенностям.

От времени, предшествующего «Слову», до нас не дошло ни одного произведения, которое хотя бы отчасти

напоминало «Слово» по своей близости народной поэзии. Мы можем найти отдельные аналогии «Слову» в деталях, но не в целом. Только *после* «Слова» мы найдем в древней русской литературе несколько произведений, в которых встретимся с тем же сочетанием плача и славы, с тем же дружинным духом, с тем же воинским характером, которые позволяют объединить их со «Словом» по жанровым признакам.

Мы имеем в виду следующие три произведения: «Похвалу Роману Мстиславичу Галицкому», читающуюся в Ипатьевской летописи под 1201 г., «Слово о погибели Русской земли» и «Похвалу роду рязанских князей», дошедшую до нас в составе повестей о Николе Заразском. Все эти три произведения обращены к прошлому, что составляет в них основу для сочетания плача и похвалы. Каждое из них сочетает книжное начало с духом народной поэзии «плачей» и «слав». Каждое из них тесно связано с дружинной средой и дружинным духом воинской чести.

«Похвала Роману Мстиславичу» — это прославление его и плач по нем. Это одновременно плач по былому могуществу Русской земли и слава ей. В текст этой «жалости и похвалы» введен краткий рассказ о траве евшан и половецком хане Отроке. Похвала посвящена Роману и одновременно Владимиру Мономаху. Ощущение жанровой близости «Слова о полку Игореве» и «Похвалы Роману Мстиславичу» было настолько велико, что оно позволяло даже некоторым исследователям видеть в «Похвале» отрывок, отделившийся от «Слова». Но «Похвала» и «Слово» имеют и существенное различие. Эти различия не жанрового характера. Они касаются лишь самой авторской манеры. Так, например, автор «Похвалы Роману» сравнивает его со львом и с крокодилом («Устремил бо ся бяше на поганыя, яко и лев, сердит же бысть, яко и рысь, и губяше, яко и коркодил, и прехожаше землю их, яко и орел, храбор бо бе, яко и тур»). Автор «Слова о полку Игореве» постоянно прибегает к образам животного мира, но никогда не вводит в свое произведение иноземных зверей. Он реально представляет себе все то, о чем рассказывает и с чем сравнивает. Он прибегает только к образам русской природы, избегает всяких сравнений, не прочувствованных им самим и не ясных для читателя.

«Слово о погибели Русской земли» — также плач и слава, «жалость и похвала». Оно полно патриотического и одновременно поэтического раздумья над былой славой и могуществом Русской земли. В сущности, и в «Похвале Роману» тема былого могущества Русской земли — центральная. Здесь, в «Слове о погибели», эта тема не заслонена никакой другой. Как и «Похвала Роману», она насыщена воздухом широких просторов родины. В «Похвале» — это описание широких границ Русской земли, подвластной Мономаху. Здесь, в «Слове о погибели», это также еще более детальное описание границ Руси, подчиненной тому же Мономаху. «Отселе до угор, и до ляхов, до чахов, от чахов до ятвязи, и от ятвязи до литвы, до немець; от немець до корелы, от корелы до Устьюга, где тамо бяху тоимичи погании, и за Дышючим морем, от моря до болгар, от болгар до буртас, от буртас до чермис, от чермис до моръдви,— то все покорено было богом христьяньскому языку поганьскыя страны: великому князю Всеволоду, отцю его Юрью, князю кыевъскому, деду его Володимеру и Мономаху, которым то половьцы дети своя полошаху в колыбели, а литва из болота на свет не выникиваху, а угры твердяху каменыи городы железными вороты, абы на них великый Володимер тамо не възехал, а немци радовахуся, далече будуче за синим морем».

Не только поэтическая манера сливать похвалу и плач, не только характер темы сближают «Похвалу Роману» со «Словом о погибели», но и самое политическое мировоззрение, одинаковая оценка прошлого Русской земли. В «Слове о погибели» нет только того элемента рассказа, который есть в «Похвале Роману» и который сближает ее со «Словом о полку Игореве»[1].

Наконец, тем же грустным воспоминанием о былом могуществе родины, тою же «похвалою» и «жалостью» овеяно и третье произведение этого вида — «Похвала роду рязанских князей». Эта последняя восхваляет славные качества рода рязанских князей, их княжеские добродетели, но и за этой похвалой старым рязанским князьям ощутимо стоит образ былого могущества

[1] Близость «Слова о полку Игореве» и «Слова о погибели» была отмечена во многих работах. Обстоятельнее всего вопрос о принадлежности обоих произведений к «одной поэтической школе» освещен в работе А. В. Соловьева «New traces of the Igor tale in old Russian literature» («Harvard Slavic Studies», v. I. Cambridge Mass., 1953).

Русской земли. О Русской земле, о ее чести и могуществе думает автор «Похвалы», когда говорит о том, что рязанские князья были «к приезжим приветливы», «к посолником величавы», «ратным во бранях страшныи являшеся, многие враги востающи на них побежаше, и во всех странах славно имя имяше». В этих и во многих других местах «Похвалы» рязанские князья рассматриваются как представители Русской земли, и именно ее чести, славе, силе и независимости и воздает похвалу автор. Настроение скорби о былой независимости родины пронизывает собой всю «Похвалу роду рязанских князей». Таким образом, и здесь мы вновь встречаем то же сочетание славы и плача, которое мы отметили и в «Слове о полку Игореве». Это четвертое (включая и «Слово о полку Игореве») сочетание плача и славы окончательно убеждает нас в том, что оно отнюдь не случайно и в «Слове о полку Игореве». Ведь и «Задонщина» в конце XIV в. подхватила в «Слове» то же сочетание «похвалы» и «жалости», создав и самое это выражение «похвала и жалость», которым мы пользовались выше.

Следовательно, «Слово о полку Игореве» не одиноко в своем сочетании плача и славы. Оно, во всяком случае, имеет своих преемников, если не предшественников. И вместе с тем на фоне «Похвалы Роману», «Похвалы роду рязанских князей» и «Слова о погибели Русской земли» «Слово о полку Игореве» глубоко оригинально. Оно выделяется среди них силой своего художественного воздействия. Оно шире по кругу охватываемых событий. В еще большей мере, чем остальные произведения, сочетает в своей стилистической системе книжные элементы с народными. Но факт тот, что «Слово» не абсолютно одиноко в русской литературе XII—XIII вв., что в нем могут быть определены черты жанровой и стилистической близости с тремя произведениями XIII в., каждое из которых стало известно в науке *после* открытия и опубликования «Слова о полку Игореве».

* * *

Языческие элементы в «Слове о полку Игореве» выступают, как известно, очень сильно. Это обстоятельство всегда привлекало внимание исследователей, а у

скептиков вызывало новые сомнения в подлинности «Слова». Большинство исследователей тем не менее объясняли это фольклорностью «Слова», другие в последнее время видели в этом характерное явление общеевропейского возрождения язычества в XII в.[1].

Действительно, «Слово о полку Игореве» выделяется среди других памятников древней русской литературы не только тем, что языческие боги упоминаются в нем относительно часто, но и отсутствием обычной для памятников древнерусской литературы враждебности к язычеству.

Тем не менее язычество «Слова» не только не противоречит нашим современным представлениям об истории русской религиозности и об отношении к язычеству в Древней Руси в XII в., но в известной мере подтверждает их. Особенное значение имеют в изучении этого вопроса работы Е. В. Аничкова[2] и В. Л. Комаровича[3].

Обратим внимание на то обстоятельство, что в «Слове» очень часто говорится о «вънуках» языческих богов: Боян, «Велесов внуче», ветры «Стрибожи вънуци», «жизнь Дажъбожя вънука», «въ силах Дажъбожя вънука». А. Мазон считает, что перед нами в данном случае типичное псевдоклассическое клише: Боян называется внуком Велеса, подобно тому как поэты XVIII в. назы-

---

[1] Аналогичное древнерусскому возрождение язычества в XII в. в Западной Европе отмечают ряд исследователей (Seznec. La survivance des dieux antiques. London, 1940; Vries J. De Skaldenkenningen met mythologischen Inhould. Haarlem, 1934). Р. О. Якобсон отмечает общее условие этого «возрождения»: язычество перестало быть опасным для христианства (The Puzzles of the Igor' Tale on the 150th anniversary of its first edition. — «Speculum», 1952, January, с. 57). В своей работе «О закономерностях развития восточнославянского и европейского эпоса в раннефеодальный период» (в кн.: Славянские литературы. VII Международный съезд славистов. Варшава, август 1973 г. М., 1973, с. 217 и след.). А. Н. Робинсон рассматривает древнерусские и половецкие пережитки язычества в «Слове» как явления архаические для XII в. и вместе с тем приписывает им реально-идеологическое значение. Я настаиваю на том, что пережитки эти были типичны для XII—XIII вв. (см. дальше изложение взглядов В. Л. Комаровича) и частично являлись для автора «Слова» явлениями эстетического порядка.

[2] Аничков Е. В. Язычество и Древняя Русь. СПб., 1914 (см. главы: «Два взгляда на язычество у древнерусских книжников» и «Боги в «Слове о полку Игореве» и новый взгляд древних книжников на язычество»).

[3] См.: Комарович В. Л. Культ Рода и Земли в княжеской среде XII в. — ТОДРЛ, т. XVI. М.—Л., 1959, с. 84—104.

вались сыновьями Аполлона[1]. Однако сын и внук — это совсем не одно и то же. Внук в данном случае несомненно имеет значение «потомка» (ср. «Хамови вънуци» — Изборник 1073 г.; «внуки святаго великаго князя Владимира князя Святослава Ольговича Черниговского» — «Повесть о разорении Рязани Батыем» и др.).

В «Слове» перед нами несомненные пережитки религии еще родового строя. Боги — это родоначальники. В. Л. Комаровичу, как мне кажется, удалось вполне убедительно показать, что культ Рода глубоко проник в сознание людей домонгольской Руси и в пережиточной форме сохранялся даже в политических представлениях и политической действительности XII—XIII вв. Культ родоначальника сказался, в частности, в элементах религиозного отношения к Олегу Вещему, воспринимавшемуся одно время как родоначальник русских князей[2], даже в политической системе «лествичного восхождения» князей и во многом другом. Исследование В. Л. Комаровича показывает целую систему представлений XII—XIII вв., связанную с этими пережитками культа Рода.

В «Слове о полку Игореве» эти пережитки также могут быть отмечены — не только в том, что люди и явления признаются потомством богов, но и в самой системе художественного обобщения. В самом деле, для чего в «Слове» даны большие отступления об Олеге Гориславиче (Святославиче) и Всеславе Полоцком? Многим из исследователей эти отступления казались совершенно непонятными: в них видели то вставки, то проявления неуместной придворной лести, разрывающей художественное единство произведения[3].

На самом деле, как это можно заключить из материалов исследования В. Л. Комаровича, эти отступления закономерны: князья Ольговичи характеризуются

---

[1] Mazon A. Le Slovo d'Igor, с. 62. О слове «внук» см.: Лотман Ю. М. «Слово о полку Игореве» и литературная традиция XVIII—XIX в. — В кн.: «Слово о полку Игореве» — памятник XII века. М. — Л., 1962, с. 372—373.

[2] Повесть временных лет. Часть вторая. Серия «Литературные памятники». М.—Л., 1950, с. 249—250.

[3] А. В. Соловьев считает, что часть, посвященная в «Слове» Всеславу Полоцкому, внесена автором «Слова» — придворным певцом Святослава Киевского; последний был женат на Марии Васильевне Полоцкой, правнучке Всеслава (см.: Политический кругозор автора «Слова о полку Игореве». — «Исторические записки», 25. М., 1948).

по их родоначальнику Олегу, Всеславичи — по их родоначальнику Всеславу Полоцкому[1]. Перед нами единое представление о взаимоотношении предков и потомков, в котором элементы культа перекрещиваются с элементами политических воззрений, быта и, как мне представляется, художественного мышления.

Как показал Е. В. Аничков, в Древней Руси существовало два взгляда на происхождение языческих богов. Согласно первому взгляду, языческие боги — это бесы. Взгляд этот опирался на Библию, высказывания апостолов и отцов церкви. Языческие боги названы бесами во Второзаконии (82_{16-17}), в Псалмах (105_{37}), у апостола Павла (I-е Послание Коринфянам, 10_{20}). Взгляд этот усвоен был нашей древнейшей летописью в рассказе о варягах-мучениках и о крещении Руси, в рассказе летописи под 1067 г., и т. д. Этот взгляд требовал умолчания имен богов, упоминание которых считалось греховным. Е. В. Аничков обращает внимание на учение Иисуса Навина — «не вспоминайте имени богов их» (Иисус Навин, 23_7) — и на слова псалма «не упомяну имен их устами моими» (15_4), которые объясняют нежелание древнерусских книжников называть имена древнерусских богов и даже особую формулу древнерусских поучений, отмечающих, вслед за рано переведенной в славянской письменности проповедью Ефрема Сирина против вновь впадающих в язычество, что о последнем «срам» говорить[2].

Этот древнейший взгляд на язычество, как отмечает Е. В. Аничков, по мере успехов борьбы с язычеством сменяется более спокойным к нему отношением. Развивается второй взгляд на язычество: языческие боги не заключают в себе ничего сверхъестественного. Боги — это простые люди, которых потом обоготворило потомство. Еще в «Речи философа» сказано, что люди творили кумиры «во имяна мертвых человек, овем бывшим царем, другом храбрым и волъхвом, и женам прелюбодеицам»[3].

Интересное рассуждение записано в «Повести временных лет» под 1114 г. Там сказано, что Сварог и Дажъбог сотворены кумирами во имя «бывшего царя»

---

[1] См. подробнее: Лихачев Д. С. Человек в литературе древней Руси. М., 1958, с. 130—131.

[2] Аничков Е. В. Язычество и Древняя Русь, с. 107—109.

[3] Повесть временных лет. Часть первая. Текст и перевод. Серия «Литературные памятники». М.—Л., 1950, с. 64.

Феост-Гефест — родоначальника целого поколения богов-царей. Причем характерно, что отношение к этим богам-царям вовсе не отрицательное: они одобряются за то, что установили единобрачие. Взгляд на богов как на предков отражен в «Хождении богородицы по мукам». В этом произведении говорится, в частности, о том, что нечестивцы «богы назваша» «человеческа имена»— «Трояна, Хърса, Велеса, Перуна»[1]. По-видимому, основанием к такому взгляду на языческих богов служили не только произведения переводной литературы, но и самый характер древнерусского язычества, в котором действительно были элементы культа предков, как это блестяще показано исследованием В. Л. Комаровича и как это ясно из самого «Слова о полку Игореве» и его художественных обобщений.

Если это так, и «Слово» действительно придерживалось взгляда на языческих богов не как на бесов, а как на родоначальников, то понятно его спокойное отношение к языческим богам, отсутствие боязни называть языческих богов и их своеобразное поэтическое переосмысление.

* * *

Авторы древнерусских литературных произведений обычно не скрывают своих намерений. Они ведут свое повествование для определенной цели, которую прямо сообщают читателю. Авторская тенденция по большей части явна и только в редких случаях скрыта за авторским изложением (в некоторых случаях так скрывалась, например в летописи, политическая тенденция). Это стремление открыто проводить определенную идею в своих произведениях отразилось, в частности, в описаниях природы.

Древняя русская литература чаще рассказывает, чем описывает. Она чаще изображает события, чем состояния. Она не отвлекает явления от их отношения к главной цели повествования, не интересуется явлениями самими по себе, независимо от их отношения к человеку. Она антропоцентрична. Поэтому древняя русская литература знает очень мало описаний того, что находится

[1] Срезневский И. И. Древние памятники русского письма и языка. — «Изв. ОРЯС», т. X. [СПб.], 1861—1864, с. 553.

в статическом состоянии, того, что не связано непосредственно с событиями или нуждами человека.

Так, например, древняя русская литература редко описывает памятники архитектуры, а если это и делает, то только для того, чтобы прославить князя-строителя или пожалеть об утраченной красоте погибшего памятника. Самое пространное описание архитектурных памятников читается в Ипатьевской летописи под 1259 г.: это описание города Холма, сожженного «от оканьныя бабы». Это описание преследовало двойную цель: оплакать красоту и богатство погибшего города и прославить его строителя Даниила Галицкого. Поэтому описание построено как рассказ о создании города, хотя помещен этот рассказ в месте, где полагалось бы говорить о его гибели. Русские авторы не создавали статичного описания самого по себе, и поэтому летописец Даниила Галицкого создал лирический рассказ о создании города и о его гибели. «Си же потом спишемь о создании града, и украшение церкви, и оного погибели мнозе, *яко всим сжалитися»,*— так заявляет летописец о цели своего повествования. Весь дальнейший рассказ о красоте погибшего города представляет собою повествование о его созидании. Следовательно, описывается действие, а не статичная картина. Это описание города Холма — лучшее из описаний древнерусских архитектурных ансамблей, и оно часто использовалось в специальных работах искусствоведов.

И во всех остальных случаях о древнерусских архитектурных сооружениях говорится только в связи с их созиданием или с их гибелью — чаще в связи с последним, так как то, что сохранилось и что было перед глазами современников, с точки зрения древнерусских авторов, меньше нуждалось в описании. Так было при описании взятия города Судомира и гибели его «великой» церкви или при описании взятия Владимира Залесского. Жалость и похвала красоте утраченного — вот к чему сводятся обычно короткие замечания об архитектуре. Строго говоря, это не описания, а похвалы, в которых есть элементы описания.

Так же точно и в описаниях природы. По существу, объективного, самоустраненного описания природы, статичного литературного пейзажа, статичной картины природы древняя русская литература не знает. В этом одно из коренных отличий отношения к природе древней русской литературы от новой. Приведу примеры.

«Явися звезда на востоце хвостатая, образом страшным, испущающе от себе луче великы, си же звезда наречаеться власатая; от видения же сея звезды страх обья вся человекы и ужасть; хитреци же смотревше, тако рекоша: «Оже мятежь велик будеть в земли»; но бог спасе своею волею, и не бысть ничтоже» (Ипат. лет., под 1265 г.).

«И бысть сеча силна, яко посветяше молонья, блещащеться оружье, и бе гроза велика и сеча силна и страшна». (Лавр. лет., под 1024 г.).

«Томь же лете стоя все лето ведромь и пригоре все жито, а на осень уби всю ярь мороз. Еще же, за грехы наша, не то зло оставися, нъ пакы на зиму ста вся зима тепломь и дьжгемь, и гром бысть; и купляхом кадку малую по 7 кун. О, велика скърбь бяше в людьх и нужа» (Новг. I лет. по Синод сп., под 1161 г.).

«На то же осень зело страшьно бысть: гром и мълния, град же яко яблъков боле, месяця ноября в 7 день, в час 5 нощи» (Новг. I лет. по Синод. сп., под 1157 г.).

Приведенные четыре отрывка из летописей, хотя и носят сугубо прозаический, а не поэтический характер, тем не менее очень типичны для художественного отношения к природе в Древней Руси. Обратим внимание на то, что во всех четырех отрывках описываются явления природы в динамике, а не в статике, описываются действия природы, а не рисуются ее неподвижные картины; в них выражено авторское отношение в виде очень сильной лирической их окрашенности; явления природы в них имеют прямое отношение к людям. В первом из приведенных отрывков речь идет о тяжелых, но, к счастью, несбывшихся предзнаменованиях. Во втором выступает параллелизм в действиях людей и действиях природы: картина битвы соединена с картиною грозы. В третьем рассказывается о стихийных несчастьях. В четвертом рассказывается просто об удивительном явлении природы: поздней грозе и граде.

Кроме этих четырех типов отношения к природе, в древней русской литературе есть и пятый — редкий в летописи, но зато частый в церковно-учительном жанре: это раскрытие символического значения того или иного явления природы.

Типично для этого раскрытия символизма в природе знаменитое изображение весны в «Слове на Фомину неделю» Кирилла Туровского. Кирилл описывает весну и каждую деталь сопровождает разъяснением ее симво-

тического смысла: «Ныне небеса просветишася, темных облак яко вретища съвьлекъша, и светлымь въздухом слава господню исповедають. Не си глаголю видимая небеса, нъ разумныя... Днесь весна красуеться оживляющи земное естьство, и бурьнии ветри тихо повевающе плоды гобьзують, и земля семена питающи зеленую траву ражаеть. Весна убо красная есть вера Христова... бурнии ветри — грехотворнии помыслы... земля же естьства нашего, аки семя слово божие приемши и страхом его болящи присно, дух спасения ражаеть»[1]. Не буду продолжать цитирование этой обширной символической картины весны. Приведенного вполне достаточно, чтобы судить об этой системе изображения природы — типично церковной и зависящей в конечном счете от византийской традиции.

В отличие от большинства древнерусских литературных произведений, природа в «Слове о полку Игореве» занимает исключительно большое место, но если мы присмотримся *к системе* ее изображения, то заметим ее безусловную связь со своей эпохой. Природа в «Слове» описывается только в ее изменениях, в ее отношениях к человеку, она включена в самый ход событий, в «Слове» нет неподвижного литературного пейзажа, типичного для литературы нового времени. Природа участвует в событиях, то замедляя, то ускоряя ход событий. Она активно воздействует на людей, и описания ее явлений окрашены сильным лирическим чувством.

Все типы отношения природы к человеку, приведенные мною выше, встречаются в «Слове» в разнообразных и усложненных видах. Природа выступает с предзнаменованиями. Кроме предзнаменований «астрономических» (солнечное затмение), в «Слове» представлены предзнаменования по поведению зверей и птиц, в существовании которых в Древней Руси нет основания сомневаться (вспомним, как по вою волков в «Сказании о Мамаевом побоище» Дмитрий Волынец гадает о русской победе и слышит ночью — «гуси и лебеди крылми плещуще»)[2].

Выступает природа и в поэтических параллелях к событиям человеческой жизни. Параллель битвы — гро-

---

[1] Еремин И. П. Литературное наследие Кирилла Туровского. — ТОДРЛ, т. XIII. М.—Л., 1957, с. 416.

[2] Повести о Куликовской битве. Издание подготовили М. Н. Тихомиров, В. Ф. Ржига, Л. А. Дмитриев. Серия «Литературные памятники». М., 1959, с. 64.

зы, которую мы видели в «Повести временных лет» под 1024 г. в описании Лиственской битвы, развернута в «Слове» с особенной подробностью. Нельзя думать, что в описании Лиственской битвы гроза — только исторический факт, а в «Слове» — только поэтическая параллель к битве. Факт и поэтическая параллель могли совмещаться. Во время Лиственской битвы гроза, несомненно, была, но ее упоминание было бы совершенно необязательно в летописи, если бы летописцу она не показалась многозначительной для описания битвы. Так же точно, если бы гроза и на самом деле была во время первой битвы с половцами Игоря Святославича, это не умалило бы поэтичности параллели. Так же точно сравнение людей с птицами и зверями — типичная черта средневековой литературы.

Таким образом, природа в «Слове о полку Игореве» изображается так, как это было принято в средневековой литературе. Она действует или «аккомпанирует» действию людей, она динамична, «события» природы параллельны событиям людской жизни, символичны. Статичного литературного пейзажа, типичного для нового времени, «Слово» не знает.

* * *

Типичной для средневековой русской литературы следует признать также особого рода конкретизацию абстрактных понятий в метафорических выражениях: «уже бо бѣды его пасетъ птиць по дубию», «слава на суд приведе и на Канину зелену паполому постла», «уже пустыни силу прикрыла», «Игорь и Всеволодъ уже лжу убудиста», «уже снесеся хула на хвалу», «уже тресну нужда на волю», «веселие пониче», «тоска разлияся по Руской земли, печаль жирна утече средь земли Рускыи», «Въстала обида въ силахъ Дажьбожа внука», «за нимъ кликну карна, и жля поскочи по Руской земли» (если только «карна» и «жля» — не языческие боги), а также «истягну умь крѣпостию своею и поостри сердце своего мужествомъ», «жалость ему знамение заступи», «скача славию по мыслену древу, летая умомъ подъ облакы, свивая славы оба полы сего времени».

Такую же своеобразную конкретизацию мы найдем в житийной и учительной литературе, в посланиях и у

Даниила Заточника: «Огнь искушаеть злато и сребро, а человек умом лъжу отсекаеть от истины» («Житие Константина Философа»);[1] «Вострубим, братие, яко во златокованныя трубы, в разум ума своего» («Моление Даниила Заточника»);[2] «Веде, яко не разумееши, яко по божии благодати ум твой быстро летаеть» («Послание Никифора, митрополита киевского, к великому князю Володимиру, сыну Всеволожю, сына Ярославля», в списке XVI в. Московской синодальной библиотеки);[3] «аще кто слеп есть разумомь, ли хром невериемь, ли сух множех безаконий отчаяниемь, ли раслаблен еретичьскымь учениемь — всех вода крещения съдравы творить» (Кирилл Туровский. Слово о расслабленном);[4] «богохульная словеса акы стрелы к камени пущающе съламахуся» (там же);[5] «окованы нищетою и железомь» (Кирилл Туровский. Слово на вознесение);[6] «възмем крест свой претерепием всякоя обиды; распьнемъся браньими к греху» (Кирилл Туровский. Слово в неделю цветную)[7], и т. д.

Метафорическую конкретизацию абстрактных понятий мы встречаем в самых различных жанрах; в летописи: в описании взятия татарами Судомира говорится об одном из жителей его — простом поляке, что он «защитився отчаянием акы твердым щитом», совершил подвиг, достойный памяти (Ипат. лет., под 1259 г.); в учительной проповеди — в «Слове о ленивых» — говорится о том, что ленивого «беда по голеням биет, а долг взашеи пихает; недостатки у него в дому сидят, а раны ему по плечам лежат; уныние у него на главе, а посмех на браде; помысл на устех, а скорбя на зубех; горесть на языце, печаль в гортани» и т. д.[8]

---

[1] Бодянский М. Кирилл и Мефодий. — ЧОИДР, 1863, кн. 2, с. 3.

[2] Зарубин Н. Н. Слово Даниила Заточника по редакциям XII—XIII вв. М., 1932, с. 4.

[3] Русские достопамятности, издаваемые Обществом истории и древностей российских при Московском университете, ч. I. М., 1815, с. 70.

[4] Еремин И. П. Литературное наследие Кирилла Туровского. — ТОДРЛ, т. XV. М.—Л., 1958, с. 332.

[5] Там же, с. 334.

[6] Там же, с. 340—341.

[7] Там же, т. XIII, с. 411.

[8] Пономарев А. И. Памятники древнерусской церковноучительной литературы, вып. III. СПб., 1897, с. 93—94.

Если мы обратимся к конкретизации абстрактных понятий в литературе нового времени и, в частности, в литературе второй половины XVIII в., то там мы встретимся с конкретизацией совсем другого характера. Там авторы по большей части создают аллегории. Здесь же конкретизация носит весьма специфический и, я бы сказал, однообразный характер. Она лишена какой бы то ни было описательности. Абстрактное понятие попросту вводится в конкретное действие. Оно чаще всего «материализуется» с помощью глагола, означающего какие-либо действия: «вострубим в разум ума», «окованы нищетою», «тоска разлияся» и т. д. Иногда оно конкретизируется с помощью эпитета. Близко к этой конкретизации стоит одушевление неодушевленных предметов и придание им абстрактных значений: «живые камни» [1] (ср. в «Слове»—«живыми шереширы стрѣляти»), «умная гора» [2] (ср. в «Слове»—«скача, славию, по мыслену древу»).

Меньше всего в «Слове» той христианской символики, которая столь типична для церковноучительной литературы. Здесь, конечно, сказался светский характер памятника. Эту церковную символику можно усматривать только в образе «мысленного древа», по которому растекалась мысль Бояна.

* * *

Вступление к «Слову», в котором автор колеблется в выборе стиля и обращается к своему предшественнику — Бояну, кажется скептикам одной из самых больших странностей «Слова».

На самом деле вступления к различного рода «словам», житиям, проповедям обычны в древнерусской литературе.

Во вступительной части «Слова на Фомину неделю» Кирилл, прежде чем приступить к теме своего повествования, выражает свои колебания, как и автор «Слова о полку Игореве»: «Велика учителя и мудра сказателя требуеть церкви на украшение праздника. Мы же нищи

---

[1] Григориа, архиепископа российского, похвально иже в святых отца нашего Еуфимиа, патриарха Тръновского. — В кн.: Kałużniacki Emil. Aus der panegyrischen Litteratur der Südslaven, Wien, 1901, с. 29.

[2] Там же, с. 41.

есмы словом и мутни умом, не имуще огня святаго духа на слажение душеполезных словес; обаче любьве деля сущая со мною братья мало нечто скажем о поновьлении въскресения Христова»[1]. Замечательно, что перед нами в этих колебаниях не простое проявление авторской скромности, но и мысль о том, каким должен быть подлинный «сказатель», который бы украсил своею речью праздник — тему слова Кирилла.

Во вступительной части слова Кирилла «О слепце и о зависти» Кирилл подчеркивает, что он «творит» свою повесть словами Иоанна Богослова: «Нъ не от своего сердца сия изношю словеса — в души бо грешьне ни дело добро, ни слово пользьно ражаеться,— нъ творим повесть, въземлюще от святаго Еваньгелия, почтенаго нам ныня от Иоана Феолога, самовидьця Христовых чюдес»[2].

Во вступительной части «Слова на собор 318 отец» Кирилл выбирает задачу повествования, указывая, что его задача сходна с той, которую себе ставят летописцы и песнотворцы: «Яко же историци и ветия, рекше летописьци и песнотворци, прикланяють своя слухи в бывшая межю цесари рати и въпълчения, да украсять словесы и възвеличать мужьствовавъшая крепко по своемь цесари и не давъших в брани плещю врагом, и тех славяще похвалами венчають, колми паче нам лепо есть и хвалу к хвале приложити храбром и великым воеводам божиям»[3]. Замечательно, что в этом вступлении есть даже лексические совпадения со вступлениями к «Слову»: «песнотворци», «лепо» и др.

Наиболее странной особенностью вступления к «Слову о полку Игореве» всегда представляется обращение автора к своему предшественнику — Бояну. Но в «Слове на Вознесение» у Кирилла есть и такое именно обращение к предшественнику. Кирилл, прося пророка Захарию прийти к нему на помощь и дать «начаток слову», обращает внимание на его немногосказательную, но прямую речь: «Приди ныня духомь, священый пророче Захария, начаток слову дая нам от своих прорицаний о възнесении на небеса господа бога и спаса нашего Исуса Христа! Не бо притчею, нъ яве показал еси нам,

---

[1] Еремин И. П. Литературное наследие Кирилла Туровского. — ТОДРЛ, т. XIII, с. 415.
[2] Там же, т. XV, с. 336.
[3] Там же, с. 344.

глаголя: „Се бог нашь грядеть в славе, от брани опълчения своего, и вси святии его с нимь, и станета нозе его на горе Елеоньстей, пряму Иерусалиму на въсток. Хощем бо и прочее от тебе уведати“»[1].

Из приведенных примеров, взятых только из одного автора XII в. — Кирилла Туровского, видно, что все основные элементы введения к «Слову о полку Игореве» не составляют новшества: колебания в выборе стиля, обращение к предшественнику, противопоставление притчей («по замышлению») рассказу, «яве» показывающему (то есть «по былинам сего времени») и пр.

Единственно, чем введение к «Слову» выделяется среди всех остальных введений, это своим совершенно светским характером. Соответственно этому свои нюансы имеют в «Слове» и авторские колебания, и самый выбор предшественника, к которому обращено введение, — это не библейский пророк Захария, а светский певец Боян.

Перед нами и в этом, следовательно, выступает выдержанный светский характер памятника.

Отмечено было также сходство между вступлением к «Слову» и вступлением к «Хронике Манассии» — к той ее части, которая описывает Троянскую войну[2].

В предисловии к «Хронике» автор ее говорит, что он будет вести свое повествование «древняя словеса». В предисловии к «Троянской войне» автор пишет: «Сия аз въсхотев брань с'писати якоже писавшими прежде пишет ся». Он просит прощения («прощения прося»), что будет говорить другими словами, чем Гомер («глаголати не якоже Омир с'писует»), и т. д. Перед нами в данном случае светская параллель к вступительной части «Слова».

Наконец, самое главное: Боян имеется и в «Задонщине». Боян в «Задонщине» упоминается в аналогичном контексте вводных размышлений автора: «Но поразимся мыслию над землями и помянем первых лет времена и похвалим вещего Бояна, гораздаго гудца в Киеве. Тот Боян воскладаше гораздыя своя персты на жи-

---

[1] Еремин И. П. Литературное наследие Кирилла Туровского. — ТОДРЛ, т. XV, с. 340.

[2] Jakobson R. L'authenticité du Slovo. — La Geste du prince Igor', с. 292—293; The Puzzles of the Igor' tale... — «Speculum», 1952. January, с. 62—63.

выа струны и пояше князем руским славы»[1]. Следовательно, ко времени создания «Задонщины» размышления автора о своем предшественнике-поэте не казались чем-то необычным.

* * *

«Слово о полку Игореве» не противоречит своей эпохе. Оно не опровергает сложившихся представлений о домонгольской Руси — о ее литературе и культуре в целом. Оно лишь расширяет эти представления. В своей литературной природе оно несет отдельные черты, специфические для русского средневековья. Однако не только в отдельных своих чертах, но и в целом «Слово о полку Игореве» типично для эстетических представлений своего времени. Во всем своем эстетическом строе оно подчинено, как мы убедимся в дальнейшем, стилистической формации XI—XIII вв.

---

[1] Повести о Куликовской битве, с. 9 (реконструкция текста «Задонщины» В. Ф. Ржиги).

«СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» И ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЕГО ВРЕМЕНИ

Как это ни странно, «Слово о полку Игореве» меньше всего изучалось как явление культуры своего времени — в связи с тогдашними эстетическими представлениями, с представлениями средневековья о мире и обществе, этическими понятиями и пр. Обычно оно изучалось обособленно — так, будто наши представления о красоте, о добре и зле, о пространстве и времени, об истории и прочем не меняются и не менялись.

Ни один памятник в исследованиях ученых не находится в такой изоляции от своего времени, как «Слово о полку Игореве». Исключение составляют лишь работы языковедов. Последние изучали язык «Слова» как язык XII в., сопоставляли его с языком других памятников той же эпохи. Не случайно поэтому именно эти работы больше всего убеждают в том, что перед нами памятник домонгольского периода.

В дальнейшем я остановлюсь главным образом на эстетических представлениях XI—XIII вв. и на том, как эти эстетические представления соотносятся с эстетической системой «Слова о полку Игореве».

XI—XIII вв. в истории культуры Древней Руси принадлежат так называемому *стилю монументального историзма*. По существу, здесь можно говорить не просто о стиле, а о целой «эстетической формации» (понятие, введенное в науку югославским ученым Александром Флакером [1]). Этот стиль захватывает собой не только все искусства, но в какой-то мере подчиняет себе и естественнонаучные представления, поскольку наука и искусство не были еще четко разделены, а так-

---

[1] Flaker Aleksandar. Stilske formacije. Zagreb, 1976; Flaker A. Stilistic Formation. — «Neohelicon», 1975, 1—2, c. 183—207.

же все бытовые представления о прекрасном. Эта эстетическая формация была характерной не только для Руси этого времени, но распространялась и на ряд других стран: южнославянские и Византию в первую очередь, откуда она и явилась на Русь вместе с письменностью и христианским культом.

Стиль монументального историзма характеризуется прежде всего стремлением рассматривать предмет изображения с больших дистанций: пространственных, временных, иерархических. Это стиль, в пределах которого все наиболее значимое и красивое представляется большим, монументальным, величественным. Стремясь видеть окружающее в рамках представлений этого стиля, летописцы, авторы житий, церковных слов смотрят на мир как бы с большой высоты или с большого удаления.

В этот период развито «панорамное зрение», стремление подчеркивать огромность расстояний, сопрягать в изложении различные удаленные друг от друга географические пункты.

Эстетически ценно и значительно только то, что может быть представлено большим и мощным и что может быть воспринято с огромных расстояний. Вот почему в летописях действие перебрасывается из одного географического пункта в другой, находящийся на другом конце Русской земли. Рассказ о событии в Новгороде сменяется рассказом о событии во Владимире или в Киеве, далее упоминается событие в Смоленске или Галиче и т. п.

Такая особенность летописного повествования создается не только потому, что в летописи обычно соединяются разные по своему географическому происхождению источники. Особенность эта соответствовала самому духу исторического повествования. Она захватывала читателя, увлекала ощущением пространства истории.

В том, что такого рода «панорамное зрение» при изображении исторических событий было эстетической реальностью, а не случайным следствием соединения различных летописных источников — киевских, новгородских, ростовских, владимирских и т. д., убеждает «Поучение» Владимира Мономаха. В своей автобиографии Мономах ведет повествование так же, как в летописи: соединяет в едином изложении различные геогра-

фические пункты. Свою жизнь Мономах воспринимает в крайних географических пределах, до которых он доходил в походах, охотах и переездах. Он доходил до Чешского леса на западе, до Волги на востоке, углублялся в половецкую степь на юге, за Сулу, за Хорол, к Дону. Значительность своей жизни он подчеркивает дальностью своих походов, многочисленностью переездов. Он упоминает множество географических пунктов, где он бывал или до которых достигал в походах, и именно этим измеряет свой «труд», дело своей жизни.

Оценивая княжение умершего князя, летописец пишет: «...а се княже седение: мир держа с околными сторонами, с Ляхы и с Немци, с Литвою, одержа землю свою величеством олны по Тотары, а семо по Ляхы, по Литву» (Ипат. лет., под 1289 г.).

Автор «Слова о погибели Русской земли» говорит о ее былом благополучии опять-таки с высоты огромных дистанций: «Отселе до угор, и до ляхов, до чахов, от чахов до ятвязи и от ятвязи до литвы, до немець, от немець до корелы, от корелы до Устьюга, где тамо бяху тоимичи погании, и за Дышючим морем, от моря до болгар, от болгар до буртас, от буртас до чермис, от чермис до моръдви,— то все покорено было богом християньскому языку поганьскыя стра́ны...» В сущности, все «Слово о погибели» написано как бы с высот этого «панорамного зрения».

Приступая к проповеди, или к житию святого, или к историческому сочинению, авторы как бы испытывали необходимость окинуть взором всю землю. Так начинает Кирилл Туровский свое «Слово о расслабленном»: «Неизмерьна небесная высота, ни испытана преисподняя глубина»[1]. Так начинается и «Чтение» о Борисе и Глебе. Сама «Повесть временных лет» также открывается описанием самых общих судеб вселенной и дает превосходную по своей наглядности картину Русской земли. Автор «Повести» начинает это описание с водораздела великих русских рек — Валдайской возвышенности, на которой помещался Оковьский лес, и далее ведет свое повествование по трем рекам: Днепру, Волхову и Волге, отмечая, в какие моря они впадают и куда можно проехать по этим морям. Этот «прием» по-

[1] Еремин И. П. Литературное наследие Кирилла Туровского. — ТОДРЛ, т. XV. М.—Л., 1958, с. 331.

зволяет придать удивительную наглядность и конкретность описанию. Напомню, кстати, и знаменитое начало былины о Соловье Будимировиче, сохраняющее это же ощущение пространства:

Высота ли, высота поднебесная,
Глубота, глубота акиян-море,
Широко раздолье по всей земли,
Глубоки омоты днепровския[1].

Фольклор сохраняет это «панорамное зрение» — особенно в былинах.

Сознание громадности мира было не только в искусстве, но и в обыденной жизни. Не случайно князья призывали в свидетели своей правоты всю «подънебесную» (Ипат. лет., под 1288 г.).

То же «панорамное зрение» в широкой степени сказывается и в «Слове о полку Игореве». Помимо того, что повествование в «Слове» непрерывно переходит из одного географического пункта в другой, автор «Слова» все время охватывает многие географические пункты своими призывами, обращениями и историческими воспоминаниями. «Золотое слово» Святослава Киевского обходит всю Русскую землю по окружности — ее самые крайние точки. Поражает и та «перекличка», которую ведут мифические существа и действующие лица в «Слове». Див кличет на вершине дерева, велит послушать земле неведомой, Волге, и Поморию, и Посулию, и Сурожу, и Корсуню, и Тмутороканскому болвану на Черном море. Ярославна плачет на самой высокой точке Путивля — на крепостной стене, над заливными лугами Сейма, обращаясь к солнцу, ветру, Днепру. Девицы поют на Дунае, их голоса вьются через море до Киева.

Каждое действие воспринимается как бы с огромной высоты. Благодаря этому битва Игоря с половцами приобретает всесветные размеры: черные тучи, символизирующие врагов Руси, идут от самого моря, хотят прикрыть четыре солнца. Дождь идет стрелами с Дона великого. Ветры веют стрелами с моря. Битва как бы наполняет собою всю степь.

---

[1] Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым. Серия «Литературные памятники». М.—Л., 1958, с. 9. Слова и напев этого вступления к былине о Соловье Будимировиче замечательно использованы Н. А. Римским-Корсаковым в опере «Садко».

Многие отвлеченные понятия воспринимались в эпоху монументального историзма в пространственном, ландшафтно-географическом аспекте. Это прежде всего касается такого важного феодального понятия, как слава. Слава того или иного князя имела прежде всего пространственное распространение. Она измерялась географическими пределами. Она могла достигать границ Русской земли или переходить за них, захватывая окружающие народы.

Летопись до краев наполнена звоном военной славы. Важно при этом отметить, что ареал этой славы не мыслился замкнутыми пределами только Русской земли. Слава князя очень часто воспринимается не как его личная слава, но также как и слава всей Русской земли в целом. Об этой всесветной славе говорят под разными годами летописцы. Под 1111 г. в Ипатьевской летописи говорится в следующих выражениях о возвращении Владимира Мономаха из победоносного похода на Дон: «...възъвратишася Русьстии князи в свояси с славою великою к своим людем и ко всим странам дальним, рекуще к греком и угром, и ляхом, и чехом, дондеже и до Рима проиде на славу богу, всегда и ныня и присно во веки, аминь».

Эта же всесветная слава Мономаха вспоминается и в его некрологической характеристике, помещенной в Лаврентьевской летописи под 1125 г. Умер Мономах, говорится там, «прослувый в победах, его имене трепетаху вся страны и по всем землям изиде слух его». О той же мировой славе русских князей говорится и в «Слове» Илариона, и в «Слове о погибели Русской земли», и в «Повести о разорении Рязани Батыем» — в «Похвале роду рязанских князей», и в «Молении Даниила Заточника», и в житии Довмонта Тимофея, и в житии Александра Невского: «...и оттоле прослыся имя святаго во всех странах латынских и до моря Хупужьского и гор Араратских, и обону страну моря Варяжского, и даж и до самаго того Великаго Рима» [1].

Нельзя думать, что перед нами бессознательный трафарет исторической литературы. Об этой всесветной русской чести и славе говорят князья дружине и князья между собой. Это понятие было не только в литерату-

---

[1] Мансикка В. Житие Александра Невского. СПб., 1913, с. 42.

ре — оно было в самой жизни, и именно из жизни, из действительности проникло и в летопись, и в литературные произведения. В 1152 г. Изяслав Мстиславич говорил своей дружине: «Братья и дружино! Бог всегда Русьскы земле и руских сынов в безчестьи не положил есть; на всих местех честь свою взимали суть. Ныне же, братье, ревнуимы тому вси, у сих землях и перед чюжими языки дай ны бог честь свою взяти» (Ипат. лет.). Мстиславу Изяславичу говорили его братья: «тако буди, то есть нам на честь и всее Руской земли» (Ипат. лет., под 1170 г.). Эти слова не придуманы летописцем. Летописцы относительно точно передавали в своих летописях действительно произнесенные речи. Следовательно, в самой жизни было отчетливое представление о славе и чести Русской земли среди других стран мира.

«Слово о полку Игореве» постоянно говорит о славе, и именно в этих широчайших географических размерах. От войска Романа и Мстислава дрогнула земля и многие страны — Хинова, Литва, Ятвяги, Деремела, и половцы копья свои повергли и головы свои склонили под те мечи булатные. Князю Святославу Киевскому поют славу немцы и венецианцы, греки и моравы. Они поют ее не в гриднице Святослава, как ошибочно думали некоторые исследователи «Слова», а в своих странах. Перед нами тот же образ всесветной славы русских князей, что и в «Слове» Илариона, в «Молении Даниила Заточника», в житиях Александра Невского и Довмонта Тимофея, в «Слове о погибели Русской земли» и в «Похвале роду рязанских князей»; «ту нѣмци и венедици, ту греци и морава поютъ славу Святъславлю».

Пространственные формы приобретают в «Слове» и такие понятия, как «тоска», «печаль», «грозы»: они «текут» по Русской земле, воспринимаются в крупных географических пределах почти как нечто материальное и ландшафтное. То же мы видим и в летописи, где печаль может охватывать города и княжества.

Летопись говорит, что после поражения на Калке «бысть плачь и туга в Руси и по всей земли, слышавшим сию беду» (Лавр. лет., под 1223 г.), «и бысть вопль и въздыхание, и печаль по всем градом и по волостем» (Сузд. лет. по Акад. сп., под тем же годом). При нашествии татар в 1239 г. «тогды же бе пополох зол по всеи земли и сами не ведяху и где хто бежить» (Лавр. лет., под 1239 г.).

«Лютое томление бесурменьское», тоска, печаль всегда изображаются «в ширину», они распространяются «по всей земле» или перечисляются охваченные ими города и княжества. Они подчиняются пространственному восприятию. Ср. в «Слове»: «чръна земля... тугою взыдоша по Руской земли», «въстала обида въ силахъ Дажьбожа внука», «Жля поскочи по Руской земли», «а въстона бо, братие, Киевъ тугою, а Черниговъ напастьми», «тоска разлияся по Руской земли, печаль жирна тече средь земли Рускыи», «уныша бо градомъ забралы, а веселие пониче». И т. д. Печаль, горе, хотя и растекаются по земле, тем не менее лишают людей простора. «Тоска», по древнерусским представлениям,—«теснота»; трудный же жизненный путь — это «тесный путь».

Представления летописи, «Слова о полку Игореве» и других древнерусских произведений XI—XIII вв. о печали, тоске, туге или веселии, как о неких пространственных явлениях, распространяющихся вне человека, в природе, сами по себе глубоко архаичны. Они ведут свое начало еще от того времени, когда личность человека слабо отделялась от окружающего мира. Печаль, горе, веселие представлялись человеку охватывающими не только его, но и окружающий мир. Они казались существующими, как бы разлитыми в природе.

В период перехода к личностному сознанию стало обычным или даже обязательным обращаться в плаче к окружающей природе — горам, рекам, удолиям — с просьбой принять участие в горе, плаче совместно с человеком. «Горы и холмы возвеселитеся со мной», «солнце, горы, холмы и красные дерева плодовитые, плачите со мною». В «Повести о разорении Рязани Батыем» (вторая половина XIII — первая XIV в.) в плаче князя Ингваря Ингоревича говорится: «О земля, о земля, о дубравы, поплачите со мною!»[1]. Эти обращения — знак того, что печаль и веселие стали отделяться от человека, но еще не порвали с самой природой своей традиционной связи.

Стиль монументального историзма определяет собой и представления о человеке. Человек — это микрокосмос. Это ясно выражено в «Шестодневе» Иоанна экзарха Болгарского, в апокрифе «Сказание, како сотвори

---

[1] Лихачев Д. С. Повести о Николае Заразском. Тексты. — ТОДРЛ, т. VII. М.—Л., 1949, с. 298.

бог Адама» и во многих других произведениях Древней Руси, переводных и оригинальных.

Все малое — как бы уменьшенная схема большого. Человек поэтому — это «малый мир». Жизнь человека — это «малая жизнь», малая по сравнению с большой и «настоящей» — вечной, которая предстоит ему за гробом.

Стремление увидеть в малом и преходящем большое и вечное — это способ восприятия мира, типичный для эпохи исторического монументализма. Отразилось это и в «Слове о полку Игореве».

В апокрифе «Сказание, како сотвори бог Адама» говорится: бог «взем земли горсть ото осьми частей: 1) от земли — тело, 2) от камени — кости, 3) от моря кровь, 4) от солнца — очи, 5) от облака — мысли, 6) от света — свет, 7) от ветра — дыхание, 8) от огня — оттепла»[1] (тепло тела. — *Д. Л.*). Следовательно, мысли созданы «от облак». Отсюда мысль человеческая, как и его чувства, не прикреплена к телу, а свободно поднимается к небу — особенно тогда, когда человек думает о высоком. В «Шестодневе» мысль человека парит, летит с огромной скоростью, достигает неба. То же мы видим и в «Слове о полку Игореве»: «летая умом под облакы» — под теми именно облаками, из которых созданы человеческие мысли.

Приведу прекрасный пассаж из книги В. П. Адриановой-Перетц «„Слово о полку Игореве" и памятники русской литературы XI—XIII вв.»: «Сведения о мироздании древнерусский книжник приобретал из Шестоднева, где «слово шесьтааго дьне» повествовало о создании человека, особенно подробно описывая отличия человека от животных, постоянно подчеркивая, что только человек имеет «душу разумичну и сьмыслену». Его «мысль высока», обходит «всю землю и выше небес» всходит; его «ум» пройдет «въздух и облакы минет, солнца и месяца и все поясы и звезды, етир же и вси небеса и том часе пакы в телесе своем обрящет. Кыма крылома възлете, кымь ли путемь прилете, не могу иследити» (л. 196—196 об.)[2]. О превосходстве мысли над

[1] Ср.: «Вопросы, от скольких частей создан бысть Адам». — В кн.: Тихонравов Н. Памятники отреченной русской литературы, т. II. М., 1863, с. 439, 443—444.

[2] Здесь и далее при цитировании «Шестоднева» листы указываются в тексте в скобках (прим. В. П. Адриановой-Перетц. — *Д. Л.*).

зрением предупреждает «Шестоднев», рассказывая о сотворении небесных светил: «Луны убо не мозем очима мерити, нъ мыслию, яже велми паче очесу остиннейши есть на истинное изобретение» (л. 148). «Убогий человек» пытается даже «мерить мысльми божию силу», «измерила бо и е́ моя мысль, аще ли вышии е моеи мысли, и не доидет мои ум его» (л. 155 об.). Итак, «мысльми», «умом» можно облететь и измерить и землю, и небеса, только «божию силу» мысль не способна измерить: не следует «хотети домыслити се человечами мысльми недоведимых мыслеи божиих» (л. 104 об.). Но зато «мыслию» можно «възи́ти» «к богу невидимуему», «сквозе храм пролета ум и всю ту высость и небеса, скорее мъже́ния очнааго прилетев» (л. 199). Мысль летает быстрее взгляда — она видит и измеряет то, чего не видят «очеса». Ум выше тела: «Тело бо воин есть, а ум кнез и царь», и потому автор советует: «Мыслию пари... на высость и разумное» (л. 212). Ум «бръзо и без некакого растояния приемле вещьное естество истинных», поэтому «ини от пръвыих философ око душевьное ум прозваше» (л. 217 об.).

В Изборнике Святослава 1073 г. русский книжник нашел поучение под заглавием: «Немесия епископа Емесьскааго от того еже о естьстве человечьсте», где он встретил те же суждения о силе человеческой мысли, преодолевающей пространство: «обилия пучины бо минуеть, небеса проходить мыслью, звездьная пошьствия и растояния и меры размышляеть» (л. 134 об.). Сходное суждение читаем в поучении «Златоустааго от того еже от 45 псалмоса»: «Ум человечьск въскоре бо обходить вьсу землю, небесьная же и подъземльная, нъ несуштиемь, тъчью же умьную мыслью» (л. 132). На этой оценке силы человеческой мысли строится поучение «Нуськааго от оглашеника», где доказывается, что свет и «солнечное» тело, так же как божеское и человеческое, в Христе неразделимы, и только человек «мыслию же разделив, познаеть естьстве» (л. 15).

На фоне таких представлений о человеческом уме, о мысли созданные автором «Слова» («Слова о полку Игореве». — *Д. Л.*) метафорические образы ума и мысли, которые летают, мысли, способной уносить ум «на дѣло» или мерить поля, закономерны для XII века и не являются неожиданными для читателя того времени. Нельзя не отметить, что ни одна из этих четких и впол-

не обоснованных мировоззрением начитанного автора XII в. метафор не нашла отражения в «Задонщине». Слово «мысль» находим здесь только в таких явно испорченных сочетаниях: «Не проразимся мыслию по землями» (список ГБЛ, собр. Ундольского, № 632), «но потрезвимься мыслми и землями» (список ГИМ, Музейное собр., № 2060)» [1].

Если мысль животных не может сама летать и охватывать огромные пространства, то зато сами животные, как и растения, служат символами тех или иных мировых явлений — явлений мирового значения или мировых размеров. И именно этому посвящен другой замечательный памятник монументально-исторической стилистической формации — «Физиолог» и вся «физиологическая сага» средневековья (под последней я разумею средневековые повествования о том или ином символическом значении животных, птиц, рыб, растений, драгоценных камней).

Монументализм XI—XIII вв. имеет одну резко своеобразную особенность, отличающую его от наших представлений о монументальном.

Мы привыкли под монументальностью понимать не только все большое, но и инертное, тяжелое, неподвижное, устойчивое. Однако монументализм домонгольской Руси был связан с прямо противоположным: с быстротой передвижения в больших географических пространствах.

Монументализм домонгольской Руси — ее искусства, ее представлений о прекрасном — это прежде всего сила, а сила выражается не только в массе, но и в движении этой массы. Поэтому монументализм этот особый — динамичный. В широких географических пространствах герои произведений и их войско быстро передвигаются, совершают далекие переходы и сражаются вдали от родных мест. Даже оставаясь неподвижными, в церемониальных положениях, князья как бы управляют движением, происходящим вокруг них.

Летопись повествует о походах, битвах, переездах из одного княжества в другое. Все события русской истории происходят как бы в движении. Мономах пишет

[1] Адрианова-Перетц В. П. «Слово о полку Игореве» и памятники русской литературы XI—XIII веков. Л., 1968, с. 28—29, 52, 118, 144.

в автобиографии о том, что он «нестижды», то есть более ста раз, ездил из Чернигова в Киев, и ставит себе в заслугу быстроту своих передвижений (он гнался за Олегом «о двою коню»), многочисленность своих походов: «а всѣх путий (походов. — *Д. Л.*) 80 и 3 великих, а прока не испомню менших». Он отмечает, что ходить в походы он стал с 13-ти лет и что и в них не давал себе «упокоя»—«сам творилъ, что было надобѣ, весь нарядъ».

Тот же динамичный монументализм характерен и для зодчества этого времени. Это — зодчество для человека, находящегося в пути. Церкви ставятся как маяки на реках и дорогах, чтобы служить ориентирами в необъятных просторах его родины. Отметить храмом крутой берег реки на изгибе и тем дать как бы маяк для едущих по реке (храм Покрова на Нерли); отметить храмом низкий берег озера при выходе из него реки и тем дать возможность корабельщикам найти этот выход; отметить храмом многочисленные пригорки в равнинной земле, сделать храмы заметными в любую погоду с помощью златого верха; подчинить патрональной святыне окружающую городскую застройку — все это главные задачи зодчих. И далеко не безразлично зодчим, как их постройки будут восприниматься в движении, при приближении к ним. Облик храма должен оставаться неизменным на любом расстоянии и легко узнаваться издали. И. Е. Забелин пишет о верхах русских зданий: «В строительном художестве вышина жилища... должна была выражать... первичное понятие о его красоте. Что было высоко, то необходимо само по себе было уже красиво»[1].

Для стилистической формации монументального историзма характерна связь города с окружающим пространством, своеобразный вынос города за пределы самого города, например, кольцо монастырей по горизонту за пределами Новгорода: Нередицкий, Михайло-Сковородский, Андрея на Ситке, Кириллов, Ковалевский, Волотовский и т. д. Путников, приближающихся к Новгороду со стороны Ильменя, встречали огромные строения Юрьева монастыря на одной стороне Волхова и Рюрикова городища на другой. Плывущего же со сто-

[1] Забелин И. Е. Русское искусство. Черты самобытности в древнерусском зодчестве. М., 1900, с. 29.

роны Ладоги встречал на изгибе Волхова Антониев монастырь. Сам Новгород распространял свою власть над всей Новгородской землей через свои отдельные «концы», которые начинались в городе, делили территорию города и уходили отсюда на все стороны света — в те «пятины», которыми Новгород владел. В самом же Новгороде доминировал надо всем пространством храм Софии, выше и авторитетнее которого не было в Новгороде вплоть до XIX в., начиная со времени его построения в начале XI в. То же мирное овладение пространством было характерно и для других церквей, контрастно возвышавшихся среди всей остальной городской застройки или среди полей, лесов и водных просторов. Именно поэтому у церквей были фасады, обращенные на все четыре стороны света. Храм ориентировался на окружающий мир, был кораблем, плывущим во вселенной. На восток был обращен алтарь, на запад — вход в него. Алтарем он встречал восход и воскресение, на западной стене его провожала смерть и изображался ад. Храм был «малой вселенной», как город — малой окружающей его страной. Архитектурные сооружения — это попытки освоить огромные пространства, подчинить себе окружающий ландшафт.

Такое же значение придавалось пространству и в быту. Победа над врагом — это обретение пространства. Повествуя о победах половцев, летописец пишет: «...а сим поганым и ругателем на семь свете приимшим веселье и *просторонство*» (Лавр. лет., под 1096 г.). Побеждая, враги распространяются по завоеванной земле: «Татарове же *россунушася* по земли» (Лавр. лет., под 1252 г.). Именно на это обращает внимание летопись.

Напротив того, поражение или пленение — это прежде всего потеря пространства. Пленение — это, кроме того, разлука: разлучаются односельчане, разлучаются братья, плененные разводятся в разные стороны. «Повесть временных лет» рассказывает под 1093 годом, как половцы разделили пленников между собой и как, ведомые в плен, они со слезами отвечали друг другу: «Аз бех сего города», а другие — «Яз сея вси» (то есть села). Под 1146 г. летопись рассказывает, как потерпевшие поражение «разлучишася друг от друга» (Ипат. лет.). Под 1262 г. говорится, что татары «дши (души — *Д. Л.)* крестьянскыя раздно ведоша» (Лавр. лет.).

Так же точно разлучаются в летописи и в «Слове» Игорь и Всеволод: «ту ся брата разлучиста на брезѣ быстрой Каялы» («Слово»); в летописи они «разведени быша» и тоже разлучились. Характерно, что, каясь в плену, Игорь так говорит о последствиях своих междоусобных войн: «тогда бо не мало зло подъяша безвиньнии хрестьани, *отлучаеми* отець от рожений своих, брат от брата, друг от друга своего, и жены от подружий своих» (Ипат. лет., под 1185 г.).

Если для нового времени с его личностным сознанием пленение — это прежде всего потеря личной свободы, то для раннеколлективистского сознания XI—XIII вв. пленение — это прежде всего разлука и одновременно потеря родины, увод в плен с общей родной земли.

Пространство находится в общем владении [1]. Поэтому поражение — это потеря пространства, связанная с разлукой, а победа — обретение пространства, связанное с единением. Отсюда ясно, что призыв автора «Слова» к единению князей особенно выразительно для своего времени сочетается с призывом к походу на половцев, к победе над ними.

Но вернемся к представлениям о быстроте передвижения в географическом пространстве.

Быстрота передвижения — это символ власти над пространством, в котором князь передвигается. Быстрота похода — символ овладения пространством.

Могущество Романа Галицкого описывается в летописи прежде всего в образах движения: «...устремил бо ся бяше на поганыя яко и лев, сердит же бысть яко и рысь, и губяше яко и коркодил, и прехожаше землю их яко и орел, храбор бо бе яко и тур» (Ипат. лет., под 1201 г.; ср. о нем же под 1252 г.: «изоострился на поганыя, яко лев»).

Тот же динамичный монументализм очень характерен и для «Слова о полку Игореве». Действующие лица переносятся в нем с большой быстротой: постоянно в по-

[1] Под общим владением в крестьянском быту я понимаю общинное землевладение, в княжеском — общее владение Русской землей единым княжеским родом, восходящим к единому прадеду — Рюрику. Именно это сознание делало возможным передвижение князей из княжества в княжество путем «лествичного восхождения». Князь поэтому одновременно и связан со своим княжеством, и не связан с ним, переходя путем наследования с менее важного стола на более важный как «совладелец» Русской земли.

ходе Игорь, парадируют в быстрой езде «кмети» — куряне, в быстрых переездах — Олег Гориславич и Всеслав Полоцкий; Всеслав, обернувшись волком, достигает за одну ночь Тмуторокани, слышит в Киеве колокольный звон из Полоцка. И т. д.

Неподвижен великий князь Святослав Киевский, но его «золотое слово» обращено из Киева «на горах», где он сидит, ко всем русским князьям. Движется не он, но зато движется все вокруг него. Он господствует над движением русских князей, управляет движением. То же и Ярослав Осмомысл: он высоко сидит в Галиче на своем златокованом столе, но его железные полки подпирают горы угорские, он мечет бремены чрез облаки, рядит суды до самого Дуная, грозы его по землям текут и он отворяет врата Киеву.

В таком же церемониальном положении изображен и Всеволод Суздальский, готовый вычерпать шлемами Дон, расплескать веслами Волгу, полететь к Киеву. Великий князь церемониально неподвижен, но он среди движения, как бы им руководит.

Эти церемониальные положения князей — типичная черта монументально-исторического стиля XI—XIII вв. Образ князя, высоко сидящего на престоле, подчеркивает еще одну дистанцию — дистанцию феодально-иерархическую между ним и остальными князьями.

Поэтизация средствами установления дистанций способна объяснить, почему автор «Слова» так героизирует в сущности слабого киевского князя Святослава. Важно, что он князь киевский, глава всех русских князей. Это возвышает его над всеми остальными князьями, делает его старым, мудрым и сильным. Он предстает перед читателями высоко «на горах» и высоко по своему феодальному положению, в ореоле иерархической да́ли.

Еще одна дистанция чрезвычайно характерна для стиля монументального историзма: это дистанция во времени, дистанция историческая.

Там, где в искусстве динамизм, там обычно вступает в силу и историческая тема, появляется обостренный интерес к истории. Движение в пространстве тесно связано законами стиля с движением во времени.

Огромный интерес к истории пронизывал собой изобразительное искусство и литературу XI—XIII вв. Религиозная живопись была по преимуществу религиозно-исторической. Новозаветные и ветхозаветные со-

бытия и персонажи, события и персонажи церковной истории — основные сюжеты стенных росписей и икон. В литературе также главные темы распределяются вокруг священной, всемирной и русской истории. О преобладании исторических интересов в литературе свидетельствует и широкое развитие в Древней Руси летописания с таким великолепным произведением во главе, как «Повесть временных лет»[1].

Но преобладание истории в стиле монументального историзма не только сюжетное и тематическое. Для того чтобы объект литературы стал в XI—XIII вв. поэтическим, был поэтически возвышенным, для этого нужна была дистанция не только пространственная и иерархическая, но и историческая.

Событие и действующее лицо, представленное в ореоле истории, приобретали особенную внушительность. Это наиболее отчетливо видно во всех случаях изображения в литературе поражений русских. В рассказе о взятии Владимира татарами в 1237 г. в Лаврентьевской летописи мы читаем: «...створися велико зло в Суждальской земли, яко же зло не было ни от крещенья, яко ж бысть ныне». В описании взятия Киева Рюриком и Ольговичами в той же летописи под 1203 г. говорится сходно: «...и створися велико зло в Русстей земли, якого же зла не было от крещенья над Киевом. Напасти были и взятья, не яко же ныне зло се сстася». О битве на Калке говорится: «и бысть победа на вси князи рустии, ака же не бывала от начала Русьской земли никогда же» (Сузд. лет. по Акад. сп., под 1223 г.).

Почти в тех же выражениях говорится о битве Игоря и в «Слове»: «То было в ты рати, и въ ты плъкы, а сицей рати не слышано!»

Мы можем довольно четко установить в «Слове» ту «временнýю дистанцию», которая требуется его автору,

---

[1] Средневековый историзм как характерная черта древнерусской литературы был впервые отчетливо отмечен в «Заключении» второй части второго тома «Истории русской литературы» (М. — Л., 1948, с. 428—432); историзм как черта древнерусской живописи отмечен с большою подробностью в интереснейшей по обилию наблюдений книге Г. К. Вагнера «Проблема жанров в древнерусском искусстве» (М., 1974, с. 82—122). О сюжетной связи древнерусской живописи с литературой говорится у меня в книге «Поэтика древнерусской литературы» (Л., 1967, с. 24—39).

чтобы опоэтизировать современность: это приблизительно один век или чуть меньше.

Для того чтобы опоэтизировать события, современные автору «Слова», он привлекает русскую историю XI в. События XII в. для этой цели не годятся, и они для этого нигде им не упоминаются. В самом деле, свои поэтические сопоставления автор «Слова о полку Игореве» делает с историей Олега Святославича и Всеслава Полоцкого, с битвой Бориса Вячеславича на Нежатиной Ниве, с гибелью в реке Стугне юноши князя Ростислава, с поединком Мстислава Тмутороканского и Редеди. Это все события XI в. Автор «Слова» вспоминает певца Бояна — также XI в. История XII в., предшествующая походу Игоря, как бы отсутствует в «Слове» — эстетически она не нужна.

В «Слове о полку Игореве» остро ощущается воздух русской истории. Конечно, представления об истории были представлениями своего времени, и измерения этого исторического времени были не столько летописными, сколько эпическими. «Слово о полку Игореве» не называет точных дат тех или иных событий, что было обязательным для летописи, зато постоянно говорит о «дедах» и дедовской славе. Такое определение времени также часто встречается в летописях.

Отцы и главным образом деды также очень часто упоминаются в проповедях, поучениях и житиях — особенно тогда, когда автор хотел выразить свое эмоциональное отношение к их потомкам, или тогда, когда он хотел сравнить деяния их потомков с деяниями отцов и дедов. Деды и прадеды — это всегда некоторое мерило добродетелей и славы внуков и правнуков.

Митрополит Иларион в «Слове о Законе и Благодати», восхваляя Ярослава Мудрого, обращается к его предкам — славит его отца, деда и прадедов. Он говорит о его предках, «иже славятся ныне и слывут». Владимир Мономах вспоминает в «Поучении» о том, что было «при умных дедех наших, при добрых и при блаженых отцих наших».

Пример отцов и дедов, обычаи отцов и дедов, их наследие, слава отцов и дедов и, наконец, полуязыческая молитва «дедняя и отняя»[1] постоянно упоминаются

[1] О культе предков в княжеской среде XI—XIII вв. см. превосходное исследование В. Л. Комаровича «Культ Рода и Земли в княжеской среде XI—XIII вв.» — ТОДРЛ, т. XVI. М.—Л., 1960.

в летописи, особенно в критические моменты судьбы их потомков.

«Слово о полку Игореве» буквально наполнено проявлениями этого культа предков — дедов и прадедов, но через головы отцов. Это и понятно, если принять во внимание характерную для этого времени «эстетику дистанций», требовавшую промежутка времени большего, чем его давало обращение к отцам и их славе. В «Слове» постоянно говорится о дедах и внуках, о славе дедов и прадедов, об «Ольговом гнезде» (Олег — дед Игоря). Сам автор «Слова» — внук Бояна, ветры — «Стрибожи внуци», русское войско — «силы Дажьбожа внука», Ярослав Черниговский с подвластными ему войсками ковуев звонят в «прадѣднюю славу», Изяслав Василькович притрепал славу деду своему Всеславу Полоцкому: внуки последнего призываются понизить свои стяги — признать себя побежденными в междоусобных бранях и т. д. и т. п.

Не случайно поэтому и сами русские называются в «Слове» русичами, что вызывало иногда недоумение исследователей. Однако форма эта — русичи — характерна для племенных названий, подчеркивающая происхождение от легендарного предка; радимичи — потомки легендарного Радима, вятичи — потомки легендарного Вятки. В названии же русичи подчеркивается просто, что они «одного деда внуки», а дедом их назван Дажьбог. И в этом проявляется временна́я эстетизация, столь типичная для «Слова».

Стиль монументального историзма, властно подчинивший себе не только изобразительное искусство, зодчество и литературу в XI—XIII вв., но и все вообще эстетические представления, игравшие серьезную роль в феодальном быте, не ограничивался, само собой разумеется, только принципом эстетизации дистанций — пространственных, временны́х (исторических) и иерархических.

Историчность монументального стиля соединяется в нем со стремлением утвердить вечность. Вечность не противоречит движению. Это не неподвижность. Библейские события историчны и вечны одновременно. Христианские праздники существуют в данный момент священной истории и одновременно существуют в вечности. История и вечность составляют в средневековье некое диалектическое единство. В отношении эстетиче-

ском это единство осуществляется через церемониальность. Средневековая церемониальность и этикетность — это попытка эстетически утвердить вечное значение происходящего и заявить о значительности события.

Поэтому одной из существеннейших сторон монументально-исторического стиля была именно церемониальность, я бы даже сказал — демонстративная церемониальность, хотя церемониальность всегда в той или иной мере рассчитана на демонстрацию и поэтому демонстративна по своей сути.

Церемониальность находилась в прямом соответствии с монументальностью литературы. Она требовала репрезентативности, торжественности, крупных форм, рассчитанных на коллективного зрителя и слушателя. Она требовала не столько изображения действительности, сколько ее оформления, подчинения жизненных явлений торжественным и идеализированным формам.

Литература XI—XIII вв. была церемониальна по формам своего применения, по художественным средствам, к которым она прибегала, по темам, которые она для себя избирала.

В чисто эстетическом плане главный жанр литературы этого периода — ораторский[1]. Ораторское выступление было в этот период частью церемониала — церковного и светского. Частью церковного церемониала были жития святых и сочинения гимнографические. Летописи не предназначались для церемониала, но они в известной мере были церемониальным освещением событий, отбором событий для увековечения их, который также представлял собой известный церемониал. В народном творчестве церемониальное значение имели славы и плачи. Одни предназначались для встреч князей, для их прославления при вокняжении, другие — для похорон и воспоминаний.

Литература и фольклор, таким образом, входили в церемониалы и вместе с тем церемониально оформляли изображаемое.

Не случайно в «Слове» так часто используются такие церемониальные формы народного творчества, как слава и плач. Боян поет славу старому Ярославу и

[1] Понятие «главный» — относительно. В общественном аспекте главными следует признать исторические жанры: летописи и исторические повести.

храброму Мстиславу, он свивает славы «оба полы сего времени» и исполняет славу «княземъ» на своем струнном музыкальном инструменте.

Выше уже говорилось, что в «Слове» иноземцы (немцы, венецианцы, греки и морава) поют славу великому Святославу, говорится о плаче русских жен, о пении славы девицами на Дунае.

Описан или упомянут в «Слове» целый ряд церемониальных положений: обращение Игоря к войску, звон славы в Киеве: «Звенить слава въ Кыевѣ... стоять стязи в Путивлѣ». Как на параде, с оружием наизготовку проносятся в «Слове «свѣдоми къмети» — куряне. Игорь вступает в золотое стремя — момент также церемониальный. После первой победы Игорю подносят трофеи — черленый стяг, белую хоругвь, черленую чолку, серебряное стружие. В церемониальном положении изображен «на борони» Яр Тур Всеволод. О пленении Игоря сообщено, как о церемониальном пересаживании из золотого княжеского седла в седло кощеево. В церемониальных положениях изображены в «Слове» Всеволод Суздальский, Ярослав Осмомысл на своем златокованом столе высоко в Галиче, а также окруженный на горах киевских боярами, подающими ему советы, Святослав Киевский.

Своеобразно церемониальное положение Всеслава Полоцкого — он добывает себе Киев — «девицу любу», скакнув на коне и дотронувшись стружием до золотого киевского стола, что напоминает сватовство к невесте в русской сказке (Иванушка скачет на коне и успевает снять кольцо с руки у царевны, сидящей высоко в тереме).

Церемониален плач Ярославны. Она плачет открыто, при всех, на самом высоком месте своего Путивля — на городских забралах, откуда открывается простор Посеймья.

Наконец, завершается «Слово» торжественной церемонией въезда Игоря в Киев и пением ему славы в разных концах Русской земли.

При определении жанра «Слова» следует учитывать его церемониальность. Древняя русская литература, особенно в этот период, в XI—XIII вв., не знала произведений, предназначенных только для одиночного читателя. Она всегда была рассчитана на обряд, на чтение в тот или иной момент богослужения, бытового

случая,— на чтение вслух, для всех или многих. Несомненно, что и «Слово» должно было для чего-то предназначаться: не исключена возможность, что это было ораторское произведение, предназначенное для какого-то светского церемониала, как это думал И. П. Еремин, но вероятнее, как об этом мы уже говорили, это были плач и слава, также имевшие точное обрядовое назначение. Приводимые И. П. Ереминым признаки ораторского жанра в «Слове»[1] распространены во многих произведениях этого периода и не принадлежащих к ораторскому жанру. Ораторские приемы встречаются в летописях и житиях, в хождениях и исторических повестях (особенно в повестях о княжеских преступлениях), так как литературные произведения очень часто были участниками торжеств и обрядов, требовали громкого произнесения.

Монументальность и церемониальность всегда связаны с традиционностью. Церемониальность традиционна по самой своей сути. Чем дальше в глубь времени уходят обряд или церемония, тем они торжественнее. Поэтому церемониальные одежды всегда старинные, а церемониальные формы держатся десятилетиями и веками.

Монументальность, особенно монументальность историческая, должна быть поэтому традиционна. Все три особенности (монументальность, историчность, традиционность) поддерживают друг друга.

К сожалению, у нас очень мало данных, чтобы судить о том, насколько традиционны многие формы в том жанре, в котором было создано «Слово о полку Игореве». Однако эти данные все же отчасти есть.

С одной стороны, мы встречаемся с образами, метафорами, оборотами «Слова о полку Игореве», в русской, украинской и белорусской народной поэзии нового времени, а это само по себе свидетельствует о том, что все они были не только в народной поэзии, но и в самом «Слове» глубоко традиционными.

С другой стороны, поэтические образы в «Слове» тесно связаны с образами, лежащими в основе политической (феодальной) и военной терминологии его времени, и это опять-таки говорит об их традиционности. Образы не придумывались, не изобретались автором

[1] Еремин И. П. Литература Древней Руси. (Этюды и характеристики). М.—Л., 1966, с. 144—163.

«Слова» — они брались из жизни или стали традиционными в литературе, но также, в свою очередь, восходили к феодальной и военной терминологии.

В дальнейшем я скажу о «терминологическом происхождении» таких образов «Слова», как «итти дождю стрѣлами», «вонзить свои мечи вережени» (прекратить военные действия), «понизить стязи свои» (сдаться), «всесть на свои бръзыя комони» (выступить в поход), «въступить в стремень» (выступить в поход), «высѣсть из сѣдла злата, а в сѣдло кощиево», «отворить ворота» (впустить врага в город или завладеть им), «не крѣсить» (в формуле отказа от мести), «въстала обида», «иссушить потокы и болота» (захватить землю по рекам) и некоторые другие [1].

Монументализм XI—XII вв. имеет целый ряд и других признаков и свойств. Так, например, монументализму свойственна особая лаконичность, краткость. В произведениях монументального стиля обычно мало орнаментики — монументальность требует выразительности при немногословии. Это касается, например, характеристик людей и населения той или иной местности. В летописи такая лаконичность и «геральдичность» в характеристиках постоянна. Владимирцы говорят о ростовцах: «то суть наши холопи каменьници» (Лавр. лет., под 1175 г.). Об ольговичах и половцах говорится в летописи, что они «скори бяху на кровопролитье» (Ипат. лет., под 1151 г.), «переяславци же дерзи суще» (Лавр. лет., под 1169 г.), «смоляне дерзи к боеви» (Сузд. лет. по Акад. сп. под 1216 г.) и т. д.

То же самое видим мы и в «Слове». Вспомните «свѣдомых кметей» — курян, Ольгово храброе гнездо, храбрые полки Игоря, железные полки Ярослава Осмомысла и пр.

Особую роль в церемониальном, монументальном стиле литературы играли афоризмы, приписываемые обычно каким-то древним мудрецам или просто вкладываемые в чьи-то уста: «Яко инде глаголеть: «Скырт река злу игру сыгра гражаном», тако и Днестр злу игру сыгра Угром» (Ипат. лет., под 1229 г.), «Выйде Филя, древле прегордый, надеяся объяти землю, потребити море, со многими Угры, рекшю ему: «един камень много горньцев избиваеть», а другое слово ему рекшю пре-

[1] См. наст. изд., с. 165 и след.

гордо: „острый мечю, борзый коню — многая Руси“» (Ипат. лет., под 1217 г.), «О, лесть зла есть! якоже Омир пишеть, да обличена же зла есть, кто в ней ходить, конець зол приметь; о злее зла зло есть» (Ипат. лет., под 1234 г.), «якоже премудрый хронограф списа: „якоже добродеянья в векы светяться“» (Ипат. лет., под 1257 г.). Ср. в «Слове»: «рекоста бо братъ брату: „Се мое, а то мое же“», «Рекъ Боянъ... „Тяжко ти головы кромѣ плечю, зло ти тѣлу кроме головы“», «Тому вѣщей Боянъ и пръвое припѣвку, смысленый, рече: „Ни хытру, ни горазду, ни птицю горазду суда божиа не минути“».

Одна из сторон церемониальности — истовая неторопливость и своеобразная полнота в перечислении всего того, что участвует в церемонии. Эта полнота преследует цели не столько информационные, сколько украшающие и напоминающие присутствующим о том, что входит в церемонию.

Церемония — это некий процесс, некое длительное, разворачивающееся в пространстве и во времени действо, действо, которое может быть заранее известно не только распорядителю церемонией, но и присутствующим. Особенно важны поэтому в церемонии последовательность в демонстрации неких равных и соподчиненных членов.

В поминовениях умерших обычно перечисление мест, где они скончались: «Покой Господи душа раб своих всех правоверных крестьян, умершия в градех, и в селех, и в пустынях, и на путих, и на мори...» [1]

В «Служебнике» Варлаама Хутынского говорится о тех, кто в беде: «Помяни Господи сущая в пустынях, и в горах, и в пещерах, и в распаданиих земных». Еще красноречивее эта полнота перечисления в «Служебнике» Варлаама Хутынского несколько ниже: «Помяни Господи предстоящая люди и оставшая потребных вин деля, и помилуй я̑ и нас множествомъ милости твоея. Клети (избы. — *Д. Л.*) их наполни всякаго блага, подружия (мужей и жен. — *Д. Л.*) их в мире и в единении съблюди, младенца их въспитай, уность накажи (научи. — *Д. Л.*), старость подъдержи, малоденныи

---

[1] Молитва святого Феодосия Печерьскаго за вся крестьяны. — Цит. по кн.: Буслаев Ф. Историческая христоматия церковнославянского и древнерусского языков. М., 1861, стлб. 91.

утеши, расеяныя събери, блудящая приведи и совъкупи с святою и апостольскою церковью твоею, нудимыя духы нечистыми свободи, с плавающими плавай, со в пути ходящими шествуй, вдовицамь помощьник буди, сирым заступник, пленьныя избави, болящая исцели, и сущая на судищи, и в родах, и в поточениях, и в лютых работах, и во всякой скорби, и беде, и нужи сущих поминай, Боже, и вся требующая великаго твоего милосердия и любящая ны, и ненавидящая»[1].

В летописи описывается татарское нашествие. Татары пришли на Рязань, требуя у рязанских князей «десятины во всем: в князех, и в людех, и в конех — десятое в белых, десятое в вороных, десятое в бурых, десятое в рыжих, десятое в пегих» (Сузд. лет. по Акад. сп., под 1237 г.).

То же самое и в «Слове». «Чрьленъ стягъ, бѣла хорюговь, чрьлена чолка, сребрено стружие — храброму Святъславличю». Или: «дивъ... велитъ послушати — земли незнаемѣ, Влъзѣ, и Поморию, и Посулию, и Сурожу, и Корсуню», «Орьтьмами, и япончицами, и кожухы начашя мосты мостити», «съ черниговьскими былями, съ могуты, и съ татраны, и съ шельбиры, и съ топчакы, и съ ревугы, и съ ольберы»

Разные формы перечислений в «Слове» нуждаются в специальном изучении, особенно в связи с проблемой ритмики «Слова». С точки же зрения стилистического требования полноты, столь характерного для монументально-исторического стиля, стоит сопоставить эти перечисления со стремлением в «золотом слове» Святослава обратиться ко всем русским князьям поименно. Если практически достаточно было бы просто призвать всех русских князей, как единое сообщество, не перечисляя каждого, выступить в объединенный поход против половцев, то чтобы придать обращениям церемониальность, необходима была именно их «полнота»: обращение к каждому из князей лично. Князь киевский Святослав обращается к князьям, соблюдая феодальный этикет.

Весьма важно отметить, что перечисления в «Слове» падают на те объекты, которые требуют именно церемониальности; дань, добыча, народы и племена («чер-

[1] Цит. по кн.: Буслаев Ф. Историческая христоматия..., стлб. 96—97.

ниговские были»: «съ могуты, и съ татраны, и съ шельбиры, и съ топчакы, и съ ревугы, и съ ольберы»), покоренные страны («Хинова, Литва, Ятвязи, Деремела»), народы, поющие славу Святославу («ту нѣмцы и венедици, ту греци и морава»).

Церемониальное значение многих других моментов в «Слове» возможно, хотя и не всегда ясно. Приведу такой пример: обсуждение значения виденного Святославом сна в кругу своей дружины. Не лежал ли в этом обсуждении какой-то свойственный тому времени церемониально обставленный обряд? Об этом позволяет думать следующее обстоятельство. В «Легенде мантуанского епископа Гумпольта о святом Вячеславе (Вацлаве) Чешском» рассказывается о вещем сне Вячеслава Чешского, видевшего себя в кругу своей дружины. О цермониальном характере обсуждения сна Святослава Киевского о боярской думе как будто бы свидетельствует и то обстоятельство, что сон свой Святослав видел «въ Киевѣ на горахъ», то есть в церемониальном положении. Это почти «официальный» сон, требующий своего церемониального обсуждения в боярской думе[1].

«Слово» откликается не только на эстетические представления в литературе и искусстве. Оно как бы включено в раму тех эстетических норм, которые существовали в самой жизни, в феодальном быте времени.

Новейшая поэзия не имеет особо выделенной категории явлений, которые представляли бы собою как бы особый резервуар эстетических ценностей. В принципе современный поэт может эстетически сублимировать любое жизненное явление. В современной нам литературе почти отсутствует деление явлений самих по себе на эстетические и антиэстетические. Эстетическим или антиэстетическим может быть только *подход* к явлениям жизни. Это закономерное следствие расширения сферы поэзии и уступки в ней первого места нюансам, обертонам, ассоциациям, позволившим вскрыть эстетические ценности в любом явлении и в любом понятии.

В средневековой литературе, напротив, первенствующее место занимает явление в своей основной сущности, его основная функция, его всесторонность и как бы всеобщность.

---

[1] Подробнее об этом см. наст. изд., с. 229—233.

Поэтому в средние века выделены определенные категории жизненных явлений, которые признаются эстетически ценными и откуда по преимуществу черпается поэтическая образность.

Это одно из проявлений того монументализма, который сохраняет свое значение и в последующее время, после XIII в., хотя и подвергается постоянной эрозии, совершенно сменившей почву поэзии в новое время.

Иерархическое устройство общества отразилось в установленной в нем иерархии эстетических ценностей. В литературе эстетически ценно прежде всего все то, что связано с высшим светским слоем феодального общества. Именно светским, а не церковным. Это может показаться странным, но этому есть свои основания: внешнее и далеко не последовательное отрицание «земной» красоты черным духовенством.

Наиболее частое сравнение праведного поведения подвижника этого времени — с ратным трудом. В послесловии к Синодальному списку псалтири 1296 г. под № 235 писец пишет: «...аще убо воини Христови есмы путемь истины труда должни есмы ходити, облецемся в броня веру Христову и в шлем крест его, щит же и копие в любовь его и мечь духа еже суть словеса Божия, и станем на супостата яко добрии воини бдением и постомь и молитвою с псалтырею смереномудрии и луци и стрелы и сети и раны бываюгь врагу, точию не възнесемся в молитве нашей с псалтырею»[1].

К этому мы еще вернемся. Сейчас же обратим внимание вот на что. Два княжеских дела считались в этот период наиважнейшими: война и охота. Именно о своих «путях» (то есть походах) и «ловах» (то есть охотах) рассказывает, как мы видели, в своем «Поучении» Владимир Мономах. Те же два княжеских дела как наиважнейшие подчеркиваются и в летописи.

Красиво оружие воина, красиво все, что связано с боевым конем, красива княжеская охота — особенно соколиная. И даже тогда, когда нужно подчеркнуть величие дела церковного подвижника, он сравнивается с воином, его дело объявляется воинским делом и сам он — «воин Христов».

---

[1] Цит. по кн.: Буслаев Ф. Историческая христоматия... с. 84—85.

«Красота воину оружие и кораблю ветрила»,— говорится в «Слове некоего калугера о чь[тении] [к]ниг»[1], включенном в «Изборник» 1076 года (л. 2 об.). В том же Изборнике с оружием сравнивается молитва («велико оружие молитва», л. 229), с оружием же сравнивается человеческое тело: «оружье бо наше есть тело, а душа — храбъръ» («храбъръ»— богатырь, л. 240).

Образ воина, подобно Всеволоду Буй Туру «стоящего на борони»,— это также по-своему эстетически канонизированное представление о красоте. И опять-таки оно находит себе подтверждение в том же Изборнике: «любить князь воина стояштя и борющагося с врагы» (л. 216).

Все вышеприведенные цитаты взяты из статей сугубо церковного содержания, но эстетическим идеалом для каждого из монахов остается все же светский идеал воина, именно образ воина стоит впереди церковного подвижника.

О красоте оружия воинов неоднократно пишет и летопись, редко отвлекающаяся от строго деловитого изложения и аскетически обнаженная от всякой образности: «блистахуся щити и оружници подобни солнцю» (Ипат. лет., под 1231 г.), «велику же полку бывшю его (Даниила Галицкого. — *Д. Л.*), устроен бо бе храбрыми людми и светлым оружьем» (там же). Красоту оружия отмечает обычно и «Хронограф»: «якоже въставше слнце на златыа щиты и на оружиа, блистахуся горы от них»[2].

Феодосий Печерский говорит в своем «Поучении о терпении и милостыни»: «...воину Христову лепо ли есть ленитися? Да или то они за тщую славу и изгыбающую не помнять ни жены, ни детей, ни промениа. Да что мню имение, еже есть хуже всего, но и главы своея ни в что же помнять, дабы им не посрамленым быти»[3].

О способности воина забыть о своих ранах в бою пишет и летопись. Даниил Галицкий в битве на Калке

---

[1] Изборник 1076 года. Издание подготовили В. С. Голышенко, В. Ф. Дубровина, В. Г. Демьянов, Г. Ф. Нефедов. М., 1965, с. 151.

[2] Хронограф БАН, 45.13.4; см.: Истрин В. М. Хронограф Академии наук 45.14.4. — В кн.: Летопись Историко-филологического общества при Новороссийском университете, т. XIII. Одесса, 1905, с. 330.

[3] Памятники древнерусской церковно-учительной литературы. Под ред. А. И. Пономарева. Вып. 1. СПб., 1894, с. 39

«младеньства ради и буести, не чюаше раны бывши на телеси его» (Сузд. лет. по Акад. сп., под 1223 г.). Князья Мстислав Мстиславич и «Володимер» Рюрикович, «укрепляя» своих новгородцев и смольнян, говорили им: «забудем, брате, домов, жен и дети» (там же, под 1216 г.). Радость, заставляющая воина забыть в пылу битвы или после нее о своих ранах, неоднократно описывается в летописи и в других случаях. Ипатьевская летопись рассказывает о Романе Брянском под 1264 г., что когда он отдавал «милую свою дочерь, именемь Олгу, за Володимера князя, сына Василькова», он на радостях забыл о своих ранах: «И в то веремя рать приде Литовьская на Романа; он же бися с ними и победи я́, сам же ранен бысть и немало бо показа мужьство свое, и приеха во Брянескь с победою и честью великою, и не мня ранен на телеси своемь за радость».

Поразительно близок идеалу воинской увлеченности сражением образ Всеволода Буй Тура. В пылу битвы он забывает свои раны и своих близких: «Кая раны дорога, братие, забывъ чти и живота, и града Чрънигова отня злата стола, и своя милыя хоти, красныя Глѣбовны, свычая и обычая?»

Церемониальность многих сторон «Слова о полку Игореве» не совсем ясна для нас сейчас. Большинство обычаев забылось. Например, почему плачет Ярославна на «забрале» — не был ли обычаем плач на городской стене по погибшим в далекой битве? Или, может быть, важнее то, что «забрала» эти находились на *берегу* реки Сейма? Ведь на *берегу* Днепра оплакивает мать своего сына Ростислава и в «Слове о полку Игореве» и в «Повести временных лет» под 1093 г. В «Слове» «готские красные девы» поют на *берегу* моря, плещет «лебедиными крылы на синем море у Дону» дева обида, «дѣвици поютъ *на Дунаи»* и т. д. Не было ли обычаем петь и плакать именно на берегу? Не потому ли «Слово» подчеркивает, что поражение войск Игоря произошло «на брезѣ быстрой Каялы», то есть в месте скорби [1].

Обращу еще внимание на одну сторону военных образов «Слова». Битва, как известно, сравнивается в

---

[1] См. также соображения Л. А. Дмитриева о том, что само название реки Каялы происходит от глагола «каяти» (Дмитриев Л. А. Глагол «каяти» и река Каяла в «Слове о полку Игореве». — ТОДРЛ, т. IX. М.—Л., 1954).

«Слове» с жатвой, и этот образ обычно сопоставляется с аналогичными образами народной поэзии.

Однако образ этот существует и в книжности. Враги избивают людей, «аки на ниве класы пожинаху» (Сузд. лет. по Акад. сп., под 1216 г.), или о татарах: «а все людие секуще, аки траву» (там же, под 1238 г.) [1].

Не случаен в летописи и противостоящий войне образ мирных пахарей, ратаев. Война — это прежде всего гибель пахарей. В речи Владимира Мономаха на Любечском съезде, обращенной к князьям с призывом защитить Русскую землю от набегов половцев, читаем: «и половчин приехав ударить и́ (смерда) стрелою, а кобылу его поиметь» (Лавр. лет., под 1103 г.).

Переходим теперь ко второму слою эстетических ценностей — охоте, и при этом соколиной по преимуществу. Владимир Мономах начинает свою биографию со слов: «А се вы поведаю, дети моя, труд свой, оже ся есмь тружал, пути дея и ловы с 13 лет» (Лавр. лет., под 1096 г.). Княжеский «труд» для Мономаха, как мы уже указывали, это «пути» и «ловы». Как одну из главных добродетелей князя называет охоту и Ипатьевская летопись. В ней под 1287 г. прославляется как охотник Владимир Василькович Волынский: «Бяшеть бо и сам ловечь добр, хоробор, николи же ко вепреви и ни к медведеве не ждаше слуг своих, а быша ему помогли, скоро сам убиваше всяки зверь; тем же и прослул бяшеть во всей земле, понеже дал бяшеть ему Бог вазнь (удачу. — *Д. Л.*) не токмо и на одиных ловех, но и во всемь, за его добро и правду». Впоследствии, уже в XVII в., царь Алексей Михайлович составляет чин соколиной охоты и пишет в нем: «И зело потеха сия полевая утешает сердца печальныя, и забавляет веселием радостным, и веселит охотников сия птичья добыча. Безмерна славна и хвальна кречатья добыча. Удивительна же и утешительна и челига (самец кречета. — *Д. Л.*) кречатья добыча. Угодительна же и потешна дермлиговая перелаcка (особого рода перелет птицы дремлика. — *Д. Л.*)

[1] Аналогичные сравнения битвы с земледельческими работами имеются в «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия (были указаны А. С. Орловым: «Слово о полку Игореве». Изд. 2-е. М.—Л., 1946, с. 41), в «Александрии» и в «Слове Иоанна Златоуста в неделю всех святых» (последнее указано в книге: Ђорђе Трифуновић. Српски средњевековни списки о кнезу Лазару и Косовском боју. Крушевац, 1968, с. 357).

и добыча. Красносмотрительно же и радостно высокова сокола лет». Составленный Алексеем Михайловичем «Урядник Сокольничьего пути» — это не только уложение об охоте, это поэтический гимн красоте соколиной охоты.

Вот почему в Древней Руси даже в сухое летописное изложение вторгается сравнение стрельцов с соколами: «приехавшим же соколомь стрелцемь, и не стерпевъшим же людемь, избиша є́ и роздрашася» (Ипат. лет., под 1231 г.).

Восемь раз в «Слове» употребляется образ сокола по отношению к князьям и воинам, однако образами охоты «Слово» буквально пронизано. Природа в «Слове» — это по преимуществу та природа, которая увидена глазами охотника.

* * *

Стиль монументального историзма XI—XIII вв. далеко не исследован. Предстоит еще многое сделать для выявления его особенностей. Эти особенности лежат не только в эстетических принципах. Существуют, по-видимому, и некоторые этические принципы, общие для произведений этого времени и тесно связанные с принципами эстетическими. Существует некоторое характерное для этого периода отношение между фольклором и литературой. Есть и известная эстетическая сосредоточенность на определенных темах, мотивах. Внимание людей этого времени выделяло в окружающем их мире однородный ряд фактов, как эстетически ценный.

В целом многие традиции, обычаи, привычки сливались с эстетическими принципами, становились характерными для этого периода признаками стиля, пронизывавшего не только все искусства, включая литературу, но и весь жизненный уклад XI—XIII вв. Перед нами не столько стиль, сколько «эстетическая формация» (термин А. Флакера).

Обращаясь к «Слову о полку Игореве», отметим его полную подчиненность принципам этого стиля. Если есть различия между «Словом» и летописью, житиями и другими произведениями этого периода, то различия эти обусловлены только различиями жанра.

* * *

Откуда же явилась стилистическая формация монументального историзма? Чем объяснить ее появление на Руси?

История человеческой культуры знает периоды особенно светлого взгляда на мир, периоды как бы удивления вселенной, когда восхищение окружающим становится своего рода чертой мировоззрения и эстетического восприятия мира. Обычно это периоды возникновения нового взгляда на мир, появления нового великого стиля в искусстве и в литературе. Человек открывает в мире какую-то новую, не замечавшуюся им ранее эстетическую или религиозную систему. Новое истолкование мира приносит и новое его открытие. Обнаруживаются связи и значения, ранее не замечавшиеся, обнаруживается какой-то новый ритм в мире, новая стилеформирующая доминанта, которые до глубины души удивляют человека. И это удивление перед тем, что все окружающее подчиняется новому мировоззрению, всегда бывает радостным.

Об оптимистическом характере первого (домонгольского) периода древнерусского христианства писали многие,— прежде всего Н. К. Никольский[1] и М. Д. Приселков[2]. В качестве объяснения приводилось отсутствие в древнерусском христианстве аскетизма. Но это отсутствие аскетизма не может быть принято за объяснение, так как оно является, в общем, другой стороной того же самого. Объяснение лежит, как мне представляется, в изменении исторических условий.

Ранний феодализм пришел на Руси на смену родовому обществу. Это был огромный скачок, ибо Русь, как и некоторые другие европейские страны, миновала историческую стадию рабовладельческого строя. Христианство пришло на смену древнерусскому язычеству — язычеству, типичному именно для родового строя. В древнерусском язычестве гнездился страх перед могуществом природы — природы, враждебной человеку и властвующей над ним. Вместе с феодализмом и

---

[1] Никольский Н. К. О древнерусском христианстве. — «Русская мысль», 1913, кн. 6, с. 12—14.

[2] Приселков М. Д. Борьба двух мировоззрений. — «Россия и Запад. Исторические сборники под ред. А. И. Заозерского», т. 1. Пб., 1923, с. 36—56.

христианством пришло новое художественное познание мира, создавшее великий монументальный стиль домонгольского древнерусского искусства.

Доминантой нового художественного отношения человека к окружающей природе явилось открытие значительности человека и человечества в окружающем его мире. Всемирная история, изложенная так, как она рассказана в первом произведении русской литературы, обращенном к новопросвещенному народу — русским,— «Речи философа», вся говорила о значении людей, о смысле их существования и о центральном положении человека в окружающем его мире. Отныне стало аксиомой, что человек — центр вселенной и именно в нем смысл существования мира. Первые русские произведения полны восторга перед мудростью мироустройства, но мироустройство это не замкнуто в самом себе: природа служит человеку, она не враждебна ему и именно потому прекрасна. Она помогает человеку материальными благами, и через нее бог открывает человеку заповеди поведения. Природа содержит в себе притчи, нравоучения. Это — второе Писание.

Вселенная вся обращена к человечеству, сочувственно участвуя в его судьбах. Именно такое, отнюдь не узкоязыческое, а скорее эстетическое истолкование природы и ее участия в человеческих событиях найдем мы и в «Слове о полку Игореве», и в проповеднической литературе XI—XII вв.

Владимир Мономах пишет в «Поучении»: «Что есть человек, яко помниши й? Велий еси, господи, и чюдна дела твоя, никак же разум человеческ не можеть исповедати чюдес твоих; — и пакы речем: велий еси, господи, и чюдна дела твоя, и благословено и хвално имя твое в векы по всей земли. Иже кто не похвалить, ни прославляеть силы твоея и твоих великых чюдес и доброт, устроеных на семь свете: како небо устроено, како ли солнце, како ли луна, како ли звезды, и тма и свет, и земля на водах положена, господи, твоим промыслом! Зверье разноличнии, и птица и рыбы украшено твоим промыслом, господи! И сему чюду дивуемъся, како от персти создав человека, како образи разноличнии в человечьских лицих,— аще и весь мир совокупить, не вси в один образ, но кыи же своим лиць образом, по божии мудрости. И сему ся подивуемы, како птица небесныя из ирья идуть, и первее, в наши руце, и не ставятся на

одиной земли, но и сильныя и худыя идуть по всем землям, божиимь повелениемь, да наполнятся леси и поля. Все же то дал бог на угодье человеком, на снедь, на веселье. Велика, господи, милость твоя на нас, иже та угодья створил еси человека деля грешна. И ты же птице небесныя умудрены тобою господи; егда повелиши, то вспоють, и человекы веселять тобе; и егда же не повелиши им, язык же имеюще онемеють» [1].

В цитированном месте «Поучения» сказалось влияние «Шестоднева» Иоанна экзарха Болгарского [2].

Само по себе это знаменательно: на столетие раньше Болгария пережила тоже «удивление миром», которое было затем столь характерно и для Руси, она раньше Руси прошла тот же путь к новому восприятию мира, опыт ее оказался для Руси особенно ценным.

Мономах пользуется не только «Шестодневом» Иоанна экзарха Болгарского, но и цитатами из псалтири. Однако в сочетании с собственными наблюдениями над русской природой этот восторг приобретает у Мономаха особенно личный характер. Это не обнаженная литературная традиция: это традиция прикровенная, используемая для выражения вполне искреннего чувства.

Церковная и нецерковная литература домонгольской поры полна и другими приглашениями читателей «подивиться», или «почудиться», окружающей природе, мудрости мироустройства. Этот общехристианский мотив становится особенно характерным именно в первые века древнерусской культуры.

Под влиянием этого «открытия» окружающего мира человек как бы расправил плечи, мир представился ему огромным, он потерял страх перед миром. Напротив, человек стремится теперь подчинить себе обширное окружающее пространство. Русь, объединенная в феодальное государство, одно из самых больших в тогдашней Европе, манит человека к далеким переездам и даже переселениям. Отсюда динамичный монументализм мироощущения. Человек открывает дальние страны, куда устремляли его большие русские реки и

---

[1] Повесть временных лет. Часть первая. Текст и перевод. Серия «Литературные памятники». М.—Л., 1950, с. 156.

[2] Лихачев Д. С. Етическата система на Владимир Мономах. — «Език и литература», 1966, кн. 4, с. 10 и след.

сношения с которыми облегчились теперь благодаря общей религии.

Вместе с тем это был период открытия истории. В язычестве доминировал годовой круг праздников, оно не было связано с историей. Время замыкалось в годичный цикл смены сезонов: весны, лета, осени, зимы. Христианство принесло сведения о тысячелетних изменениях в судьбах многих народов мира. Представление о старине как о некоей единой эпохе, где происходит все героическое, сменилось взглядом на историю, в которой все совершается в определенные года «от сотворения мира». Разбивка событий в летописи на годы — погодные записи — явилась одним из радостных открытий этого времени, и не случайно хронологические отметки, начинающиеся словами «в лето такое-то», стали обязательной формой рассказа о прошлом. История получала определенный мировоззренческий смысл и объединяла собой все человечество.

На пути такого антропоцентризма менялись и отношения между художником и его созданием, между зрителем и объектом искусства. И это новое отношение уводило даже от канонически признанного церковью.

Бог прославляется нашими делами. «И кто не удивится, възлюблении, яко Богу прославитися нашими делесы?» — говорит Феодосий в «Слове о терпении и любви» [1]. Но и бог прославляет человека церквами, иконами и церковной службой. Отсюда, с одной стороны, приглушенность личностного начала в творчестве, ибо в человеческом творении прежде всего проявляется «боговдохновенность» и «богосозданность», но отсюда же, с другой стороны, величие и монументальность произведений искусства, их прославляющий человека характер.

Вопреки постановлению седьмого вселенского собора, установившего чествование икон и креста «по подобию» — «ибо честь, воздаваемая образу, переходит к первообразному» [2], Феодосий Печерский утверждает, что храмы и изображения созданы в честь «нам» — людям. Он призывает «с страхом стати безмолвно при стене, гласы немълчны въспевающе к Вышнему, иже нас

---

[1] Еремин И. П. Литературное наследие Феодосия Печерского. — ТОДРЛ, т. V. М.—Л., 1947, с. 174.

[2] Архиепископ Вениамин. Новая Скрижаль. Часть I. Изд. 9-е. [Б. м., б. г.], с. 69.

грешных сподобил входа церковнаго, не имеюще собе подъпоры стены, ни стлъпа, еже нам суть на честь створена...»— и далее: «И в церкви боле того есть: на честь бо нам стлъпи суть и стены церковныа, а не на бещестие»[1].

Сказав о стенах и столпах церкви, как о «чести», воздаваемой человеку, Феодосий переходит затем к каждению в церкви и снова подчеркивает обращенность и этого действа к человеку, к молящемуся. Аналогия с честью, воздаваемой человеку сооружениями зодчества, несомненна. Храмы, их величие, богослужение — все это честь именно человеку. Для человека — клепание в била, призывающее его ко святой службе, для человека — пение церковное, для него и образы, и кадило, к нему обращенное, и чтение Евангелия и житий святых[2].

Нечто подобное находим мы и у Илариона в его «Слове о Законе и Благодати».

В своем «Слове» Иларион обращается к умершему князю Владимиру с риторическим призывом встать из гроба и взглянуть на честь, которая ему оказана: «Отряси сон, взведи очи, да видиши какоя тя чьсти Господь тамо сподобив, и на земли не безпамятна оставил сыном твоим». Перечисляя эту честь, Иларион указывает на потомство Владимира — его сыновей, на цветущее благоверие и на град Киев «величьством сияюшь», на «церкви цветущии».

Обращаясь к Владимиру, Иларион говорит: «Виждь град иконами святыих освещаем». Иконы, изображения святых «освещают» град[3].

Церковь Благовещения — это не только честь Богу и Владимиру, но и честь всем горожанам Киева. Восхваляя церковь Бородицы «дивну и славну всем округныим странам, якоже не обрящется во всем полунощи земнем от востока до запада», Иларион сравнивает ее с архангелом Гавриилом, давшим целование Девице: «Да еже целование архангел даст Девице, будет и граду сему. К оной бо: радуйся обрадованная, Господь с

[1] Еремин И. П. Литературное наследие Феодосия Печерского, с. 177, 178—179.

[2] Там же, с. 179.

[3] Müller L. Des Metropoliten Ilarion Lobrede. Wiesbaden, 1962, с. 126.

тобою. К граду же: радуйся, благоверный граде, Господь с тобою!»[1].

Обращенность искусства к его создателям и ко всем людям в их честь стало идеологической доминантой в стилеформирующих тенденциях монументального искусства X—XIII вв. Отсюда импозантность, торжественность, церемониальность архитектурных форм. Отсюда же столь бережно охраняемая перешедшая к нам из Византии обращенность изображений к молящимся, «предстояние» изображений не только за людей, но перед людьми. Отсюда четырехфасадность церквей, обращенных на все стороны города. Отсюда же монументальный стиль литературы, ее торжественность и парадность, строгая этикетность в выборе ситуаций и словесного выражения.

«Слово о полку Игореве» родилось в эпоху, когда политическая ситуация в Древней Руси крайне осложнилась и не могла уже вселять оптимизм. Однако стиль монументального историзма к этому времени укрепил свои корни, и он еще долго будет оказывать влияние на русскую литературу и искусство.

«Слово о полку Игореве» принадлежит к тому же стилю, к которому принадлежат «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона, «Повесть временных лет» и все другие летописи, жития Бориса и Глеба, «Слово о погибели Русской земли» и вся вообще литература и искусство домонгольской Руси.

---

[1] Müller L. Des Metropoliten Ilarion Lobrede. Wiesbaden, 1962, с. 124.

ИСТОРИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ АВТОРА «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

«Слово о полку Игореве» изумляет не только своей неувядаемой красотой, но и мудрой политической прозорливостью ее автора, мудрой оценкой им политических событий своего времени и независимостью его суждений. Вот почему законно поставить вопрос: откуда черпал автор «Слова» свои сведения, на какой почве вырастали его суждения, в чем автор был связан с «общественным мнением» своего времени, своей среды и в чем преодолевал его ограниченность, определявшуюся особенностями исторического и политического мышления своей эпохи?

* * *

Была ли русская история исключительным достоянием письменности?

Многочисленные данные говорят о том, что хранителем исторических воспоминаний был сам народ. В 1147 г. киевляне напоминают своему князю на вече об освобождении Всеслава Полоцкого из поруба, случившемся за 80 лет перед тем, и требуют извлечь для себя урок из того события и не оставлять в живых Игоря Ольговича. В 1148 г. новгородцы на вече говорят Изяславу: «Ты нашь князь, ты нашь Володимир, ты нашь Мьстислав». Под Владимиром новгородцы, очевидно, разумели Владимира I Святославича, бывшего одно время новгородским князем (до своего вокняжения в Киеве), а под Мстиславом — новгородского князя Мстислава Владимировича, сына Владимира Мономаха. Следовательно, память об этих князьях была жива в Новгороде, в широких слоях новгородского населения.

Иногда князьями предпринимались походы из-за «обид» более чем вековой давности. Так, например, в

1178 г. новгородский князь Мстислав «поиде на Полтьск на зятя своего на Всеслава: ходил бо бяше дед его на Новъгород и взял ерусалим церковный и сосуды служебные и погост один завел за Полтеск. Мстислав же все то хотя оправити Новгородскую волость и обиду...» (Ипат. лет., под 1178 г.). Поход Всеслава относился к 1066 г., но в летописи о том, что Всеслав «завел за Полтеск» один из новгородских погостов, ничего не было сказано: возможно, это помнили по преданию.

Несомненно, что народ помнил не только имена и не только самые события в общей форме. Исторические события больше, чем через столетие, могли вспоминаться с такими подробностями, которые свидетельствуют о том, что в памяти народа сохранялись не исторические перечни, а живые и конкретные картины прошлого. Так, например, перед Липицкой битвой 1216 г. новгородцы говорили Мстиславу Мстиславичу Удалому: «Къняже! Не хочем измерети на коних, нъ яко отчи наши билися на Кулачьскей пеши» (Новг. I лет. по Синод. сп., под 1216 г.). Следовательно, в 1216 г. новгородские воины помнили, что в 1096 г., за 120 лет перед тем, предки их сражались с Мстиславом Владимировичем против Олега «Гориславича» пешими.

Многообразные виды исторической памяти народа могут отчасти быть восстановлены на основании «Повести временных лет». Воспоминания о прошлом извлечены здесь из пословиц и поговорок («беда аки в Родне», «погибоша аки обри», «пищанци волчья хвоста бегают»), из легенд о происхождении городов, племен и княжеских династий (Киев, Переяславль; Рюрик, Радим, Вятко), из исторических рассказов, основанных на диалоге (рассказы о местях Ольги), из родовых преданий (Яна Вышатича) и нз героических песен.

Поэтическое отношение к русской истории несомненно предшествовало летописному. Древнейшая летопись уже пользовалась историческими песнями. Это поэтическое восприятие русской истории было одновременно и дофеодальным, тогда как летописное, несомненно, было порождено феодализмом, знаменовало собой новую, высшую ступень исторического сознания.

В XI и XII вв. патриархально-поэтическое представление о русской истории в различных социальных слоях доминировало над летописным, да и сам летописец еще в начале XII в. в значительной степени поэтизировал

и героизировал русское прошлое в духе устной исторической поэзии.

В 1097 г. киевляне послали ко Владимиру Мономаху со словами: «Молимся, княже, тобе и братома твоима, не мозете погубити Русьскые земли. Аще бо възмете рать межю собою, погании имуть радоватися, и возмуть землю нашю, иже беша стяжали отци и деди ваши трудом великим и храбрьствомь, побарающе по Русьскей земли, ины земли приискываху, а вы хочете погубити землю Русьскую» (Лавр. лет.). В этих словах киевлян ясно ощущается идеализация «отцов и дедов», их «труда» и их «храбрьства». Эта идеализация отнюдь не свидетельствует о какой-либо консервативности киевского населения, ее происхождение — поэтическое. Киевляне не раз напоминали своим князьям о героическом прошлом Руси и в других случаях. В этих представлениях широких масс киевского населения о русской истории чувствуется знакомство с нею на основании исторических песен в первую очередь. Не случайно в середине XI в. митрополит Иларион говорил, обращаясь к Ярославу, о его предках, «иже поминаются ныне и словут».

Едва ли эти поэтические представления о русском прошлом и самое знакомство с историческими песнями были распространены только среди трудовых слоев населения XI—XII вв. То же поэтическое представление о героическом прошлом русского народа находим мы и у Владимира Мономаха. В своем «Поучении к детям» он пишет: «...то бо были рати при умных дедех наших и при блаженых отцих наших» (Лавр. лет., под 1096 г.).

По-видимому, эти поэтические, героизирующие старых русских князей представления о русской истории были основаны на песнях, слагавшихся во славу того или иного деятеля русской истории. О песне, сложенной во славу Мстислава Удалого, прямо говорит, например, польский историк XV в. Ян Длугош — Русь сложила эту песнь в честь Мстислава тотчас же после его победы в 1209 г. над поляками и венграми под Галичем:

«О великий княже и победитель, Мстислав Мстиславич!
О храбрый сокол, устрашающий храбрых и сильных
и войска их, посланный богом!

Пусть перестанут гордиться те, кто мнили,
победив тебя, себе присвоить победу,
ибо все они посрамлены и разбиты тобою,
великолепным и славным господином нашим»[1].

Как уже говорилось раньше, пением «славы» встречали в своем городе князей, возвращавшихся из победоносного похода. В этих «славах» перечислялись их подвиги, они становились со временем историческими песнями, сохраняя полностью свой характер прославлений.

В известной мере и для летописца начало русской истории, воспроизводимое им на основании тех же исторических песен — прославлений, было наполнено героизмом. Хвала и прославление отчетливо дают себя чувствовать в изображении первых русских князей — Олега, Игоря, Ольги, Святослава, Владимира. Напротив того, обращаясь к князьям — своим современникам, летописец уже не воздает им хвалы — он противопоставляет им прежних князей. Тем самым героизирующее и поэтическое отношение к прошлому превращается в критическое и учительное отношение к современности. Это героическое и учительное одновременно значение русской истории прямо подчеркнуто и в тех же выражениях, что и у киевлян в 1097 г., в предисловии к Начальному своду: «Вас молю, стадо Христово: с любовию приклоните ушеса ваша разумно! Како быша древнии князи и мужи их. И како отбараняху Руския земля и иныя страны приимаху под ся: тии бо князи не сбирааху многа имения ни творимых вир, ни продажь въскладааху на люди. Но оже будяаше правая вира, а ту взимааше и дружине на оружие дая. А дружина его кормяахуся, воюючи иныя страны, бьющеся: «Братие! Потягнем по своемь князи и по Руской земли». Не жадаху: «Мало мне, княже, 200 гривен!» Не кладяаху на свои жены золотых обручей, но хожааху жены их в сребре. И расплодили были землю Рускую...» (Соф. I лет.).

Так из устной, народной истории Русской земли летопись заимствует не только факты, не только пользуется песнями как историческими источниками, но

---

[1] Цитирую по переводу с латинского А. В. Соловьева (Политический кругозор автора «Слова о полку Игореве». — «Исторические записки», 25. [М.], 1948, с. 98).

в некоторой степени заимствует из них освещение этих фактов, заимствует общее представление о русской истории, идеализируя времена далекого прошлого и ставя эти представления, эту идеализацию далекого прошлого на службу политическим задачам современности.

Дописьменные, дофеодальные представления о родной истории, отложившиеся в исторических песнях и преданиях IX—X вв., в эпоху феодальной раздробленности и развития письменности не отмирают. Они переходят в иную сферу сознания — становятся достоянием художественного творчества народа, при этом устного по преимуществу. Это поэтическое отношение к русской истории доживает и до нового времени в виде былин и исторических песен. И эти былины и исторические песни противостоят письменной истории уже не как донаучное отношение к историческим событиям — научному, а как собственно поэтическое — научному. В исторических песнях народа заключена была не только историческая, но и эстетическая ценность, которая делала их живучими и в XI, и в XII вв., и позднее. Дофеодальные представления об историческом прошлом родины переосмысляются в новой исторической обстановке XI—XII вв. как поэтические. Народное творчество XI—XII вв. сохраняет свою преемственность с IX—X вв. и вместе с тем продолжает развиваться, расти. Старые формы наполняются новым содержанием, становятся историческими по преимуществу. Песни в честь героев живых или недавно умерших, представлявшие собой славы, похвалы, теперь воспринимаются как песни о русской старине, противопоставляемой новому времени. В XI—XII вв. в народном творчестве появляется сильный элемент противопоставления старого, патриархально-дружинного времени новому, старых порядков — новым. Восхваление героя превращается в восхваление русской старины. Старые князья становятся знаменем ушедшего прошлого, символом утрачиваемого единства. Идеализировалось не все прошлое как таковое, а только некоторые его стороны — те, что сохраняли свою актуальность в XI—XII вв.

В самом деле, если мы возьмем все исторические предания, отложившиеся в начальной части «Повести временных лет», мы отчетливо увидим в них восхище-

ние «мудростью и хитростью» старых князей: Олега, Игоря, Ольги, Святослава. Восхищение военными подвигами Святослава еще может смешиваться в этих исторических преданиях с упреками ему же в недостаточном «блюдении» Русской земли. Позднее воспоминания об этих «старых» князьях неизменно сопровождаются настойчивой мыслью о них, как о создателях русского государства — единого и обширного. Из героев «мудрых и хитрых», ловко умевших обманывать врагов, из героев, установивших славу русского оружия по преимуществу, они становятся «умными дедами и отцами», защищавшими интересы не свои личные, но интересы родины, героями, создавшими русское государство.

То же новое качество фольклора в XII в. выступает не только в историческом эпосе. В самом деле, повышение поэтической, эстетической значимости фольклора ясно ощущается и в поэзии лирической, которой «Слово о полку Игореве» пользовалось в равной мере с поэзией эпической. В «Слове о полку Игореве» упоминаются языческие боги, говорится о природе, как о живом существе. Нельзя, однако, думать, что автор «Слова» верил в этих богов, что для него были действенны анимистические представления дохристианского периода, что он верил в конкретность языческих по своему происхождению образов. Автор «Слова» — христианин, старые же дохристианские верования приобрели для него новый поэтический смысл. Он одушевляет природу поэтически, а не религиозно.

Христианские представления для автора «Слова» лежат вне поэзии. В ряде случаев, как мы увидим в дальнейшем, он отвергает христианскую трактовку событий, но отвергает ее не потому, что он чужд христианства, а потому, что поэзия связана для него еще пока с языческими, дофеодальными корнями. Языческие представления для него обладают эстетической ценностью, тогда как христианство для него еще не связано с поэзией, хотя сам он — несомненный христианин (Игорю помогает бежать из плена бог, Игорь по возвращении едет к богородице Пирогощей и т. д.).

Мы можем предполагать, что имена языческих богов упоминались в народной поэзии XII в., как, отчасти, они упоминаются еще и в народной поэзии нового времени (XVIII—XIX вв.). Они были живы и в народной поэзии XII в., как об этом свидетельствует само «Слово

о полку Игореве». Однако, конечно, в XII в. языческие боги не были уже предметами верования и поклонения, они были символами определенных явлений природы, стихий, широкими обобщающими образами, и только.

Подобно тому как языческие боги в фольклоре становятся поэтическими образами, так и старые песни эпохи патриархально-общинного строя в честь героев, возможно, входившие в состав того или иного ритуала, становятся явлениями исторической поэзии по преимуществу. Фольклор в XII в. еще традиционно сохраняет свою связь с дофеодальным периодом исторического развития Руси, но переосмысляет и изменяет свое содержание в новых общественных условиях феодального общества, приобретает новое качество. В нем усиливаются элементы поэтические, ослабевают элементы религиозные. Исторические воззрения, отложившиеся в старых эпических песнях, славы героям, вступившие в противоречие с новым историческим сознанием эпохи феодализма, лучше всего отразившимся в летописи, становятся достоянием народной поэзии. И подобно тому как упоминание языческих богов в «Слове о полку Игореве» не противоречило христианским воззрениям автора, так и поэтическое восприятие русской истории, выросшее на почве дофеодального исторического эпоса, могло сосуществовать рядом с новым историческим сознанием эпохи феодализма. Фольклор в «Слове» — это фольклор, еще традиционно сохраняющий свою связь с дофеодальным периодом исторического развития Руси, но переосмысленный и изменивший свое содержание в новых исторических условиях феодального общества.

Итак, поэтическое восприятие мира автором «Слова о полку Игореве» было фольклорным. Так же точно и восприятие прошлого Руси, как мы увидим в дальнейшем, было у него поэтическим и фольклорным по преимуществу.

Несмотря на то, что отношение к русской истории было у автора «Слова» облечено в народно-поэтические формы, это не означает, что он во всех своих конкретных сведениях о русской истории пользовался только данными фольклора. Автор «Слова» не пассивно следовал за фольклором. Он творил свою историческую концепцию, но творил ее в рамках своего поэтического понимания. Источниками же его исторической осведомленности были и летопись, и исторический эпос. Автор

«Слова» был знаком и с тем, и с другим. Он, безусловно, был человеком грамотным и начитанным, но вместе с тем он был наслышан в фольклоре, был проникнут его поэтическим отношением к прошлому. Автор «Слова о полку Игореве» пользуется историческими данными, почерпнутыми и из исторических песен, и из летописи. Его знакомство с русской историей не находится в зависимости только от какой-нибудь одной из этих форм исторической памяти.

Целый ряд признаков указывает на то, что автор «Слова» был знаком с «Повестью временных лет». Прежде всего отметим, что его исторические воспоминания все связаны с событиями, отмеченными в «Повести», и не выходят за ее пределы. Автор «Слова» упоминает события от Владимира «старого» до Владимира Мономаха. Мономах — последний из упоминаемых им князей прошлого. За ним, минуя всех русских князей первой половины XII в., автор «Слова» упоминает только князей — своих современников. Автор «Слова» как будто бы не знает киевской летописи XII в., он не упоминает ни одного события русской истории первой половины XII в., но зато хорошо осведомлен о событиях XI в., получивших свое отражение в «Повести».

Эта хронологическая ограниченность исторического кругозора автора «Слова» пределами «Повести» сама по себе уже как будто бы говорит о том, что автор «Слова» пользовался именно «Повестью временных лет». Однако о том же говорит целый ряд мелких соответствий — в выборе выражений, в выборе упоминаемых деталей исторических событий, в их освещении и т. п., в сумме составляющих картину несомненного знакомства автора с «Повестью». Автор «Слова» как бы видит исторические события XI в. в освещении «Повести». В ряде случаев автор «Слова» отступает от освещения событий, которое дает «Повесть», но автор «Слова» именно отступает, отстраняется, отталкивается от объяснений «Повести», то есть в конечном счете исходит из нее.

В начале своего произведения автор «Слова» определяет хронологические пределы своего рассказа: «Почнемъ же, братие, повѣсть сию отъ стараго Владимера до нынѣшняго Игоря...». Такое определение в начале произведения хронологических пределов своего повествова-

ния типично для исторической литературы XI—XII вв. Его мы найдем в «Повести временных лет» под 852 г. и в предисловии к Начальному своду, сохранившемуся в новгородских летописях: «Мы же от начала Рускы земля до сего лета и все по ряду известьно да скажем, от Михаила цесаря до Александра и Исакья» (Новг. I лет., по Комиссион. сп., предисловие).

Итак, автор «Слова» обещает вести свой рассказ «отъ стараго Владимера до нынѣшняго Игоря». Под «старым Владимиром» следует, несомненно, разуметь не Владимира Мономаха, как предполагали большинство исследователей, а Владимира I Святославича, так как именно этот последний только и может служить начальною историческою вехою повествования «Слова». В самом деле, автор обещает начать свою «повесть» от «стараго Владимера» и ведет свое повествование от Владимира Святославича, а не от Владимира Мономаха, делая перерыв в упоминаемых событиях как раз после Владимира Мономаха, которого однажды упоминает как «Владимира, сына Всеволожа»[1]. Об этом «старом», «первом Владимире» сказано в «Слове» и в дальнейшем: «того стараго Владимира нельзѣ бѣ пригвоздити къ горамъ киевьскымъ». И здесь, несомненно, имеется в виду Владимир I Святославич с его многочисленными походами. Этим многочисленным походам Владимира на внешних врагов Русской земли противопоставлено несогласие войска Давида выступить вместе с войском Рюрика против половцев в 1185 г.; «сего бо нынѣ сташа стязи Рюриковы, а друзии — Давидовы, нъ розно ся имъ хоботы пашутъ».

Таким образом, автор «Слова» вспоминает «старого Владимера» только в связи с его далекими походами на врагов Русской земли. Это представление о Владимире соответствует основной идее автора, противопоставляющего и в других местах «Слова» единство Руси в отдаленном прошлом усобицам своего времени. Но это же представление о Владимире соответствует и летописному, и народному. Большинство лет княжения Владимира в «Повести временных лет» начинается с извещения о его походах:

---

[1] Соловьев А. В. Политический кругозор автора «Слова о полку Игореве», с. 73.

«В лето 6489. Иде Володимер к ляхом и зая грады их, Перемышль, Червен и ины грады, иже суть и до сего дне под Русью. В сем же лете и вятичи победи, и възложи на ня дань от плуга, яко же и отець его имаше.

В лето 6490. Заратишася вятичи, и иде на ня Володимер, и победи я второе.

В лето 6491. Иде Володимер на ятвягы, и победи ятвягы, и взя землю их...

В лето 6492. Иде Володимер на радимичи...

В лето 6493. Иде Володимер на болгары с Добрынею с уем своим...

В лето 6496. Иде Володимер с вои на Корсунь...

В лето 6500. Иде Володимер на хорваты. Пришедшю бо ему с войны хорватьскыя, и се печенези придоша по оной стороне от Сулы; Володимер же поиде противу им...» (Лавр. лет.).

Об этих далеких походах Владимира помнили и в XI, и в XII, и в XIII вв. Его походы были как бы мерилом дальности походов других русских князей. Под 1229 г. галицкий летописец записал о походе Даниила Романовича в Польшу: «Иный бо князь не входил бе в землю Лядьску толь глубоко, проче Володимера великаго, иже бе землю крестил» (Ипат. лет., под 1229 г.). Под 1254 г. галицкий летописец отметил о походе Даниила в Чехию: «Данилови же князю хотящу, ово короля ради, ово славы хотя, не бе бо в земле Русцей первее, иже бе воевал землю Чешьску, ни Святослав хоробры, ни Володимер святый» (Ипат. лет., под 1254 г.).

Уже в XVI в. составитель Никоновской летописи, расширивший повествование о княжении Владимира за счет былинных источников, сообщил дополнительные сведения о походах Владимира.

Таким образом, представления автора «Слова о полку Игореве» о Владимире были распространенными, народными представлениями, в равной мере характерными и для летописцев, и для «песнотворцев».

Следующий после Владимира князь, о котором упоминает автор «Слова»,— Ярослав Мудрый. О «старом Ярославе» автор «Слова» не говорит ничего конкретного. Он упоминает его в связи с тем, что ему, Ярославу, пел свои песни Боян, и упоминает о Ярославовой славе Новгорода. Ярослав, следовательно, для автора «Слова»

не только киевский князь, но и новгородский: с ним связывает он начало новгородской славы, как в Новгороде связывали с ним начало новгородской независимости. Это представление о Ярославе автор «Слова» не мог почерпнуть из «Повести временных лет»,— оно взято им из народных представлений, при этом по преимуществу новгородских.

О Мстиславе Владимировиче Тмутороканском автор «Слова» говорит, как о князе, которому пел песню Боян: «пѣснь пояше... храброму Мстиславу, иже зарѣза Редедю предъ пълкы касожьскыми». Несомненно, что автор «Слова» знал об этих песнях Бояна из фольклорной традиции, однако некоторые совпадения с «Повестью временных лет», думается, также не случайны. Автор говорит «зареза», то есть употребляет то самое выражение, что и «Повесть» (ср. в «Повести» под 1022 г. рассказ о том, как Мстислав перед полками русских и касогов победил в поединке касожского князя Редедю, а затем «вынзе нож, зареза Редедю»). Автор «Слова» говорит «предъ пълкы касожьскыми» — и тем самым снова обращает внимание своего читателя на ту же деталь, на которую обратил внимание и летописец (ср. в «Повести»: «и ставшема обѣма полкома противу собѣ»).

Похоже на то, что автор «Слова» говорит о песне Бояна словами «Повести временных лет» не случайно: он поясняет менее известное более известным — тему песни Бояна словами «Повести». Здесь, следовательно, возможно переплетение двух параллельных источников: устного (восходящего к песням Бояна) и летописного.

Упоминает автор «Слова» и о другом тмутороканском князе — Романе Святославиче, сыне Святослава Ярославича Тмутороканского, также со ссылкой на Бояна, певшего песни ему, «красному Романови Святъславличю». Этот эпитет — «красный» — «Повести временных лет» неизвестен. Он, очевидно, принадлежит устному источнику. Эпитет «красный» «Повесть временных лет» прилагает только к брату Романа Святославича — Глебу («бе же Глеб... взором красен»), о Романе же «Повесть» упоминает всего два раза. Нет ничего удивительного в том, что красотою отличались оба брата Святославича, но знать об этом автор «Слова» мог только из устного источника.

С полной очевидностью летописный источник выступает в двух упоминаниях «Слова»: о Борисе

Вячеславиче — сыне князя Вячеслава Ярославича, и о Ростиславе Всеволодовиче, сыне Всеволода Ярославича.

О смерти Бориса Вячеславича «Слово» говорит: «Бориса же Вячеславлича слава на судъ приведе и на Канину зелену паполому постла»... Летопись не говорит о том, когда произошла битва, в которой погиб Борис. Знал ли автор «Слова» из каких-то дополнительных источников, что битва произошла тогда, когда росла трава, послужившая ему «зеленой паполомой» (зеленым, а не черным, как обычно, погребальным покрывалом)? Я думаю, что никаких точных сведений о времени битвы у автора «Слова» не было. Это чисто поэтический образ. Вырос этот образ на основе фольклорных представлений о телах убитых, лежащих «на земле пусте, на траве ковыле» («Повесть о разорении Рязани Батыем»), но, возможно, возбужденный ассоциацией под влиянием названия местности, где произошла битва,— на «Нежатиной Ниве» («Повесть временных лет», под 1078 г.).

Иное, историческое на этот раз, объяснение имеют слова «Слова о полку Игореве» о том, что Бориса Вячеславича «слава на судъ приведе».

Ту же трактовку смерти Бориса Вячеславича находим мы и в «Повести временных лет»: смерть Бориса Вячеславича поставлена в связь с его похвальбой перед битвой на Нежатиной Ниве в 1078 г.: «Рече же Олег (Святославич.— *Д. Л.*) к Борисови: «Не ходиве противу, не можеве стати противу четырем князем, но посливе с молбою к стрыема своима». И рече ему Борис: «Ты готова зри, аз им противен всем»; похвалився велми, не ведый яко бог гордым противится, смереным дает благодать, да не хвалиться силный силою своею... Первого убиша Бориса, сына Вячеславля, похвалившагося велми». Итак, и в летописи, и в «Слове» смерть Бориса Вячеславича рассматривается как возмездие за его похвальбу. Не может быть сомнения в том, что эта связь не случайна: автор «Слова» и здесь свои исторические сведения черпал из «Повести временных лет». Однако связь эта объяснена различно: в «Повести временных лет» ей придана религиозная трактовка: «не ведый, яко бог гордым противится»; в «Слове» же эта религиозная трактовка снята: «слава на судъ приведе». Не бог, следовательно, приводит Бориса Вячеславича на суд, а сама «слава», персонифицированная с тою же художественною осторожностью, с какою персонифицированы в

«Слове» «обида» («въстала обида... вступила дѣвою... въсплескала лебедиными крылы»), «беда» («уже бо бѣды его пасетъ птиць по дубию»), «тоска», «печаль» («тоска разлияся... печаль жирна тече»), «лжа», «котора» («уже лжу убудиста которою, ту бяше успилъ отецъ ихъ Святъславь...»), «веселие» («а веселие пониче»), «хула» и «хвала» («уже снесеся хула на хвалу»), «нужда» и «воля» («уже тресну нужда на волю»), грозы («грозы твоя по землямъ текутъ»). Это переосмысление летописной трактовки смерти Бориса Вячеславича не случайно. Ниже мы увидим, что оно имеет и другие параллели: автор «Слова» постоянно отходит от религиозной, христианской точки зрения на события русской истории.

С летописью связано и упоминание о смерти «уноши» Ростислава: «Не тако ти, рече (говорит Игорь Донцу.— *Д. Л.*), рѣка Стугна; худу струю имѣя, пожръши чужи ручьи и стругы, ростренa къ устью, уношу князю Ростиславу затвори. Днѣпрь темнѣ березѣ плачется мати Ростиславля по уноши князи Ростиславѣ. Уныша цвѣты жалобою и древо с тугою къ земле прѣклонилось». Этот эпизод и в «Повести временных лет» изложен с поэтическим чувством: «И бысть брань люта; побеже и Володимер с Ростиславом и вои его. И прибегоша к реце Стугне, и вбреде Володимер с Ростиславом, и нача утапати Ростислав пред очима Володимерима. И хоте похватити брата своего и мало не утопе сам. И утопе Ростислав, сын Всеволожь. Володимер же пребред реку с малою дружиною... плакася по брате своем и по дружине своей; и иде Чернигову печален зело... Ростислава же искавше обретоша в реце; и вземше принесоша й Киеву, и плакася по немъ мати его, и вси людье пожалиша си по немь повелику, уности его ради. И собрашася епископи и попове и черноризци, песни обычныя певше, положиша й у церкви святыя Софьи у отца своего» (Лавр. лет., под 1093 г.). Автор «Слова» поэтически переосмыслил этот текст «Повести». В его кратких словах не забыты такие лирические детали летописного текста, как плач матери и юность князя, безвременно утонувшего в Стугне, но добавлены и новые, поэтически досмысленные: мать плачет на темном берегу Днепра (ср. «ту ся брата разлучиста на брезѣ быстрой Каялы»; «се бо готьскыя красныя дѣвы въспѣша на брезѣ синему морю»), цветы унывают жалобою, и дерево с тоскою к земле преклони-

лось. Этот образ унывающих цветов и преклоняющегося дерева принадлежит также, несомненно, автору, а не взят им из каких-либо устных источников; ср. выше: «ничить трава жалощами, а древо с тугою къ земли преклонилось», или «нъ уже, княже Игорю, утрьпѣ солнцю свѣтъ» (ср. в описании плача матери по Ростиславе «темнѣ березѣ»), «а древо не бологомъ листвие срони». Здесь, следовательно, к летописной трактовке события добавлены народно-песенные детали, но детали эти принадлежат самому автору «Слова». Все эти поэтические добавления составлены в фольклорном духе, но они не свидетельствуют о существовании какой-то особой песни о гибели Ростислава, откуда они могли быть взяты: они принадлежат автору «Слова» и типичны для его поэтической манеры. Замечательна здесь и еще одна черта, уже отмеченная нами выше в словах автора «Слова» о Борисе Вячеславиче: автор «Слова» как бы не заметил все то в летописи, что имеет религиозный смысл,— о Ростиславе плачет его мать, но церковные похороны в святой Софии с пением «обычных песен» не нашли поэтического отклика в «Слове».

Вместе с тем автор «Слова» не считается и с церковным историческим источником, из которого в XII в. он мог почерпнуть сведения о гибели Ростислава,— с протографом «Киево-Печерского патерика». В Печерском монастыре осталась худая слава о Ростиславе. Это видно из жития Григория, включенного в «Патерик». Там рассказывалось о том, что Ростислав велел бросить Григория в воду и за это сам через некоторое время утонул в Стугне. Не знал ли автор «Слова» этой киево-печерской версии, или сознательно ее отбросил,— и то, и другое для него характерно: автор «Слова» здесь, как и в других местах своего произведения, стоит вне церковной исторической традиции.

Нельзя не видеть, какие жемчужины поэзии отобраны автором «Слова» в «Повести временных лет»: поединок Мстислава Владимировича с касожским князем Редедею, трагическая смерть Бориса Вячеславича, трагическая безвременная смерть «уноши» Ростислава и оплакивание его матерью. Даже вне зависимости от умелого использования этих эпизодов в «Слове», от поэтической их доработки, самый выбор этих мест, в «Повести временных лет» мало заметных и эпизодических, но привлекательных по своему глубокому человеческому со-

держанию, говорит, что в лице автора «Слова» «Повесть временных лет» нашла внимательного и чуткого к ее жизненной красоте читателя.

Однако с наибольшей полнотой поэтическое понимание автором «Слова» текста «Повести временных лет» нашло себе выражение не в этих «случайных» упоминаниях, только «инкрустирующих» поэтический рассказ «Слова», а в образах двух зачинщиков феодальных смут, двух родоначальников самых беспокойных княжеских гнезд — Олега Гориславича и Всеслава Полоцкого.

Перед нами в «Слове» не только портреты двух этих князей, но в известной мере суммарные характеристики их непокорных и суетливых потомков — ольговичей и всеславичей. В самом деле, по мысли автора, князья и княжества всегда являются носителями славы их родоначальников, предков, основоположников их независимости: черниговцы без щитов с одними засапожными ножами кликом полки побеждают, «звонячи въ прадѣднюю славу». Изяслав Василькович позвенел своими острыми мечами о шлемы литовские, «притрепа славу дѣду своему Всеславу»; Ярославичи и все внуки Всеслава уже выскочили «изъ дѣдней славѣ»; Всеслав, захватив Новгород, «разшибе славу Ярославу» и т. д. Все это не пустые слова: с точки зрения автора «Слова», славу современных ему князей и княжеств уставили «деды», следовательно, «деды» нынешних князей черниговских и полоцких — Олег Святославич и Всеслав Брячиславич — живы в деяниях своих потомков. Автор «Слова» не случайно дает характеристику именно этим князьям: он говорит о их злосчастной судьбе, чтобы призвать к миру и согласному действию против степи их беспокойных потомков. Представления о том, что сыновья и внуки продолжают политику отцов и дедов, были обычными в Древней Руси.

Характеристика Олега Гориславича предшествует сообщению о поражении Игоря. Поражение Игоря рассматривается как непосредственное следствие политики феодальных раздоров, начавшейся при Олеге. Рассказав об усобицах Олега, автор «Слова» переходит прямо к поражению Игоря: «То было въ ты рати и въ ты плъкы, а сицей рати не слышано!», то есть те все несчастья были от тех ратей и тех походов, но эта рать Игоря превзошла своими последствиями усобицы Олега. Рассказу о Всеславе в «Слове» непосредственно предшествует

обращение к потомкам Всеслава и их противникам Ярославичам.

В самом деле, как понять следующее место «Слова»: «Ярославе и вси внуце Всеславли! Уже понизите стязи свои, вонзите свои мечи вережени. Уже бо выскочисте изъ дѣдней славѣ. Вы бо своими крамолами начясте наводити поганыя на землю Рускую, на жизнь Всеславлю. Которою бо бѣша насилие отъ земли Половецкыи!».

О каком Ярославе здесь идет речь? Может быть, это Ярослав Всеволодович Черниговский, как думают одни комментаторы?[1] Или Ярослав Владимирович — внук Мстислава Владимировича, как думают другие[2]. Но эти Ярославы не только не воевали с полоцкими князьями, но не были даже их соседями. Поэтому М. Максимович[3] предполагает, что здесь говорится о Ярославе Юрьевиче Пинском, который имел общие границы с полоцкими князьями и мог (!) вместе с ними воевать против половцев.

Однако из контекста «Слова» ясно, что речь идет не о войне Ярослава в союзе с полоцкими князьями против половцев, а о междоусобной войне. Автор «Слова» укоряет обе стороны за «которы». Войны против «поганых» автор «Слова» мог только приветствовать. Автор «Слова» звал русских князей выступить против половцев и в равной мере против литовских племен, нападавших на Русь.

Но о междоусобной войне Ярослава Юрьевича с полоцкими князьями ничего не известно. Да если бы и было известно,— это было бы слишком мелким эпизодом для того исторического обобщения, которое дает автор «Слова». Ведь речь идет о «которах», а не о «которе», о разорении «жизни Всеславля». Совсем неточно определяет Ярослава А. В. Соловьев в своей, в общем превосходной, работе «Политический кругозор автора „Слова о полку Игореве“». Он пишет: «Следующее обращение — «Ярославе и вси внуци Всеславли» — опять на-

---

[1] Вяземский П. Замечания на «Слово о полку Игореве». СПб., 1875; Исследования о вариантах. СПб., 1887.

[2] Огоновський О. «Слово о полку Игореве» — поетичний памятник руськоï письменності XII в. Львів, 1876; Буслаев Ф. Историческая христоматия древнерусской литературы. М., 1861, стлб. 611.

[3] Песнь о походе Игоря. — «Украинец», 1859, кн. I, с. 109, прим. 38.

зывает неизвестного нам князя, происхождение которого трудно установить. Многие комментаторы полагают, что это Ярослав Юрьевич Турово-Пинский, участник похода 1184 г. на половцев (правнук Святополка Изяславича); другие считают, что это опять упоминается Ярослав Всеволодич Черниговский. Но нам кажется, что по всему контексту («Ярославе и вси внуци Всеславли... уже бо выскочисте изъ дѣдней славѣ») здесь имеется в виду еще какой-то полоцкий князь, один из многих правнуков вещего Всеслава. Они своими крамолами (раздоры между Васильковичами, Глебовичами и Борисовичами) начали наводить поганых на землю Русскую на жизнь Всеславлю, т. е. половцев на русское полоцкое княжество, на богатство и наследство Всеслава. Полагаем, что тут намек на события 1180 г., когда раздоры между линиями полоцких князей вызвали приход Игоря северского к Друцку вместе с ханами Кончаком и Кобяком, бывшими тогда его союзниками»[1]. Однако по всему контексту ясно, что здесь в «Слове» имеется в виду какое-то крупное историческое явление. Какое же?

Я предполагаю, что в слове «Ярославе» при его прочтении издателями вкралась ошибка. В этом слове издатели неправильно прочли выносное «л», которое можно читать и за выносной слог «ли». Читать следует не «Ярославе», а «Ярославли»: «Ярославли и вси внуце Всеславли!», или: «Ярославли вси внуце и Всеславли!» Примеров неумения первых издателей правильно читать выносные буквы и окончания слов, а также делить текст на слова можно было бы привести много. В том же месте, с которого мы начали обсуждение вопроса о «Ярославе», издатели прочли «вонзить» вместо «вонзите», «понизить» вместо «понизите».

Перед нами призыв прекратить вековые «которы» ярославичей и полоцких всеславичей.

Родовое гнездо полоцких князей противостоит в сознании людей XII в. потомству Ярослава Мудрого. Летопись противопоставляет полоцких князей другим русским князьям, называя последних ярославичами. Под 1128 г. в Лаврентьевской летописи мы читаем рассказ о причинах вражды полоцких князей с ярославичами.

---

[1] Соловьев А. В. Политический кругозор автора «Слова о полку Игореве»..., с. 84.

Это известное повествование о Рогнеде и Владимире. Заключается рассказ Лаврентьевской летописи следующими словами: «И оттоле мечь взимають роговоложи внуци противу ярославлим внуком». Через 50 с лишним лет автор «Слова» имел право говорить не о рогволожих внуках, а о «внуках Всеславлих», но «Ярославли внуки» остались все те же.

В самом деле, полоцкие князья представляли собой особую линию русских князей, едва ли не первыми начавших процесс феодального дробления Руси. Особая жизнь Полоцкого княжества была утверждена еще при Владимире.

Владимир «воздвиг» отчину Рогнеде и сыну своему от Рогнеды — Изяславу в Полоцке. Рогнеда была дочерью полоцкого князя Рогволода. Полоцкие князья, чуждавшиеся потомства Владимира, сами себя считали Рогволодовыми внуками — по женской линии. И отчину свою вели не от пожалования Владимира, а по линии наследования от Рогволода. Автор «Слова» не называет полоцких князей «Рогволожими внуками», и это не случайно. От Изяслава Полоцкая земля досталась Брячиславу, а от последнего Всеславу, чтобы потом пойти в раздел сыновьям последнего. Все полоцкие князья были потомками Всеслава. Их автор «Слова» и называет «Всеславлими внуками». Их он противопоставляет потомству Ярослава, но не потомству Владимира, так как и те, и другие были его потомством. Характерно, что полоцких князей автор «Слова» называет внуками Всеслава, а не внуками Рогволода, как летопись под 1125 г. Рогволодовичами называли полоцких князей в местных, областнических целях те, кто видел в них не потомков Владимира I Святославича, а обособленную линию князей, шедшую по женской линии от неродственного князя Рогволода. Автор «Слова» называет их Всеславичами, то есть признает их родственность всем русским князьям через Владимира I Святославича; он не признает особой, женской генеалогической линии полоцких князей через Рогнеду к Рогволоду. И в этом отношении он последователен в своем взгляде на полоцких князей, стоит не на местной полоцкой, а на общерусской точке зрения.

Итак, в этом месте «Слова» речь идет не о какой-то мелкой вражде одного из русских Ярославов 80-х годов XII в. с полоцкими князьями, вражде настолько

мелкой, что она даже не была отмечена летописью и только предполагается комментаторами «Слова», а о большом длительном историческом явлении: о длительной вражде полоцких князей со всеми остальными русскими князьями. Автор «Слова» говорит о многих «которах», о разорении жизни Всеславлей, о том, что эти «которы» наводили «поганых» (литовцев) на землю Русскую и Полоцкую, и обращается ко всему потомству Всеслава.

И летопись, и «Слово о полку Игореве» точно отражают исторические события. Усобицы полоцких князей, стремившихся обособиться от Киева, с киевскими князьями, безуспешно пытавшимися восстановить зависимость Полоцка от Киева, действительно наполняют своим шумом и XI, и XII в. В этой междоусобной войне автор «Слова» считает побежденными обе стороны, победителями же оказываются «поганые» — половцы и литовцы. Эта мысль выражена автором с необыкновенным блеском: «Ярославли вси внуце и Всеславли! Уже понизите стязи свои (как символ поражения,— признайте себя побежденными. — *Д. Л.*), вонзите свои мечи вережени (в междоусобных войнах. — *Д. Л.*). Уже бо выскочисте изъ дѣдней славѣ (междоусобицы вас обесславили.— *Д. Л.*). Вы бо своими крамолами начясте наводити поганыя на землю Рускую, на жизнь Всеславлю. Которою бо бѣше насилие от земли Половецкыи!»

Вот почему автор «Слова», подобно летописцу, и обращается в дальнейшем, в большом отступлении, к истокам этой великой вражды, охватившей всех русских и всех полоцких князей,— к истории родоначальника нынешних Всеславичей — Всеслава Брячиславича Полоцкого.

Автор «Слова» — средневековый мыслитель. Он, как и летописцы, стремится доискаться первопричины, начала событий: «откуду есть пошла» вражда.

Интерес к тому, что мы сейчас назвали бы поводом событий, весьма характерен для средневековья.

Под 1375 г. в летописи Авраамки мы находим особую статью «О войне и о брани, иже бе под Тферью». В ней говорится о приезде в Тверь Некомата «с бессерманьскою лестью от Мамая», как о причине последующих событий. Летописец заключает свой рассказ следующим замечанием: «Се же писах того ради, понеже огнь загореся от того». Аналогично этому и в Симеоновской

летописи (как и в некоторых других) вслед за рассказом о том, как в 1433 г. на свадьбе Василия II Софья Витовтовна сняла пояс с Василия Косого, мы находим следующее заключение: «Се же пишем того ради, понеже много зла с того ся почало»[1]. Городские волнения в Новгороде в 1418 г. описаны в Новгородской IV летописи как следствие простой уличной ссоры между «человеком неким Степанко» и боярином Данилом Ивановичем Божиным внуком. Характерно, что и городские власти Новгорода, занявшись расследованием этих социальных волнений, во время которых жители в воинских доспехах вступали в настоящее сражение, решили прежде всего выяснить «вещи сиа начало», то есть обратились к расследованию той мелкой уличной ссоры, от которой, по их мнению, все и началось.

История Всеслава Полоцкого — это, конечно, не уличный эпизод. Но ее значение для автора «Слова» то же, что и история с поясом Софьи Витовтовны или приезда в Тверь Некомата, — это первопричина, это «вещи сиа начало».

Интерес к началу длительной истории вражды полоцких князей для автора «Слова» поддерживается еще характерной для XII в. «родовой» точкой зрения на события русской истории.

Каждый представитель того или иного княжеского рода для XII в. является вместе с тем представителем и политических традиций этого рода, «славы» рода или родоначальника.

Принимая выводы относительно толкования этого места «Слова о полку Игореве», где, с моей точки зрения, говорится о вражде Ярославичей и Всеславичей, изложенные мною в «Комментарии историческом и географическом» к «Слову»[2], Б. А. Рыбаков дополняет их следующими соображениями: «В тексте первого издания 1800 г. стоит «Ярославе и всии внуце Всеславли» (первое изд., с. 34. — *Д. Л.*). И исследователи долго отыскивали того Ярослава, к которому могло быть отнесено это обращение. Предлагали и Ярослава Черниговского... и Ярослава Владимировича (адресата Даниила Заточника. — *Д. Л.*), и незначительного Ярослава Пинского»,

[1] ПСРЛ, т. XI, 1889, с. 99; т. XVIII, 1913, с. 172.

[2] См.: Слово о полку Игореве. Серия «Литературные памятники». М.—Л., 1950, с. 450—452.

но это никак не могло объяснить главной мысли автора, стержня всей поэмы, заключенной в этом абзаце: «Распри позволяли половцам торжествовать над нами». Ведь длительные раздоры полоцких князей, присходившие где-то на краю земли, остальных русских княжеств не касались, а уж к половецким набегам и вторжениям вообще никакого отношения не имели. Если бы речь шла только о недружном гнезде полоцких князей и каком-то Ярославе, который почему-то всех их уравновешивал своей персоной, то напоминание о половцах осталось бы без объяснений.

Следует обратить внимание на то, что данный абзац подводил итог своеобразному обзору всей Руси, от Карпат до Волги и от степи до Западной Двины; в обзоре говорилось обо всех князьях, и все они, кроме полоцких (у которых были свои враги-язычники — литовцы), призывались поэтом к войне с половцами. В этом смысле «земля Русская» уравновешивалась с «жизнью Всеславлею», но если оставить текст первого издания, то останутся и непримиримые смысловые противоречия.

Выход был найден Д. С. Лихачевым, предложившим в 1950 г. читать «Ярославли (внуки) и вси внуци Всеславли...» Аргументация Д. С. Лихачева настолько убедительна и новое чтение настолько логически связывает весь абзац в единое целое, что можно не только принять все это чтение, но и основывать на нем ряд выводов.

Итак, соединительное звено между обзором русских княжеств 1185 г. и временами «дедней славы» содержит главную мысль поэмы: порицание обеим ветвям «Володимирова племени» — Ярославичам и Всеславичам — за крамолы и которы, позволяющие «поганым» нападать на Русь. Этим звеном читатель уже подготовлен к рассмотрению какой-то более ранней эпохи, которая, с одной стороны, была временем дедней славы, а с другой — временем первых усобиц, первоистоком княжьих крамол. Напомню, что затем в «Слове» идет рассмотрение событий, связанных с «первыми князьями» в «первую годину» Руси[1].

В Олеге «Гориславиче» и во Всеславе Полоцком автором «Слова» обобщены два крупнейших исторических явления: усобицы Ольговичей и Мономаховичей и усо-

---

[1] Рыбаков Б. А. Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве». М., 1972, с. 441—442.

бицы Всеславичей и Ярославичей. Вот почему характеристики этих князей занимают такое большое место в «Слове». Ограниченный в средствах художественного обобщения законами художественного творчества средневековья, замкнутого в кругу исторических фактов весьма узкого ряда, автор «Слова» прибег к характеристикам родоначальников тех князей, обобщающую характеристику которых он собирался дать.

Таким образом, характеристики Олега и Всеслава занимают строго определенное и важное место в идейной композиции «Слова». Это не случайные вставки и не лирические «отступления». Они находятся в органической связи с историческими воззрениями автора «Слова» (к этому вопросу мы еще вернемся). Тем более интересно будет проследить исторические источники этих характеристик.

Обратимся прежде всего к характеристике Всеслава; она целиком согласуется с теми фактами, которые сообщает о нем «Повесть временных лет». Факты «Повести временных лет» осмыслены в «Слове» поэтически. Из них автор «Слова» строит не только поэтический образ Всеслава, но одновременно дает и историческую оценку его деятельности. Эта историческая оценка, умело согласованная со всей идейной структурой «Слова», поражает вместе с тем глубоким пониманием русской истории.

«На седьмомъ вѣцѣ Трояни връже Всеславъ жребий о дѣвицю себѣ любу». В дальнейшем там, где я буду говорить о периодизации русской истории автором «Слова», я подробно остановлюсь на вопросе о том, что означает выражение «на седьмомъ вѣцѣ Трояни». Здесь же, забегая несколько вперед, упомяну только, что оно находится в тесной связи с представлениями о Всеславе как о кудеснике и в общих чертах означает «на последок языческих времен». Дальше говорится о кратковременном пребывании Всеслава на киевском столе, и это позволяет нам видеть, вслед за другими исследователями, в девице ему «любой» — Киев. Опершись на восставших в 1068 г. киевлян, чтобы взойти на киевский стол, Всеслав действительно играл своей судьбою — «кинул жребий». Он был в равной мере чужд восставшим горожанам и феодальной княжеской верхушке Руси. Он не имел реальной опоры ни в одном классе общества; оказавшись вознесенным из «поруба» на киевский стол, где он смог удержаться всего семь месяцев («дотчеся стружиемъ

злата стола киевьскаго»), он только воспользовался случаем — «скакнул» к киевскому столу.

«Повесть временных лет» не говорит об активном стремлении Всеслава стать киевским князем. Стремление это может быть предположено лишь по всей ситуации: для заключенного в поруб Всеслава его согласие возглавить восстание было единственным и при этом блестящим выходом из заключения.

Это-то стремление к киевскому столу и приписано Всеславу автором: «тъй клюками подпръ ся о кони и скочи къ граду Кыеву».

Этим выражением «скочи» подчеркнуто, что Всеслав незаконно захватил киевский стол (ср.: «бе бо преже того пискуп Асаф во Угровьску, иже скочи на стол митрополичь, и за то свержен бысть стола своего»; Ипат. лет., под 1223 г.). Однако на каких коней оперся Всеслав, чтобы занять киевский стол? Это не могли быть кони его войска, его дружины или его собственные: Всеслав сидел в порубе, в заключении, и не имел ни коней, ни конного войска, ему не надо было и подступать к Киеву с конями — он был в Киеве. Ответ на этот вопрос дает «Повесть временных лет»: Всеслав пришел к киевскому княжению в результате восстания киевлян, потребовавших у Изяслава *коней* и оружия: «Дай... княже, оружие и кони». Этим-то требованием киевлян коней и воспользовался Всеслав. Благодаря ему он оказался на киевском столе.

Вот как излагает те же события Б. Д. Греков: «Вече хотело создать новую армию из той части населения, которая не имела ни о р у ж и я, ни к о н е й, т. е. из массы городского и сельского простого люда. Изяслав отказался исполнить требование веча, и это послужило поводом к восстанию народных масс в Киеве... Освобожденный Всеслав стал киевским князем по воле веча»[1]. Несомненно, что Всеслав дал киевлянам и оружие, и коней. Они были в распоряжении Изяслава, иначе народ и не стал бы их требовать у князя, но Изяслав боялся выдать их киевской «чади», опасаясь восстания. Придя к власти, Всеслав не мог не удовлетворить этих требований киевлян. Следовательно, выражение «подпръ ся о кони» следует понимать так же, как «подперъ горы угорскыи своими желѣзными плъкн» или «ты бо можеши

[1] Г р е к о в Б. Д. Киевская Русь. М.—Л., 1944, с. 288.

Волгу веслы раскропити, а Донъ шеломы выльяти!». Всеслав подперся конями так же, как Всеволод стреляет живыми шерееширами и Изяслав Василькович «звонит» своими «острыми мечи», мечами своей дружины, о «шеломы литовьскыя». Отсюда ясно, что и «подперся клюками» означает «подперся хитростями», «коварством», «своею догадливостью» (кстати сказать, из всех предположенных комментаторами значений слова «клюка» только это — «хитрость» — и зарегистрировано памятниками древней русской письменности).

Нам нет смысла углубляться в детали и выяснять, почему вопрос о конях стоял так остро в 1068 г. Для нас важно лишь то, что Всеслав пришел к власти, дав киевлянам оружие и коней. Следовательно, Всеславу приписана в «Слове» активная роль в своем освобождении. В «Повести временных лет» освобождение Всеслава объясняется не «клюками» Всеслава, а его благочестием и силою креста: «Се же бог яви силу крестную, понеже Изяслав целовав крест, и я и́; тем же наведе бог поганыя, сего же яве избави крест честный. В день бо Въздвиженья Всеслав, вздохнув, рече: «О кресте честный! понеже к тобе веровах, избави мя от рва сего». Бог же показа силу крестную на показанье земле Русьстей, да не преступають честнаго креста, целовавше его; аще ли преступить кто, то и зде прииметь казнь и на придущемь веце казнь вечную», и т. д. Автор «Слова» держится лишь фактической стороны «Повести», но не ее истолкований. Он снимает здесь, как и в других местах, религиозные истолкования «Повести». Следующая затем фраза «Слова» также непонятна без текста «Повести временных лет»: «скочи отъ нихъ лютымъ звѣремъ въ плъночи изъ Бѣлаграда, обѣсися синѣ мьглѣ». Прежде всего неясно, от кого — «отъ нихъ»? В предшествующей фразе речь шла о Киеве и о киевском столе[1], но не о людях. Однако о людях шла речь в «Повести временных лет»: «Поиде Изяслав с Болеславом на Всеслава; Всеслав же поиде противу. И приде Белугороду Всеслав, и бывши нощи, утаивъся кыян бежа из Белагорода Полотьску». Следовательно, «они» — это «кияне»

---

[1] Вряд ли автор «Слова» настолько различал и ставил в один ряд Киев и киевский стол, что мог упомянуть именно о них в словах «отъ нихъ», слишком неточно соединенных для этого в целом изумительно точного в выборе выражений произведения.

«Повести временных лет». Так же точно «синяя мгла» — это мгла ночи, а не «синее облако», как предполагали некоторые комментаторы. «Слово» в своей фактической стороне совпадает здесь с «Повестью», но поэтически по-иному осмысляет исторические факты: Всеслав «лютым зверем» ночью бежит от киевлян из Белгорода, скрывшись от них в «синей мгле» — конечно, ночи.

Следующая затем фраза не может быть объяснена из обычного текста «Повести временных лет»: «утръже вознзи» (в издании 1800 г.) или «утръже вазнистри кусы» (в Екатерининской копии). Общепринятое в настоящее время понимание «утрѣ же вознзи стрикусы» в связи с последующим «отвори врата Новуграду, разшибе славу Ярославу» находится в противоречии с текстом «Повести временных лет»; Всеслав бежал из Белгорода в Полоцк, в Новгороде же он появился за полтора-два года перед тем.

Разгадка этого странного для автора «Слова» анахронизма заключается в том самом тексте Софийской первой летописи (и сходных с нею), в котором Ив. М. Кудрявцев нашел текст, оправдавший рассказ о похоронах Изяслава у святой Софии в Киеве[1].

В Софийской первой, в Новгородской первой младшего извода в результате дублировки известий, получившейся от соединения новгородских летописей и киевской «Повести временных лет» с различной хронологической сетью, Всеслав трижды появляется в Новгороде и один раз (последний), именно в 1069 г., после бегства его из Киева.

Это не означает, что автор «Слова о полку Игореве» пользовался Софийской первой летописью, сложившейся уже в XV в., или вообще какою-либо новгородской летописью. Это означает лишь, что в руках у автора «Слова» был текст «Повести временных лет» в соединении с новгородской летописью. Такой текст реально дошел до нас в новгородской традиции, но он мог быть и в Чернигове — черниговские князья неоднократно занимали стол в Новгороде.

Назовем одного такого черниговского князя. Это Святослав Ольгович, сын Олега «Гориславича». Этот

---

[1] Кудрявцев Ив. М. Заметка к тексту «С тоя же Каялы Святопълкъ» в «Слове о полку Игореве». — ТОДРЛ, т. VII. М. — Л., 1950, с. 407—409.

князь был первым новгородским князем, занявшим новгородский стол после известного переворота 1136 г., установившего в Новгороде новый республиканский порядок. При этом князе, с которого началась в Новгороде новая политическая жизнь, был составлен, как я доказываю в своей работе «Софийский временник и новгородский политический переворот 1136 г.»[1], тот самый «Софийский временник», который лег впоследствии в основу Софийской первой и других новгородских летописей. Этот свод представлял собою соединение киевских летописей с новгородскими, в результате которого и получились все эти дублировки.

Именно этот новгородский князь Святослав Ольгович, при котором в Новгороде был составлен летописный свод, объясняющий два места в «Слове», был не кто иной, как отец Игоря Святославича Новгород-Северского — впоследствии князь Новгород-Северский, а затем и Черниговский. Со Святославом Ольговичем М. Д. Приселков связывал появление особого летописца. Тем самым указывается один из возможных (но не единственных) путей, каким могла попасть в руки автора «Слова о полку Игореве» летопись, в некоторых из своих известий схожая с Софийской первой.

Вторично сравнивает автор «Слова» бегство Всеслава с бегством зверя: «скочи влъкомъ до Немиги съ Дудутокъ».

Всеславу действительно пришлось бежать из Новгорода —«съ Дудутокъ» (согласно Н. М. Карамзину — монастырь под Новгородом), но о бегстве этом именно к Немиге нет сведений в «Повести временных лет». Нет в «Повести временных лет» и сведений о Дудутках: здесь, возможно, сказалось непосредственное, или «устное», знакомство автора «Слова» с топографией Новгорода.

Быстрота передвижения Всеслава, его «неприкаянность» — черты его реальной биографии. Вот что пишет о нем В. В. Мавродин: «Надо отметить, что Всеслав действительно колесил по всей Руси, с боем отстаивая свои права, отбиваясь от нападавших, стремясь захватить города и волости, отбить свою «отчину». Бегство, «порубы», кратковременный успех в Киеве, когда восстание выносит его на гребень волны, снова бегство, не-

[1] «Исторические записки», 25.

удачи и т. п.— вот жизненный путь Всеслава, которого автор «Слова о полку Игореве» сравнивает с не находящим себе места и покоя рыскающим волком. За образным выражением, мифической оболочкой скрывается реальное, конкретное содержание, подлинная жизнь Всеслава»[1]. Есть и еще одно свидетельство реальной быстроты передвижений Всеслава. Мономах говорит в своем «Поучении», что он гнался за Всеславом (в 1078 г.) со своими черниговцами «о двою коню» (то есть с поводными конями), но тот оказался еще быстрее: Мономах его не нагнал.

На Немиге Всеслав потерпел поражение, и это поражение было действительно ужасным: «И совокупишася обои на Немизе, месяца марта в 3 день; и бяше снег велик, и поидоша противу собе. И бысть сеча зла, и мнози падоша, и одолеша Изяслав, Святослав, Всеволод, Всеслав же бежа».

Весь дальнейший текст «Слова» о Всеславе представляет собою размышление о его злосчастной судьбе. Всеслав изображен здесь и с осуждением, и с теплотой лирического чувства: неприкаянный князь, мечущийся как затравленный зверь, хитрый, «вещий», но несчастный неудачник: перед нами исключительно яркий образ князя-вотчинника, князя периода феодальной раздробленности Руси.

«Всеслав князь людемъ судяше, княземъ грады рядяше (то есть властвовал над судьбой других людей, даже князей.— *Д. Л.*), а самъ въ ночь влъкомъ рыскаше (не зная пристанища; как в 1068 г., когда он ночью бежал из Белгорода.— *Д. Л.*): изъ Кыева дорискаше до куръ Тмутороканя, великому Хръсови влъкомъ путь прерыскаше. Тому (то есть для Всеслава.— *Д. Л.*) въ Полотьскѣ позвониша заутреннюю рано у святыя Софеи въ колоколы, а онъ въ Кыевѣ (в заключении.— *Д. Л.*) звонъ слыша. Аще и вѣща душа въ дръзѣ тѣлѣ (хоть и «вещая»— колдовская душа была у него в храбром теле.— *Д. Л.*) нъ часто бѣды страдаше. Тому вѣщей Боянъ и пръвое припѣвку, смысленый, рече: „Ни хытру, ни горазду, ни птицю горазду суда божиа не минути"».

Во всей этой характеристике Всеслава только одна деталь заставляет искать какого-то иного источника,

---

[1] Мавродин В. В. Очерки истории Левобережной Украины. Л., 1940, с. 167.

кроме «Повести временных лет»: это упоминание о пребывании Всеслава в Тмуторокани. «Повесть временных лет» молчит об этом, такие сведения могли быть как раз в песнях Бояна, воспевшего ряд тмутороканских князей: Мстислава Владимировича, Романа Святославича — сына Святослава Ярославича Тмутороканского.

Однако хотя в своей фактической основе сведения о Всеславе в целом совпадают с «Повестью временных лет», но общий, я бы сказал нравственный, смысл характеристики этого беспокойного князя в «Повести временных лет» отсутствует в «Слове». Религиозное объяснение освобождения Всеслава из «поруба» заменено в «Слове» другим, в котором Всеславу приписана активная роль.

Откуда все это взялось в «Слове»? Можно думать, что характеристика Всеслава и всей его деятельности подсказана автору «Слова» Бояном: она совпадает в своей общей оценке с той «припевкой», которую сказал Боян о Всеславе и которая тут же приведена в «Слове» как заключительная сентенция: «Тому вѣщей Боянъ и пръвое припѣвку, смысленый, рече: „Ни хытру, ни горазду, ни птицю горазду суда божиа не минути“».

Итак, Всеслав — зачинатель усобиц Ярославичей и полоцких князей (согласно с летописью, именно по поводу Всеслава летописец помещает под 1068 г. большое нравоучение об усобицах), он скор на кровопролитие, это князь-кудесник (согласно с летописью — «носит язвено», «родился от волхвования», гиперболически быстро передвигается), он неудачник (постоянно спасается бегством, однажды бежит ночью).

Вся эта характеристика Всеслава сходна в «Слове о полку Игореве» и в «Повести временных лет».

Остается только один вопрос, что означает в «Слове» упоминание того, что этот князь-кудесник, князь-неудачник, действует «на седьмомъ вѣцѣ Трояни»?

Еще раз «века Трояна» упоминаются в «Слове» в контексте своеобразной периодизации русской истории, даваемой автором «Слова». Эта периодизация представляет собою только плод поэтического обобщения автора «Слова», в ней нет четких и логических, и хронологических рубежей, больше того — она брошена автором «Слова», весьма возможно, случайно, попутно, и оставлена им во всей ее поэтической незавершенности.

Однако она отражает непосредственные и живые впечатления автора от русской истории. Ее ценность, может быть, как раз и состоит в той непосредственности, с которой она высказана. «Были вѣчи Трояни, минула лѣта Ярославля; были плъци Олгови, Ольга Святьславлича...»— этою фразою начинаются в «Слове» размышления по поводу прошлого Руси, навеянные поражением Игоря. Поражение Игоря осмысляется автором «Слова» в исторической перспективе, как непосредственное продолжение и следствие времени «полков» (междоусобных походов) Олега Святославича, которым предшествовали два других периода: «вечи Трояни» и «лета Ярославля».

Под «летами Ярославлими», без сомнения, автор «Слова» имеет в виду годы княжения Ярослава Мудрого, а может быть, также и годы княжения его сыновей Ярославичей. Во всяком случае, в конце «Слова» автор называет Бояна (а может быть, и некоего «Ходына») песнотворцем «стараго времени Ярославля» и «хотью» (любимцем) Олега Святославича, по всем же другим признакам Боян жил во времена сыновей и внуков Ярослава Мудрого. Следовательно, «время Ярослава» захватывало и годы княжения его непосредственных потомков — продолжателей его дела.

Что же за период следует видеть в определении автора «Слова» «вѣчи (то есть века) Трояни» и кто такой этот Троян, чьим именем определяются какие-то века русской истории, предшествующие векам Ярослава Мудрого? Предположений о том, кто такой этот Троян, было в исследовательской литературе немало. Исследователи исходили при этом главным образом из попыток разгадать этимологически происхождение слова «Троян» и этим путем объясняли два-три места в «Слове», оставляя без удовлетворительного объяснения остальные. Между тем, чтобы разгадать, что такое этот «Троян» «Слова», необходимо учесть все те оттенки значения, какие имеет слово «Троян» во всех случаях его употребления в «Слове».

Слово «Троян» употреблено в «Слове о полку Игореве» четыре раза: первый раз там, где говорится о поэтическом вдохновении Бояна («рища въ тропу Трояню» наряду с «скача, славию, по мыслену древу, летая умомъ подъ облакы, свивая славы оба пола сего времени»); второй раз (в разбираемом нами случае) — для обозначения целого периода русской истории, предшествовав-

шего годам Ярослава («были вѣчи Трояни»); третий раз для обозначения всей русской земли в целом: «въстала обида въ силахъ Дажьбожа внука (в русских войсках — *Д. Л.*), вступила дѣвою на землю Трояню», четвертый раз опять-таки для обозначения какого-то периода времени, когда действовал князь-кудесник Всеслав «на седьмомъ (по-видимому, на последнем.— *Д. Л.*) вѣцѣ Трояни». Во всех этих значениях слово Троян может быть удовлетворительно объяснено только в том случае, если мы допустим, что под Трояном следует разуметь какое-то русское языческое божество.

Троян, как древнерусский бог, в памятниках письменности XII в. зарегистрирован в «Хождении Богородици по мукам» в списке XII в., изд. И. И. Срезневского: «Трояна, Хърса, Велеса, Перуна на богы обратиша» или «И да быша разумели многии человеци, и в прельсть велику не внидуть, мняще богы многы: Перуна, и Хорса, Дыя и Трояна» [1].

В самом деле, что означает в свете этого понимания Трояна выражение «Слова» «рища въ тропу Трояню»? Вряд ли эту «тропу» следует искать в каких-то конкретных, географически точно определимых тропах, дорогах, валах или памятниках зодчества. Поэтическая манера Бояна последовательно описана в «Слове» абстрактными, отвлеченными чертами: Боян скачет по воображаемому дереву, летает умом под облаками (следовательно, не по реальным облакам), он растекается мыслию по дереву (следовательно — опять-таки по воображаемому дереву), серым волком по земле, сизым орлом под облаками. Он рыщет, следовательно, не по каким-то конкретным путям, а по путям божественным: ведь Боян — внук бога Велеса, и не потому только, очевидно, что Велес — «покровитель поэзии», а потому, что сам Боян — «вещий», то есть кудесник, имеет отношение к богам.

Так же точно Русская земля могла быть названа землей Трояна только в том случае, если Троян был русским божеством. Именно в этом же смысле русский народ называется в «Слове» «Дажьбожим внуком».

Вот почему и несколько веков русской истории, предшествовавших времени Ярослава, веков языческих, до-

---

[1] Срезневский И. И. Древние памятники русского языка и письма. — «Изв. ОРЯС», т. X. [СПб.], 1861—1864, с. 551—578.

христианских, названы веками Трояна — веками языческой Руси, а годы Всеслава Полоцкого — последнего «вещего» князя, князя-оборотня, названы «седьмым (то есть последним) веком Трояна». Князь-кудесник и неудачник действует «напоследок языческих времен», когда сила язычества иссякла. Он представитель доживающего язычества (значение «седьмого» как последнего определяется средневековыми представлениями о числе семь: семь дней творения, семь тысяч лет существования мира, семь дней недели, семь человеческих возрастов и т. д.).

Итак, расшифровать поэтическую периодизацию русской истории в «Слове» («были вѣчи Трояни, минула лѣта Ярославля, были плъци Олговы») следует так: были языческие времена, времена бога Трояна; затем наступило ярославово время (годы княжения Ярослава Мудрого и, возможно, его наследников, Ярославичей); наконец настали междоусобия Олега Святославича. Это периодизация не логическая, а поэтическая. Перед нами не четко отграниченные хронологические пределы, а поэтические образы целых периодов; времена Трояна вторгаются в годы Ярославовы; Всеслав Полоцкий действует напоследок языческих времен, следовательно, это даже не периоды, это обобщение крупных исторических явлений — древнерусского язычества, единства Руси в христианской державе Ярослава и княжеских усобиц,— но мыслимых в приблизительной хронологической последовательности. Вот почему не нашлось в этой поэтической периодизации места и для княжения Владимира «старого», принадлежащего двум периодам — дохристианскому и христианскому.

Почему же, однако, по представлениям автора «Слова», Всеслав Полоцкий действует «напоследок языческих времен»? Какая связь между Всеславом и древнерусским язычеством?

Здесь дело, конечно, не только в том, что Всеслав Полоцкий, согласно летописи, родился «от волхвования», всю жизнь носил на главе «язвено» и, согласно «Слову», рыскал волком,— иными словами, был причастен чародейству (С. М. Соловьев назвал его «князем-чародеем»). Одной личной причастности чародейству было бы, пожалуй, недостаточно, чтобы утверждать историческую связь Всеслава Полоцкого с эпохой язычества.

Дело в ином: Всеслав Полоцкий действует в обстановке восстаний смердов, поднявшихся в Киеве, в Нов-

городе, на Белоозере,— восстаний, сомкнувшихся с движением волхвов, с реакцией древнерусского язычества. Всеслав воспользовался этими восстаниями и этой реакцией язычества в своих целях. Восстания эти не следует рассматривать как крестьянские движения в чистом виде. Это были столкновения двух укладов — дофеодального, пронизанного переживаниями родового строя, тесно сросшегося с древнерусским язычеством, и феодального.

Всеслав действовал «напоследок языческих времен», в обстановке реакции древнерусского язычества и старого, дофеодального уклада. Это определение, данное автором «Слова», поражает нас своею исторической точностью.

Связь Всеслава Полоцкого с движением смердов и с реакцией язычества выявлена в работе Н. Н. Воронина «Восстание смердов в XI в.» [1]. Напомним те из наблюдений этой работы, которые кажутся нам убедительными.

Полоцкая земля, по сравнению с Киевом, была более отсталой, с более прочно сохранившимся язычеством. Полоцкие князья («Рогволожи внуки») принадлежали к местной знати и дорожили своими местными связями [2]. Сам Всеслав никогда не пытался противопоставить себя вечу, и в этом «преимущественно, кажется, и состояла особенная сила Всеслава, несмотря на многие неудачи и несчастья» [3].

Его борьба против Новгорода имеет антицерковный характер. Он грабит в Новгороде Софию и опирается в борьбе против Новгорода на население его периферии — «вожан» [4].

Восстание киевлян 1068 г., благодаря которому Всеслав захватил в Киеве власть, также было отчасти связано с активизацией язычества.

Еще А. А. Шахматов обратил внимание [5] на то, что первый из собранных под 1071 г. рассказов о волхвах

---

[1] «Исторический журнал», 1940, № 2.

[2] Данилевич В. Очерк истории Полоцкой земли до конца XVI ст. — «Киевские университетские изв.», т. 61, с. 65, 80; Леонардов Д. С. Князь Всеслав Полоцкий и его время. — «Полоцко-Витебск. старина». Витебск, 1913, вып. 3, с. 127—133; Пассек В. Княжеская и докняжеская Русь. — ЧОИДР, т. III. М., 1870, с. 47—48.

[3] Беляев И. Д. Рассказы из Русской истории. М., 1872, кн. IV. История Полотска, с. 315—316.

[4] Шахматов А. А. Разыскания..., с. 628.

[5] Там же, с. 457.

на самом деле относится к 1068 г. или к какому-то из лет перед тем (к 1064 г.). Волхв угрожал «преступанием земель». Об этом самом «преступании земель» говорило посольство киевского веча к Святославу и Всеволоду: «...мы же зло створили есмы, князя своего прогнавше, и се ведеть на ны землю Лядьскую, а поидете в град отца своего. Аще ли не хочета, то нам неволя зажегши город свой и ступити в Грецискую землю».

Итак, Всеслав в самом деле действует «напоследок языческих времен». Здесь, как и во многих других местах, «Слово» поражает точностью своих исторических упоминаний.

Если характеристика Всеслава дана в «Слове» в свете несчастной судьбы его и его потомства «всеславичей» («уже понизите стязи свои», то есть признайте себя побежденными в междоусобных битвах; «вонзите свои мечи вережени») и смягчена поэтому чувством жалости, то характеристика другого князя-крамольника — Олега «Гориславича» — дана по преимуществу в освещении последствий его усобиц для всего русского народа и поэтому вызывает меньше авторского сочувствия. Характеризуется даже не он сам как личность, а его деятельность и последствия этой деятельности. Его «усобицы» рассматриваются как целая эпоха в жизни русского народа: «Были вѣчи Трояни, минула лѣта Ярославля; были плъци Олговы, Ольга Святѣславличя».

Олега автор «Слова о полку Игореве» вспоминает, однако, не только потому, что он был родоначальником черниговских Ольговичей. Именно он, Олег, положил начало сложному узлу усобиц, связанных с вотчинным правом Древней Руси.

Вместе с тем, половецкие симпатии Олега положили начало специфической половецкой политике Ольговичей [1].

Вся характеристика разрушительной деятельности Олега построена на противопоставлении ее созидательному труду земледельцев и ремесленников. Этот мотив присутствует и в характеристике Всеслава Полоцкого: там описание битвы на Немиге все основано на противопоставлении ее жатве: «На Немизѣ снопы стелютъ головами, молотятъ чепи харалужными, на тоцѣ животъ

---

[1] Мавродин В. В. Очерки истории Левобережной Украины, с. 192.

кладутъ, вѣютъ душу отъ тѣла». Тот же самый образ созидательного труда, противопоставленного бессмысленности и пагубности усобиц, доминирует и в характеристике Олега: «Олегъ мечемъ крамолу коваше и стрѣлы по земли сѣяше», «тогда при Олзѣ Гориславичи сѣяшется и растяшеть усобицами, погибашеть жизнь Дажьбожа внука», и, наконец, поразительный по своей художественной выразительности образ: «Тогда (то есть при Олеге «Гориславиче».— *Д. Л.*) по Руской земли рѣтко ратаевѣ кикахуть, нъ часто врани граяхуть, трупиа себѣ дѣляче...» Именно этот образ мирно пашущего пахаря, заботе о котором должны быть посвящены усилия князей, ради которого они должны сражаться с половцами, применен в «Повести временных лет» для аналогичного упрека корыстолюбивым князьям и при этом в аналогичной исторической обстановке. «Оже то начнеть орати смерд,— говорил главный противник Олега Владимир Мономах в 1103 г., призывая к объединенному походу на половцев,— и приехав половчин ударить й (его) стрелою, а лошадь его поиметь, а в село его ехав иметь жену его, и дети его, и все его именье».

Автор «Слова о полку Игореве» считал дело Мономаха неудавшимся по вине Олега, что он и отметил, избрав для этого образ, примененный самим Мономахом, чем указал на то, что надежды Мономаха оберечь мирный труд ратая не сбылись.

Главным объектом для показа безрассудной деятельности Олега сделана битва на Нежатиной Ниве 1078 г. Эта битва сопоставлена с битвой Игоря («съ тоя же Каялы...»). Автор говорит о жертвах этой битвы: Борисе Вячеславиче и Изяславе Ярославиче. Впечатление от смерти этих князей усилено погребальными образами: Борису Вячеславичу «слава... зелену паполому (то есть зеленое погребальное покрывало — траву. — *Д. Л.*) постла за обиду Олгову, храбра и млада князя». Изяслава же Ярославича его сын Святополк приказывает отвезти к Софии Киевской «междю угорьскими иноходьци».

Малозначительный князь Борис Вячеславич упомянут не потому, что он «защищал черниговские интересы», как думает А. В. Соловьев[1], а потому, что гибель его в битве на Нежатиной Ниве, наряду со смертью его

[1] Соловьев А. В. Политический кругозор автора «Слова о полку Игореве», с. 75.

противника Изяслава, ярко иллюстрировала мысль автора о бессмысленности междоусобных столкновений: обе стороны понесли жертвы в битве на Нежатиной Ниве; об обеих этих жертвах автор «Слова» говорит с одинаковым сожалением, не отдавая предпочтения ни черниговской, ни киевской стороне.

Здесь выражена та же мысль, о которой мы уже говорили выше, там, где разбирали рассказ «Слова» о борьбе Ярославичей и Всеславичей: в междоусобных битвах всегда терпят поражение обе стороны.

Наконец, нельзя не остановиться на одном месте «Слова»: «Се бо готьскыя красныя дѣвы, въспѣша на брезѣ синему морю, звоня рускымъ златомъ; поютъ время Бусово, лелѣютъ месть Шароканю». На это место обратил внимание и К. Маркс: «Примечательно одно место в поэме: „Вот готские красавицы запевают свои песни на берегу Черного моря“»[1].

В самом деле, почему готские девы «звонят русским золотом» и почему радуются они победе половцев? Объяснение этому дано В. В. Мавродиным: «Очевидно, что золотые вещи и украшения, награбленные у разбитых русских дружинников, могли попасть к готским девам только в случае, если бы их продали половцы, а следовательно речь идет, несомненно, о тех готах, которые жили где-то рядом с половцами или даже под их властью. Такими могли быть только крымские готы, или готы-тетракситы, жившие в то время на Тамани и южнее ее по берегу Черного моря. Следовательно, готы-тетракситы жили и в Тмутаракани. По свидетельству Прокопия, в VI в. рядом с ними жили авасаги (абхазы, обезы), зикхи и сагины, а «к северу живут бесчисленные народы антов». Здесь готы-тетракситы, или геты, вошли позже в состав Хазарского каганата, а после его разгрома Святославом оказались подданными тмутараканского князя. Кое-какие неясные сведения о них в IX—X вв. до нас дошли, но решительных выводов из них сделать невозможно. Георгий Пахимер упоминает об аланах, русских и готах, покоренных татарами и живущих в Тмутаракани-Матархе, усваивающих их обычаи, нравы, одежду и язык»[2]. В составе варварских князей

[1] Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 29, с. 16.
[2] Васильев А. А. Готы в Крыму. СПб., 1921, с. 63—80. (Примечание В. В. Мавродина. — *Д. Л.*).

Матархи XII—XIV вв., воевавших между собой, по-видимому, были и остатки готов. Почему готы праздновали победу половцев над русскими (а это является основной мыслью приведенного отрывка из «Слова о полку Игореве»)? Только потому, что к ним попали награбленные половцами русские драгоценности, которые им, конечно, достались не бесплатно, так как половцы ничем им не были обязаны и со своими вассалами, если речь идет о крымских готах, отнюдь не должны были делиться частью добычи? Нет, очевидно, поход Игоря Святославича угрожал не только половцам, но и готам. Поход был предпринят не в Крым, а на Дон, Лукоморье, на Тмутаракань. Поэтому напрашивается вывод о готах-тетракситах, столь радостно встретивших весть о Каяле.

Готские девы поют «время Бусово». В трактовке этого места нет единого мнения. В истории гото-славянских отношений был один исторический факт, связанный с именем Бос, Бус или Бооз. В 375 г. готский король Винитар разгромил антов и убил антского князя Бооза (Боса, Боуса, Буса) с сыновьями и еще 70 антских племенных князьков. Готам, в свою очередь, в скором времени был нанесен решительный удар гуннами и их союзниками — антами. Естественно, что граничившие с антами готы-тетракситы скорее всего могли сохранить воспоминания о временах столкновения с антами, об антах — врагах, о Бусе. Готы-тетракситы, неплохо знавшие и отдаленных предков русских — антов и собственно уже русских, в последних видели прямых потомков первых. Они сравнивают победу половцев над русскими князьями, когда они были взяты в плен половцами, с разгромом Винитаром антов, когда большинство антских князей, едва ли не все, было им схвачено и перебито,— устанавливая этим связь между двумя историческими моментами и двумя народами [1].

Мысль о мести за хана Шарукана могла еще жить в надеждах половцев в 1185 г. Это доказывается следующим местом Ипатьевской летописи под 1185 г. После поражения Игоря Святославича хан Кончак говорит хану Гзе: «Пойдем на Киевьскую сторону, где суть избита братиа наша и великый князь нашь Боняк». Месть

---

[1] Мавродин В. В. Очерки истории Левобережной Украины, с. 267.

за Боняка, о которой говорит Кончак, это и есть месть за Шарукана, так как Боняк и Шарукан потерпели поражение в одной и той же битве 1106 г.: «том же лете прииде Боняк и Шарукань старый и ини князи мнози, и сташа около Лубна. Святополк же, и Володимер, и Олег, Святослав, Мьстислав, Вячьслав, Ярополк, идоша на половце к Лубьну; в 6 час дне бродишася черес Сулу и кликоша (в Лавр. лет. — «кликнуша». — *Д. Л.*) на не. Половци же вжасошася от страха, не възмогоша и стяга поставити, но побегоша хватаючи конии, а друзии пеши побегоша; наши же начаша сещи я, а другыя руками имати. И гнаша я́ до Хорола; убиша же Тааза Бонякова брата, а угре яша и братию его (в Лавр. лет. — «а Сугра яша и брата его». — *Д. Л.*), а Шарукань одва утече» (Ипат. лет., под 1106 г.).

Почему же, однако, готы, половцы (и их хан Кончак) лелеют мысль о мести именно за Шарукана? Ведь не один Шарукан терпел поражения от русских?

Месть за Шарукана, которую лелеют «на брезѣ синему морю» готские красные девы, упомянута в «Слове» отнюдь не случайно. Шарукан был дедом хана Кончака. Месть за деда, как и слава дедовская, была естественной в представлениях того времени. Шарукан потерпел жестокое поражение от Владимира Мономаха. Его сына Отрока Владимир Мономах загнал на Кавказ за Железные Ворота. Внук Шарукана и сын Отрока — хан Кончак — впервые смог отомстить за бесславие своего деда и своего отца.

Добиваясь мести за своего отца и деда, Кончак стремился действовать не против черниговских князей, а против Киева. После разгрома войск Игоря Святославича на Каяле, когда Гза (Кза) уговаривал Кончака идти на северские княжества (см. цитированное место Ипатьевской летописи), Кончак отказался, направляясь к Киеву и Переяславлю. Вот чем объясняется и выражение «Слова» о том, что готские девы «лелѣютъ месть Шароканю». Поражение Игоря еще не было местью за Шарукана. Это поражение только открывало ворота на Русскую землю, создавало возможность движения Кончака на Переяславль и Киев. Вот почему только после поражения Игоря хан начинает «лелеять» месть за своего деда. Направление усилий Кончака именно против Переяславля и Киева неоднократно выражалось и в прошлом. В 1184 г. Кончак Отрокович делает попытку

заключить союз с Ярославом Всеволодовичем, чтобы идти на Киев. Этот союз не состоялся благодаря энергичному вмешательству Святослава. Таково же направление его походов 1174 и 1179 гг.

Почему, однако, обращаясь к нерусской истории степных народов, автор «Слова» представляет себе носителями ее исторической памяти «готских красных дев» и почему изображает их поющими исторические песни на берегу синего моря?

Знал ли автор «Слова», что именно так пелись исторические песни у восточных народов или он представил себе это по аналогии с русской действительностью? Вероятнее всего последнее. В заключительной части «Слова» сказано — «дѣвици поютъ на Дунаи, вьются голоси чрезъ море до Киева». Из контекста ясно, что «девици» поют славу Игорю. В дальнейшем же мы увидим, что в «славах», которые пелись князьям, запечатлевались и их исторические деяния. Возможно поэтому, что «готьскыя» красные девы, поющие на берегу синего моря, созданы творческим воображением автора «Слова» по аналогии с русскими «девицами», поющими на берегу Дуная.

Несомненно, однако, что ни «время Бусово», ни «месть Шароканя» не взяты автором «Слова» ни из русских летописей, ни из русских исторических песен. По-видимому, автор «Слова» отразил здесь какие-то реальные половецкие героические воспоминания о некоем антском князе Бусе (девы готские «поют», то есть воспевают, его время) и их мечты о мести за поражения Шарукана от русских. Это знакомство русских с историческими воспоминаниями половцев подтверждается летописной статьей 1200 г. Ипатьевской летописи, где говорится на основании этих половецких песен и о хане Отроке — сыне этого самого Шарукана, и о сыне Отрока — хане Кончаке — противнике Игоря.

* * *

Итак, автор «Слова о полку Игореве» в своих исторических сведениях пользуется разнообразными источниками: он пользуется «Повестью временных лет» — в редакции, близкой новгородским летописям, он пользуется дошедшими до него песнями Бояна — певца вто-

рой половины XI в., любимца Олега Святославича, воспевавшего в своих песнях и своих современников (Романа Святославича, умершего в 1078, Всеслава Полоцкого, умершего в 1101 г.), и князей прошлого (Ярослава Мудрого и Мстислава Владимировича). Он пользуется, наконец, историческими воспоминаниями врагов Руси — половцев. Возможно, что автор «Слова» привлекал и еще какие-то устные источники. Но в использовании всех этих источников автор «Слова» проявил большую самостоятельность. В отличие от «Повести», он не констатирует событий, а осмысляет их, размышляет над ними, оценивает их и дает характеристики князьям, исходя при этом из своих политических и нравственных представлений. Он опускает религиозное осмысление событий (в объяснении смерти Бориса Вячеславича или освобождении из поруба Всеслава Полоцкого). Он делает выводы из своих характеристик — о бесплодности направленных на междоусобную борьбу усилий князей. События прошлого привлечены им для объяснения событий настоящего. Характеристика Олега дана им для характеристики современных ему Ольговичей; характеристика Всеслава — для характеристики Всеславичей. В этом сказались средневековые представления о родовой преемственности политики русских князей, а может быть, и реальные стремления русских князей вести свою политику в пределах своей родовой линии, наследовать «путь» отцов и дедов.

Подытоживая характеристику обращения автора «Слова о полку Игореве» к историческому прошлому Руси, отметим прежде всего следующее. Автор «Слова о полку Игореве» не историк и не летописец, он не стремится хотя бы в какой-либо мере дать представление о русской истории в целом. Он предполагает знание русской истории в самом читателе. И вместе с тем его отношение к событиям современности в высшей степени исторично. События похода Игоря он воспринимает в глубокой исторической перспективе. Современная ему Русь не отделена от русской истории. Он не ищет причин усобиц в прошлом, но он воспринимает эти усобицы как непосредственное продолжение усобиц Всеслава и Олега. Ольговичи для него прежде всего потомки Олега «Гориславича». Всеслав Полоцкий для автора «Слова» связан с предшествующим языческим временем; он — родоначальник современных автору беспокойных Всеславичей,

определивший их политику. Автор «Слова» поэтически выделяет в русской истории наиболее лирические эпизоды и поэтически же обобщает целые исторические периоды. Он настолько трезвый и проникновенный художник, что ясно представляет даже то, чему он не был свидетелем, и поэтому воображает, как восприняли современные ему события готы. Хотя поэт и преобладает в авторе «Слова» над историком, но его поэтическое миропонимание исторично. Его восприятие современных ему событий обрамлено историей нескольких столетий.

Совпадает ли отношение автора «Слова о полку Игореве» к русской истории с отношением к ней в фольклоре? Ответу на этот вопрос мешает неопределенность самого термина «фольклор» для XI—XII вв. Но если принять за некую условную «мерку» фольклора упоминаемого в «Слове» песнотворца Бояна, то мы легко убедимся в том, что автор «Слова» стоит значительно выше Бояна в понимании исторического смысла событий русской истории.

Боян принадлежит к числу тех «витий»-песнетворцев, о которых говорит в своем «Слове на собор святых отец» Кирилл Туровский. Боян «воспевает» князей, он сочиняет им «славы» — «старому Ярославу, храброму Мстиславу... красному Романови Святъславличю». Струны его «сами (собой) княземъ славу рокотаху». В воспроизведении автора «Слова» эти песни поражают своею бравурностью: «Не буря соколы занесе чресъ поля широкая — галици стады бѣжать къ Дону великому»; «Комони ржуть за Сулою — звенить слава в Кыевѣ; трубы трубят въ Новѣградѣ — стоять стязи въ Путивлѣ!»

Очевидно, Боян и не был подлинно народным поэтом. По-видимому, это был поэт придворный[1]. В отличие от Бояна, автор «Слова» не только воздает хвалы князьям. Он взвешивает и расценивает их деятельность не с точки зрения их личных качеств (удаль, храбрость и т. д.), а с точки зрения оценки всей их деятельности для общенародного блага.

Замечательно, что, в отличие от слишком прямолинейного деления летописцем деятелей русской истории на добрых и злых, автор «Слова» воспринимает их с го-

---

[1] Эта точка зрения высказана И. У. Будовницем: Идейное содержание «Слова о полку Игореве». — «Изв. АН СССР. Серия истории и философии», 1950, № 2, с. 154—156.

раздо большею сложностью; он не только осуждает Всеслава Полоцкого, но и опечален его судьбой. Таково же отношение автора и к своим современникам — к Игорю Святославичу. Было ли отношение автора «Слова» к своим героям таким же, как и в фольклоре, сказать трудно. Во всяком случае, оно сложнее того отношения, которое представлено и Бояном, и летописью. Но вот что в авторе «Слова», во всяком случае, было выше, чем в историческом эпосе его времени: для него русская история обладает периодами, он сознательно делит ее на эпохи, перед ним ясная историческая перспектива. Его исторические представления об усобицах не могли сложиться на основе фольклора. Фольклор, исторический эпос, игнорирует усобицы. Эпос рисует героические картины борьбы с внешними врагами Руси: так он отразился и в «Повести временных лет», так он дошел до нас и в современных нам былинах. Но ни тут, ни там нет изображения усобиц: в «Повести» усобицы никогда не описываются на основе фольклорных данных; в современном же эпосе полоса усобиц не отразилась. Эта особенность русского эпоса была четко отмечена Н. Г. Чернышевским: «...Сознание национального единства всегда имело решительный перевес над провинциальными стремлениями, если только были со времени Ярослава какие-нибудь провинциальные стремления... распадение Руси на уделы было чисто следствием дележа между князьями... но не следствием стремления самого русского народа. Удельная разрозненность не оставила никаких следов в понятиях народа, потому что никогда не имела корней в его сердце: народ только подчинялся семейным распоряжениям князей» [1].

Какой художественный и идейный смысл имеют в «Слове» упоминания событий прошлого?

Рассматривая каждое явление современности в исторической перспективе, автор «Слова» тем самым обобщает его. Историзм — это одна из форм художественного обобщения в древней русской литературе. Каждое отдельное явление действительности представляет собою для автора «Слова» часть исторической действительно-

---

[1] Чернышевский Н. Г. Рецензия на книгу «Областные учреждения России в XVII в. Соч. Б. Чичерина. М., 1856». — Полн. собр. соч., т. 3. М., 1947, с. 570.

сти. Перед нами «обобщение жизни в отдельном ее явлении», но обобщение, типичное для XII в., а не для XX в.

Автора «Слова» интересует то, что выходит за пределы того или иного конкретного жизненного факта. Изображенные в «Слове» события перерастают те непосредственные факты, которые ему приходилось наблюдать эмпирически.

Упоминаемые автором «Слова» события русской истории все полны ассоциаций с событиями, современными автору. Их автор вспоминает не случайно. Они составляют ту историческую атмосферу, в которой действуют современные автору князья, в которой рождаются энергичные сопоставления прошлого с настоящим, сильные исторические образы автора, которые сгущают атмосферу историчности, так сильно ощущаемую в «Слове».

В первые годы открытия и изучения «Слова» весь этот смысл исторических упоминаний «Слова» был неясен; только теперь, когда историческое прошлое получает все более и более ясное освещение, становятся понятными не только отдельные упоминания «Слова», но даже отдельные выражения. Каждое слово в «Слове о полку Игореве» весомо, полнозначно, имеет глубокий исторический смысл, каждое его упоминание, каждый факт приведен не в поэтической беспорядочности, а со строгим выбором и с большой лаконичностью. Исторический комментарий к «Слову», раскрытие его исторических параллелей, сопоставлений, исторического значения тех или иных выражений и мыслей автора «Слова» открывает в «Слове» все большие и большие примеры поэтической точности и исторической содержательности. Точность его исторических и политических указаний — это одна из важных особенностей поэтики «Слова». Автор «Слова», воссоздавая прошлое или обращаясь к настоящему, не домысливает его, а воспроизводит путем отбора реальных деталей. Его поэтическое воображение всегда имеет реальную основу, опирается на конкретные детали. Он может гиперболизировать ту или иную черту в своем герое, но не придумать ее. Поэтическое ви́дение его по-своему исторично. За его намеками и недомолвками по большей части кроются факты. Поэтому «Слово» представляет драгоценный материал как исторический источник, но еще больший материал дает «Слово» для изучения исторического мышления своей эпохи как памятник истории общественной мысли.

В своих обобщениях автор «Слова» не создает новых фактов, не измышляет их — он лишь отбирает такие жизненные факты, по которым лучше всего, с его точки зрения, можно судить об исторических явлениях в целом.

Автор «Слова» не прибегает к вымыслу, как к сознательному приему творчества. Вымысел проникает в его творчество помимо его воли, из народных сказаний и верований. В этом отношении его творчество идет теми же путями, какими оно идет у всякого древнерусского книжника.

Выше мы видели разнообразные исторические источники, которыми пользовался автор «Слова о полку Игореве» в своем творческом осмыслении событий прошлого. Нам предстоит рассмотреть наиболее сложный вопрос исторического мировоззрения автора «Слова»: оценку им событий ему современных. Здесь также были своеобразные источники. Автор «Слова» не мог быть очевидцем всех описанных им фактов своей современности, и нам предстоит рассмотреть, в какой передаче мог он познакомиться с этими фактами.

Феодализм выработал своеобразный кодекс морали — понятия о дружинной и княжеской чести и славе. Война и отчасти охота служили той ареной, на которой происходило «искание славы и чести». «Показать мужество» свое и тем добыть себе славы, чести, хвалы было основной заботой князя и его дружины. Не уронить свою честь, не упустить своего, не уронить «отчей» и «дедней» славы, не потерять свою отчину и дедину, ревниво оберечь свою дружинную репутацию — все это заслоняло перед князьями в XII—XIII вв. большие государственные темы [1]. Под влиянием этих забот выработался кодекс дружинной морали, дружинных правил поведения, перед которыми нередко тема родины отступала на задний план. Этот кодекс норм дружинного поведения выработал в эпоху феодализма свою терминологию: «Взять свою честь и славу» (ср.: «И ту нощь стоявше князи поидоша разно... победивше сильнии

[1] О древнерусских понятиях «честь» и «слава» имеется следующая работа: Лотман Ю. М. Об оппозиции «честь» — «слава» в светских текстах Киевского периода. — «Учен. зап. Тартуск. гос. ун-та», вып. 198. Труды по знаковым системам, т. 3. Тарту, 1967, с. 100—112. Ю. М. Лотман предлагает строго различать эти понятия. Не вдаваясь здесь в оценку правильности этого разделения и противопоставления, отмечу только, что в данном нашем рассуждении оно нам не нужно.

полки и вземше свою честь и славу»,— Новг. IV лет., под 1216 г.; «а возмем до конца свою славу и честь»,— Лавр. лет., под 1186 г.); «не погубить честь» («не погубим чести князя своего»,— Ипат. лет., под 1231 г.); «возложить честь» («Глеб же слышав рад бысть, аже на него честь воскладываюгь»,— Ипат. лет., под 1175 г.); «положить честь» («той же прия с любовью и положи на немь честь велику»,— Ипат. лет., под 1183 г.); «честить» («яко же и брат твой Изяслав честил Вячеслава»,— Ипат. лет., под 1149 г.); «показать мужество свое» («Данил... млад сы показа мужьство свое»,— Ипат. лет., под 1213 г.; «яко от бога мужьство ему показавшу»,— Ипат. лет., под 1257 г.; «он же (Роман Брянский. — *Д. Л.*) бися с ними и победи я, сам же ранен бысть и не мало бо показа мужьство свое»,— Ипат. лет., под 1264 г.); «сотворить похвалу» («Мьстислав же великую похвалу створи Данилови, и дары ему дасть великы и конь свой борзый сивый»,— Ипат. лет., под 1213 г.); «дать похвалу» («и мужи отни похвалу ему даша велику зане мужьскы створи»,— Лавр. лет., под 1149 г.), а с другой стороны: «погубить честь» («Василкови же молвящу ему: „Не погубимь чести князя своего, яко рать си не можеть града сего прияти“»; «бе бо мужь крепок и храбор»,— Ипат. лет., под 1231 г.); «добыть сорома» («поеди, княже, прочь; аже ли добудем сорома?»,— Ипат. лет., под 1149 г.); «взять сором» («а Кондрат поеха восвояси, земь собе сором велик»,— Ипат. лет., под 1287 г.); «возложить сором» и «сложить с себя сором» («Болеслав же рече Володимерови: „Уведайся с нимь, велик бо сором возложил на тя; а сложи с себе сором свой“»,— Ипат. лет., под 1279 г.); «мстить своего сорома» («а яз пойду в половци, мьстив сорома своего»,— Ипат. лет., под 1213 г.; ср. также: «приими всю власть его за сором свой»,— Ипат. лет., под 1225 г.) и т. д. и т. п.

Можно смело сказать, что вся деятельность русских князей и русских воинов проходила в обстановке общественных и исторических откликов на нее современников и потомков. Князья постоянно считаются с тем, как на их деятельность взглянут современники и потомки, как будут оценены их поступки. Князья стремятся «поревновать» своим отцам и дедам, «добрые славы добыти», ищут себе «чести и славы».

Существенное значение при этом имеют самые представления о том, что считалось достойным этой «чести и славы». Ищут славы и достойны ее в глазах современников по преимуществу ратники, воины. Славы не ищут и не получают ее лица духовные, представители церкви, но наряду с князьями ее могут получить и рядовые ратники. Так, например, при осаде Судомира татарами волынский летописец отмечает подвиг простого воина («не боярин, ни доброго роду, но прост сый человек») и его подвиг называет достойным памяти: «створи дело памяти достойно» (Ипат. лет., под 1261 г.). Там же отмечен подвиг сына боярского Раха, и снова говорится: «створиста дело достойно памяти» (Ипат. лет., под 1282 г.). О смерти этого Раха и некоего прусина летописец замечает: «сии же умроста мужественем сердцемь, оставлеша по собе славу последнему веку» (там же).

Молва о подвигах, слава (как известность) облекались в Древней Руси во вполне конкретную форму славы — хвалебной песни. В пении славы выражалось общественное признание. Вот почему киевляне, освободив Всеслава Полоцкого в 1068 г. из поруба и провозгласив его князем, привели на княжеский двор и «прославиша» (Лавр. лет.). В этом пении «славы» выражалось признание его заслуг — может быть, тем более необходимое, что Всеслав был освобожден из заключения и нуждался в гласной реабилитации. Славу поют князьям и по возвращении из победоносных походов. Тогда народ выходил навстречу князьям и пел славу им перед воротами города.

Дружинные представления о чести и славе отчетливо дают себя чувствовать в «Слове о полку Игореве». «Слово» буквально напоено этими понятиями.

Все русские князья, русские воины, города и княжества выступают в «Слове» в ореоле славы или хулы. В ореоле славы «сведомых къметей» выступают куряне; их главная забота искать «себе чти, а князю славѣ». В ореоле славы выступают черниговцы: «тии бо бес щитовь съ засапожники кликомъ плъкы побѣждаютъ, звонячи въ прадѣднюю славу». Автор «Слова» передает о курянах, черниговцах и других не какой-либо конкретный факт, а как бы народную молву о них, народную славу.

Вот почему иногда автор «Слова» лишь напоминает ту или иную характеристику в форме вопроса, как всем известную: «Не ваю ли вои злачеными щеломы по крови

плаваша? Не ваю ли храбрая дружина рыкаютъ акы тури ранены саблями калеными на полѣ незнаемѣ?» — говорит автор «Слова» о дружине Рюрика и Давыда Ростиславичей. Мы бы сказали теперь, что это вопрос «риторический»: он лишь напоминает о той славе, которой пользовалась дружина Рюрика и Давыда.

В аспекте народной молвы оценивается и поражение Игоря: «уже снесеся хула на хвалу...»

Давая характеристики русским князьям, автор «Слова» вспоминает прежде всего о их славе. Перед нами в «Слове» как бы проходит общественная молва о каждом из русских князей и о их дружинах.

Давая несколько гиперболические отзывы о русских князьях, автор «Слова» делает это, как бы пересказывая молву о них: «Великый княже Всеволоде!... Ты бо можеши Волгу веслы раскропити, а Донъ шеломы выльяти!»; «Галичкы Осмомыслѣ Ярославе!.. Грозы твоя по землямъ текутъ, отворяеши Киеву врата, стрѣляеши съ отня злата стола салътани за землями»; «Ярославли вси внуце и Всеславли! Уже понизите стязи свои, вонзите свои мечи вережени. Уже бо выскочисте изъ дѣдней славѣ», и т. д.

В этих характеристиках русских князей отчетливо чувствуется и общерусская народная слава (ср. «грозы твоя по землямъ текутъ» или «уже бо выскочисте изъ дѣдней славѣ»).

Такой же славой обладают и отдельные города (Новгород славен «славою Ярослава») и земли (им передают свою славу местные дружины; например, Курскому княжеству — «куряне» — «свѣдоми къмети»; Черниговскому — «черниговьские были, съ могуты, и съ татраны, и съ шельбиры, и съ топчакы, и съ ревугы и съ ольберы», побеждающие кликом без щитов с одними засапожниками своих врагов, «звонячи въ прадѣднюю славу», и т. д.).

Автор «Слова» нередко оценивает события с точки зрения той славы, которая распространяется по Руси об этих событиях. Подобно тому, как летописец, на основании той же народной молвы, оценивает исторические события с точки зрения их небывалости (ср. в Ипат. лет., под 1094 г.: «не бе сего слышано во днех первых в земле руской»; ср. в Лавр. лет., под 1203 г.: «взят бысть Кыев Рюриком и Олговичи и всею Половецькою землею и створися велико зло в Русстей земли, якого же зла не

было от крещенья над Кыевом. Напасти были и взятьи не якоже ныне зло се сстася»),— автор «Слова» пишет о поражении Игоря: «То было въ ты рати и въ ты плъкы, а сицей рати не слышано!».

Поисками славы отчасти объясняет автор «Слова» и самый поход Игоря. Собираясь на половцев, Игорь и Всеволод сказали: «Мужаимѣся сами: преднюю славу сами похитимъ, а заднюю си сами подѣлимъ». В ночь перед битвой русичи Игоря перегородили своими червлеными щитами великие поля, «ищучи себѣ чти, а князю славы». Именно так понимает побудительные причины к походу Игоря и Святослав Киевский: «Рано еста начала Половецкую землю мечи цвелити, а себѣ славы искати». Поисками личной славы объясняют поход Игоря и Всеволода также и бояре Святослава Киевского: «Се бо два сокола слѣтѣста съ отня стола злата поискати града Тьмутороканя, а любо испити шеломомь Дону».

Понятия чести и славы звучат в «Слове» и тогда, когда они прямо не упоминаются. Игорь говорит дружине: «Луце жъ бы потяту быти, неже полонену быти» или «хощу бо,— рече,— копие приломити конець поля Половецкаго; съ вами, русици, хощу главу свою приложити, а любо испити шеломомь Дону». И здесь речь идет, следовательно, о добывании личной славы.

Неоднократно упоминается в «Слове» и дедняя слава — слава родовая, княжеская: Изяслав Василькович «притрепа славу дѣду своему Всеславу», Ярославичи и «все внуки Всеслава» уже «выскочисте изъ дѣдней славѣ»; Всеслав Полоцкий расшиб славу Ярослава — славу новгородскую.

Наконец, в «Слове о полку Игореве» неоднократно упоминается и о пении той самой славы — хвалебной песни, в которой конкретизировалось понятие славы абстрактной. Самый оборот, которым в «Слове» говорится о песнях Бояна («Боян бо вѣщий, аще кому хотяше пѣснь творити»), говорит о том, что песни эти были песнями хвалебными — славами («они же сами княземъ славу рокотаху»), посвященными тому или иному герою и их подвигам («которыи дотечаше, та преди пѣснь пояше старому Ярославу, храброму Мстиславу, иже зарѣза Редедю предъ пълки касожьскыми, красному Романови Святъславличю»).

Здесь понятие славы как известности и славы как хвалебной песни поэтически слиты, но в «Слове»

имеются и упоминания пения «слав», в реальности которых нет оснований сомневаться.

При возвращении Игоря из плена ему поют славу «девици» «на Дунаи». Сам автор «Слова» заключает свое произведение традиционной славой князьям и дружине: «Пѣвше пѣснь старымъ княземъ, а потомъ молодымъ пѣти: «Слава Игорю Святъславличю, буй туру Всеволоду, Владимиру Игоревичу». Здрави князи и дружина, побарая за христьяны на поганыя плъки! Княземъ слава а дружинѣ: Аминь».

Одним словом, автор «Слова о полку Игореве» воспроизводит современные ему события, оценивает их и дает характеристики князьям — своим современникам — на основании народной молвы, славы.

Только ли на основании «молвы» и «славы» были известны автору «Слова» обстоятельства похода Игоря Святославича? Исследователи неоднократно отмечали близкое знакомство автора «Слова» с походом Игоря и обстоятельствами его бегства. Автор «Слова» как бы видит и слышит события, его зарисовки удивительно конкретны. Поэтому некоторые из исследователей (как, например, Н. В. Шарлемань) считали автора участником похода Игоря и предполагали даже, что он был с ним в плену, а другие (как, например, М. Д. Приселков) считали, что автор «Слова» был близок к Игорю, слышал его рассказы и на основании их создал свое повествование. С уверенностью ответить на вопрос о причинах точной осведомленности автора об обстоятельствах и деталях похода Игоря вряд ли удастся. Мы хотим, однако, обратить внимание на другое: не было ли в распоряжении автора «Слова» каких-то песенных источников о событиях ему современных? Наше предположение строится на следующем наблюдении. Между прозаическим рассказом Ипатьевской летописи о походе Игоря и поэтическим повествованием «Слова», несмотря на все их жанровое отличие, наблюдается много общего в деталях. Детали эти, однако, таковы, что нельзя думать, будто в «Слове» они заимствованы из летописи или в летописи они заимствованы из «Слова». В основе обоих лежит, по-видимому, общий источник. Общность этих деталей не может быть, однако, объяснена и одинаковой осведомленностью в событиях. Сходство лежит в интерпретации явно поэтической. Эти элементы поэтической интерпретации событий похода Игоря присутствуют

в прозаическом рассказе Ипатьевской летописи, будучи вкраплены в этот рассказ как инородные тела. И именно в этих поэтических элементах рассказа Ипатьевской летописи замечается близость к «Слову о полку Игореве».

Перечислим вкратце те элементы поэтической интерпретации событий рассказа Ипатьевской летописи о походе Игоря, которые находят себе соответствие в «Слове о полку Игореве».

И в летописи, и в «Слове» отмечено «золотое слово», сказанное Святославом Всеволодовичем Киевским после известия о поражении Игоря. Содержание «слова» Святослава Киевского передано, в общем, сходно. И тут, и там Святослав упрекает Игоря в безрассудстве юности. Очевидно, что «золотое слово» Святослава — не домысел летописца и не выдумка автора «Слова о полку Игореве», а реальный факт. Характерно, однако, другое,— в чем нетрудно заметить общность интерпретации «золотого слова» Святослава: и тут, и там отмечены слезы, которые пролил Святослав, произнося свое «слово». «Тогда великый Святъславъ изрони злато слово слезами смѣшено» («Слово о полку Игореве») — в летописи же Святослав «вельми воздохнув, утер слез своих и рече...»

Но особенно ярко совпадение «Слова» и Ипатьевской летописи в рассказе о разговоре между собой ханов Кончака и Гзы (Кзы — по летописи). Можно быть уверенным в том, что ни летописец, ни автор «Слова» не были свидетелями этого разговора. Разговор Гзы и Кончака — чисто литературный (или фольклорный) прием оживления действия. Вряд ли летописец или автор «Слова» могли знать о каком-то конкретном разговоре этих двух ханов. Для летописи такие измышления, «литературные» разговоры, вводимые для оживления действия,— чрезвычайная редкость; они обычно переносятся летописцем из фольклора (ср. разговоры Ольги с послами древлян в «Повести временных лет»). По-видимому, диалог Кончака и Гзы также взят в Ипатьевской летописи из фольклора; как и в «Слове», оба хана спорят между собой: «и бысть у них котóра, молвяшеть бо Кончакъ: «Пойдем на Киевьскую сторону, где суть избита братья наша, и великый князь нашь Боняк»; а Кза молвяшеть: «Пойдемь на Семь, где ся остале жены и дети, готов нам полон собран, емлем же городы без

опаса»; и тако разделишася надвое». Не было ли одним из общих источников «Слова» и летописи какое-то фольклорное произведение, где рассказывалось о Гзе и Кончаке и о их споре? Диалог Гзы с Кончаком не мог попасть в летопись из «Слова», ни в «Слово» из летописи: и тут, и там они трактуют разные темы, спор идет о разном, но по характеру своему он очень близок и не имеет ближайших аналогий в киевской летописи XII в.; один как бы является продолжением другого.

Если, действительно, диалог Гзы и Кончака в летописи и в «Слове» навеян каким-то фольклорным произведением, то это бы объяснило одну важную деталь в «Слове». В «Слове» говорится о мести за Шарукана. Откуда это стремление половцев отомстить за Шарукана стало известно автору «Слова»? А между тем об этой же мести за Шарукана говорит Кончак Гзе в летописи: «Пойдем на Киевьскую сторону, где суть избита братья наша, и великый князь нашь Боняк». Мы уже говорили выше (см. наст. изд., с. 111), что поражение, о котором говорит здесь Кончак, имело место в 1106 г. В этом 1106 г. потерпел поражение не только Боняк, но и Шарукан, месть которого «лелеют» красные готские девы на берегу синего моря. В этих словах автора «Слова о полку Игореве» прямое указание на фольклор: готские девы не только «лелеют» месть за Шарукана, но и «поют» время Бусово. Отражение половецких песен о Боняке (деде Кончака) и о хане Отроке (отце Кончака) отчетливо усматривается в летописи под 1097 г.[1], под 1151 г., под 1201 г. Нет ничего удивительного и в том, что особая половецкая песня была сложена и о их потомке — хане Кончаке, при этом тотчас же по совершении событий.

Нельзя не обратить внимания и на другие признаки близости рассказа летописи к рассказу «Слова». И «Слово», и летопись отмечают любовь Игоря к брату своему Всеволоду. И «Слово», и летопись отмечают грусть и смятение в городах после поражения Игоря, дают сходные характеристики Всеволоду. Все эти совпадения отнюдь не случайны. Это совпадения в интерпретации событий, в выборе деталей. Любовь братьев не удиви-

---

[1] Приселков М. Д. Летописание Западной Украины и Белоруссии. — «Учен. зап. ЛГУ. Серия Исторические науки», вып. 7. Л., 1941, с. 10—11.

тельна в жизни, но только один раз за весь киевский период она отмечена в летописи. Не удивительны и слезы сожаления, «оброненные» старшим киевским князем вместе со словами сожаления по поводу поражения одного из младших киевских князей, но и здесь только один раз они отмечены в летописи за все это, отнюдь не сентиментальное время.

Нет, однако, оснований видеть здесь какие-либо заимствования или влияния одного повествования на другое. Как мне кажется, здесь дело в другом: и летопись, и «Слово» — оба зависят от молвы о событиях, от славы о них. События «устроялись» в молве о них и через эту молву отразились и тут, и там. В этой молве отразились, возможно, и какие-то обрывки фольклора — половецкого или русского. Во всяком случае, сама «молва» была на грани фольклора, как на грани фольклора была и «слава» князей.

Каково, однако, отношение самого автора «Слова» к понятию «слава», «честь», к народной молве?

Отметим прежде всего, что автор «Слова» отнюдь не чуждается этих понятий, они находят сочувствие в его суждениях. Автор «Слова» постоянно апеллирует к славе того или иного князя. Однако это сочувствие автора «Слова» этим понятиям распространяется далеко не на все их стороны. В тех случаях, когда понятие «славы» ограничено узкими рамками феодального отношения к ней, автор «Слова» относится к ней резко отрицательно. Автор «Слова» безусловно отрицательно оценивает все случаи поисков личной славы. Святослав Киевский, чье «золотое слово» совпадает с мыслями самого автора «Слова» до полной иногда неразличимости, упрекает Игоря и Всеволода именно за то, что они искали славы для себя. «Рано еста начала Половецкую землю мечи цвѣлити, а себѣ славы искати». Эти поиски личной княжеской славы противоречат понятию «чести» Святослава и автора «Слова». Вслед за только что приведенными словами Святослав говорит: «Нъ нечестно одолѣсте, нечестно бо кровь поганую пролиясте». С точки зрения феодальной морали, Игорь и Всеволод отнюдь не нарушили представления о «чести» князей. «Честь» свою они уронили в глазах Святослава и автора «Слова» только потому, что в поисках личной славы они предали интересы Русской земли.

Осуждает автор «Слова» и Бориса Вячеславича за поиски личной славы: «Бориса же Вячеславлича слава на судъ приведе». Это узкое феодальное «искание славы» глубоко чуждо автору «Слова». Однако во всех случаях, где речь идет о «славе» в более широком значении, автор «Слова» сочувственно говорит о ней. Понятия чести и славы перерастают в «Слове» свою феодальную ограниченность. Для автора эти понятия, с их ярко выраженным сословным оттенком значения, приобретают значение национальное. Честь и слава родины, русского оружия, князя как представителя русской земли волнуют автора «Слова» прежде всего.

Свое мнение автор «Слова» не противопоставляет общественному мнению. Напротив, он постоянно опирается на это общественное мнение. Но это общественное мнение для него выкристаллизовывается в его лучших представителях. Он выделяет в нем наиболее передовые идеи, вкладывает в узко феодальные понятия более широкое содержание. Он пользуется понятиями эпохи, но эти понятия видоизменяет, выделяя в них наиболее общее содержание. Так, например, понятие «обиды» узко феодальное здесь, в «Слове», выходит за рамки своей сословной ограниченности. После поражения Игоря «въстала обида въ силахъ Дажьбожа внука». «Силы» — войска (ср. «нача приступати Володимерко с силою своею», Лавр. лет., под 1149 г.). Войска «Дажьбожа внука» — это, несомненно, все русское войско. «Обида» русского войска есть «обида» всей Русской земли. Этот термин употреблен автором вне его обычной сословной, феодальной ограниченности.

Князь Святослав (или автор «Слова») призывает Рюрика и Давида Ростиславичей вступить в золотое стремя, то есть выступить в поход «за обиду сего времени» — не какого-либо из князей, а обиду общую, обиду этого (нашего) времени. Здесь также термин «обида» выходит за рамки сословной, феодальной ограниченности.

Так же точно не в обычном летописном, а в более широком значении употребляет автор «Слова о полку Игореве» и понятие «хвала»: «уже снесеся хула на хвалу; уже тресну нужда на волю».

Наконец, самое важное из политических понятий XII в. — понятие Русской земли — не ограничивается для автора «Слова» пределами Киевского княжества, как это было типичным для политических представлений пе-

риода феодальной раздробленности[1]. Он включает сюда Владимиро-Суздальское княжество и Владимиро-Волынское, Новгород Великий и Тмуторокань. Последнее особенно интересно: автор «Слова» включает в число русских земель и те, политическая самостоятельность которых была утрачена ко второй половине XII в. Так, например, река Дон, на которой находились кочевья половцев, но где имелись и многочисленные русские поселения, для автора «Слова» — русская река. Дон зовет князя Игоря «на победу». Донец помогает Игорю во время его бегства. Славу Игорю Святославичу по его возвращении в Киев поют девицы «на Дунаи», где действительно имелись русские поселения. Там же слышен и плач Ярославны.

Неясен только один вопрос: включает ли автор «Слова о полку Игореве» Полоцкое княжество в число русских земель. Слова автора из его обращения к Ярославичам и Всеславичам прекратить раздоры: «Вы бо своими крамолами начясте наводити поганыя на землю Русскую, на жизнь Всеславлю» могут быть поняты поразному. Можно понимать «на землю Рускую, на жизнь Всеславлю» и как грамматическое сочинение (в таком случае «жизнь Всеславля» не есть Русская земля), и как грамматическое подчинение (в таком случае «жизнь Всеславля» входит в состав Русской земли); по-видимому, следует здесь видеть последнее: автор «Слова» ведь противопоставляет полоцких князей не князьям русским, а только Ярославичам; кроме того, автор «Слова» обращается к полоцким князьям с призывом к защите Русской земли наряду со всеми русскими князьями, он обращается с призывом прекратить их «которы» с Ярославичами и т. д. Следовательно, Полоцкая земля для автора «Слова»— земля Русская.

То же представление о Русской земле как о едином большом целом отчетливо дает себя знать и в тех случаях, когда автор говорит об обороне ее границ. Южные враги Руси — половцы — для него главные враги, но не единственные. Защита русских границ воспринимается им как одно целое: он говорит о победах Всеволода Суздальского на Волге, то есть над волжскими болгарами,

---

[1] Ср. «иде в Русь архиепископ Нифонт с лучшими мужи» (Новг. I лет., под 1135 г.); «бежащю же Святославу из Новагорода идущю в Русь к брату» (Лавр. лет., под 1141 г.).

о войне полоцких князей против литовцев, о «воротах» Галицкой земли на Дунае, против подвластных Византии дунайских стран.

Автор «Слова о полку Игореве» мыслит понятиями XII в., но вскрывает в этих понятиях наиболее передовое содержание.

Идея единства Русской земли слагается ими из представлений, свойственных эпохе феодальной раздробленности. Автор «Слова» не отрицает, например, феодальных отношений, но в этих феодальных отношениях он постоянно настаивает на необходимости соблюдения подчиняющих обязательств феодалов, а не на их правах самостоятельности. Он подчеркивает ослушание Игоря и Всеволода по отношению к их «отцу» Святославу и осуждает их за это. Он призывает к феодальной верности киевскому князю Святославу, но не во имя соблюдения феодальных принципов, а во имя интересов всей Русской земли в целом.

Вопреки исторической действительности, слабого киевского князя Святослава Всеволодовича автор «Слова» рисует могущественным и «грозным». На самом деле Святослав «грозным» не был: он владел только Киевом, деля свою власть с Рюриком, обладавшим остальными киевскими городами. Святослав был одним из слабейших князей, когда-либо княживших в Киеве.

Не следует думать, что перед нами обычная придворная лесть. Автор «Слова» выдвигает киевского князя в первые ряды русских князей потому только, что Киев все еще мыслится им как центр Русской земли — если не реальный, то во всяком случае идеальный. Он не видит возможности нового центра Руси на северо-востоке. Киевский князь для автора «Слова» — по-прежнему глава всех русских князей. Автор «Слова» видит в строгом и безусловном выполнении феодальных обязательств по отношению к слабеющему золотому киевскому столу одно из противоядий против феодальных усобиц, одно из средств сохранения единства Руси. Он наделяет Святослава идеальными свойствами главы русских князей: он «грозный» и «великый». Слово «великый», часто употреблявшееся по отношению к главному из князей, как раз в это время перешло в титул князей владимирских: название «великого князя» присвоил себе Всеволод Большое Гнездо, претендуя на старейшинство среди всех русских князей. Слово же «грозный» и «гроза»

очень часто сопутствовало до XVII в. официальному титулованию старейших русских князей, хотя само в титул и не перешло (оно стало только прозвищем, при этом подчеркивающим положительные качества сильной власти,— Ивана III и Ивана IV). Слово «гроза» как синоним силы и могущества княжеской власти часто употреблялось в XIII в. («Демьян же одинако крепляшеся, грозы его (князя. — *Д. Л.*) не убояся»,— Ипат, лет., под 1229 г.; князь Даниил Романович в Орде «живота не чаеть и грозы приходять»,— Ипат. лет., под 1250 г.; «тобою есмь... грозен (силен.— *Д. Л.*) был»,— Ипат. лет., под 1287 г.; «горожаном грозу подавая»,— Ипат. лет., под 1291 г., и т. д.; ср. в самом «Слове о полку Игореве» о Ярославе Осмомысле: «грозы его по землямъ текутъ»).

Итак, для автора «Слова» «грозный» киевский князь — представление идеальное, а не реальное. При этом, что особенно интересно, для автора «Слова» дороги все притязания русских князей на Киев. Нет сомнений в том, что он считает Святослава, силу которого он гиперболизирует, законным киевским князем. И вместе с тем, игнорируя вотчинное право на Киев Святослава Всеволодовича, он пишет, обращаясь к Всеволоду Большое Гнездо — князю, принадлежавшему ко враждебной Ольговичу Святославу мономашьей линии русских князей: «Великий княже Всеволоде! Не мыслию ти прелетѣти издалеча отня злата стола поблюсти?.. Аже бы ты былъ (в Киеве! — *Д. Л.*), то была бы чага по ногатѣ, а кощей по резанѣ». В этом обращении к Всеволоду все неприемлемо для Святослава, и все обличает в авторе «Слова» человека, занимающего свою независимую, а отнюдь не «придворную» позицию: 1) титулование Всеволода «великим князем», 2) признание киевского стола «отним» столом Всеволода и 3) призыв прийти на юг. Каким образом может это совместиться с позицией автора как сторонника Ольговичей? Суть здесь, очевидно, в том, что новая политика Всеволода — отчуждения от южнорусских дел — казалась автору опаснее, чем его вмешательство в борьбу за киевский стол. Всеволод, в отличие от своего отца Юрия Долгорукого, стремился утвердиться на северо-востоке, заменить гегемонию Киева гегемонией Владимира Залесского, отказался от притязаний на Киев, пытаясь из своего Владимира руководить делами Руси. Автору «Слова» эта позиция Всеволода казалась не общерусской,— местной, замкнутой, а потому и опасной.

Аналогичным образом автору «Слова» казалась опасной слишком местная политика Ярослава Галицкого, и он подчеркивает его могущество, его власть над самим Киевом: «отворяеши Киеву врата»,— говорит он о Ярославе Галицком. Слова, казалось бы, несовместимые с представлениями о могуществе Святослава Киевского, слова невозможные в устах «придворного поэта» ольговичей, но простые и понятные для человека, страдающего за Киев как за центр Русской земли, стремящегося привлечь к нему внимание замкнувшихся в местных интересах князей.

Знание глубочайших исторических явлений, происходивших в Галицкой земле и Владимиро-Суздальской, при этом поразительно. От автора «Слова» не ускользнуло то, что стало ясным для позднейших историков. Он усмотрел опасность для единства Руси именно в том, что и владимирские, и галицкие князья перестали интересоваться Киевом как центром Руси.

Однако автор «Слова» не мог еще оторваться от представлений о Киеве как о единственном центре Руси. Он страстный сторонник идеи единства Руси, но единство это он еще понимает в устоявшихся представлениях XII в. Он уже видит значение сильной княжеской власти, но права первого князя на Руси еще обосновывает необходимостью строгого выполнения права феодального, подчеркивая в нем подчиняющие линии, права сюзерена, а не вассала. Он уже видит и признает силу владимиро-суздальского князя, но предпочитает его видеть на юге — в Киеве.

Из привычных представлений своего времени автор «Слова» берет те, которые нужны ему как стороннику идеи единства Руси. Выработка совершенно новых политических представлений была делом будущего. Автор «Слова о полку Игореве» мыслит представлениями XII в., вкладывая в эти представления передовое для своего времени содержание.

Те же представления о Киеве как о центре Русской земли пронизывают собою все изложение «Слова». Поразительна, например, точность выбора выражений в характеристике последствий поражения Игоря: «а въстона бо, братие, Киевъ тугою, а Черниговъ напастьми». Черниговская земля действительно подверглась «напастям», реальным несчастиям, Киев же и Киевщина непосредственному разорению не подверглись;

«туга» — тоска, печаль — за всю Русскую землю распространялись здесь как в центре Руси; Киев страдает, следовательно, не собственными несчастиями, а несчастиями всей Русской земли.

Роль Киева как центра Русской земли особенно отчетливо выступает в заключительной части «Слова о полку Игореве». Согласно летописи, Игорь по возвращении из плена в Новгород Северский едет в Чернигов к Ярославу Святославичу, а затем уже из Чернигова отправляется в Киев к Святославу Всеволодовичу. Но «Слово о полку Игореве» не упоминает ни о его пребывании в Новгороде Северском, ни о его пребывании в Чернигове. Игорь — русский князь прежде всего, важно его возвращение в Киев, а не в Новгород Северский. Славу ему поют не в Новгороде или Путивле, а на Дунае — в отдаленных русских поселениях, отрезанных от остальной Руси половцами, ибо радость по поводу его возвращения общерусская, а не какая-либо местная. Возвращение Игоря встречает отклик во всех русских селениях, даже и тех, которые были заброшены на крайний юго-запад. При этом пение девиц на Дунае достигает именно Киева.

Итак, единство Русской земли мыслится автором «Слова» с центром в Киеве. Это единство возглавляется киевским князем, рисующимся ему в чертах сильного и «грозного» князя.

Обращаясь с призывом к русским князьям встать на защиту Русской земли, автор «Слова» в разных князьях рисует собирательный образ сильного, могущественного князя — сильного войском («многовоего»), сильного судом («суды рядя до Дуная»), вселяющего страх пограничным с Русью странам («ты бо можеши Волгу веслы раскропити, а Донъ шеломы выльяти»; «подперъ горы угорскыи своими желѣзными плъки, заступивъ королеви путь, затворивъ Дунаю ворота»), распространяющего свою власть на громадную территорию с центром в Киеве («аще бы ты былъ...» на юге.— *Д. Л.*), а не только в своем уделе, славного в других странах («ту нѣмци и венедици, ту греци и морава поютъ славу Святъславлю»).

Перед нами образ князя, воплощающего собой идею сильной княжеской власти. Эта идея сильной княжеской власти, с помощью которой должно осуществиться единство Русской земли, только еще рождалась в XII в.

Впоследствии этот же самый образ «грозного» великого князя создает «Слово о погибели Русской земли». Он отразится в «Житии Александра Невского», в «Молении Даниила Заточника» и в других произведениях XIII в. Не будет только стоять за этим образом «грозного» великого князя — Киева как центра Руси. Перемещение центра Руси на северо-восток и падение значения киевского стола станет слишком явным.

Однако автор «Слова» сумел наблюсти идею сильной княжеской власти в ее жизненном осуществлении на том самом северо-востоке Руси, чьих притязаний стать новым центром Русской земли он еще не хотел признавать.

Сильная княжеская власть едва только начинала возникать, ей еще предстояло развиться в будущем, однако автор «Слова» уже установил ее характерность, уловил в ней зерна будущего.

Конечно, идея сильной княжеской власти не слилась у автора «Слова» с идеей единовластия. Для этого еще не было реальной исторической почвы. Автор «Слова» видит своего сильного и могущественного русского великого князя действующим совместно со всеми остальными князьями, но в подчеркивании подчиняющих линий феодальной власти нельзя не видеть некоторых намеков на идею единовластия киевского князя.

Таким образом, единство Руси мыслится автором «Слова» не в виде прекраснодушного идеала союзных отношений всех русских князей на основе их доброй воли и не в виде летописной идеи необходимости соблюдения добрых родственных отношений (все князья — «братья», — «единого деда внуки»), и не в виде будущих идей единовластия, а в виде союза русских князей, на основе строгого выполнения феодальных обязательств по отношению к сильному и «грозному» киевскому князю.

Обращаясь с призывом к русским князьям встать на защиту Русской земли, автор «Слова» исходит из их реальных возможностей, оценивает те их качества, которые позволяют им быть действительно полезными в обороне Руси. И в данном случае автор «Слова» выступает как реальный политик. По существу, в «Слове» предложен целый очерк современного автору политического состояния Руси.

Обратимся к этому очерку и посмотрим, как оценены в «Слове» политические перспективы каждого из упомянутых в нем русских князей.

По существу, самая низкая оценка политических возможностей выпала в «Слове о полку Игореве» на долю его героя — Игоря Святославича Новгород-Северского.

В образе Игоря Святославича подчеркнуто, что исторические события сильнее, чем его характер. Его поступки обусловлены в большей мере заблуждениями эпохи, чем его личными свойствами. Сам по себе Игорь Святославич не плох и не хорош: скорее даже хорош, чем плох, но его деяния плохи, и это потому, что над ним господствуют предрассудки и заблуждения эпохи. Тем самым на первый план в «Слове» выступает общее и историческое над индивидуальным и временным. Игорь Святославич — сын эпохи. Это князь своего времени: храбрый, мужественный, в известной мере любящий родину, но безрассудный и недальновидный, заботящийся о своей чести больше, чем о чести родины.

На примере похода Игоря и его неудачи автор показывает несчастные последствия отсутствия единения. Игорь терпит поражение только потому, что пошел в поход один. Он действует по формуле «мы собе, а ты собе». Слова Святослава Киевского, обращенные к Игорю Святославичу, характеризуют в известной мере и отношение к нему автора «Слова». Святослав говорит, обращаясь к Игорю и Всеволоду: «О, моя сыновчя, Игорю и Всеволоде! Рано еста начала Половецкую землю мечи цвѣлити, а себѣ славы искати. Нъ нечестно одолѣсте, нечестно бо кровь поганую пролиясте. Ваю храбрая сердца въ жестоцемъ харалузѣ скована, а въ буести закалена. Се ли створисте моей сребреней сѣдинѣ?.. Нъ рекосте: «мужаимѣся сами: преднюю славу сами похитимъ, а заднюю си сами подѣлимъ!» А чи диво ся, братие, стару помолодити? Коли соколъ въ мытехъ бываетъ, высоко птицъ възбиваетъ: не дастъ гнѣзда своего въ обиду. Нъ се зло — княже ми непособие: наниче ся годины обратиша».

По существу, весь рассказ в «Слове» о походе Игоря выдержан в этих чертах его характеристики Святославом: безрассудный Игорь идет в поход, несмотря на то, что поход этот с самого начала обречен на неуспех. Он идет несмотря на все неблагоприятные «знамения». Главной, хотя и не единственной движущей силой его

при этом является стремление к личной славе. Игорь говорит: «Братие и дружино! луце жъ бы потяту быти, неже полонену быти; а всядемъ, братие, на свои бръзые комони, да позримъ синего Дону», и еще: «Хощу бо, рече, копие приломити конець поля Половецкаго; съ вами, русици, хощу главу свою приложити, а любо испити шеломомь Дону»[1]. Желание личной славы «заступает ему знамение». Ничто не останавливает Игоря на его роковом пути.

Осуждение Игоря явно чувствуется еще в одном месте «Слова о полку Игореве», по другому поводу. Сравнивая битву Игорева войска и половцев с пиром, автор «Слова» говорит: «...ту кроваваго вина не доста: ту пиръ докончаша храбрии русичи: сваты попоиша, а сами полегоша за землю Рускую». Автор «Слова» неизменно точен в выборе выражений. Слово «сваты» употреблено им в отношении половцев далеко не случайно[2]. Предводитель половецких сил хан Кончак был действительно «сватом» Игоря. Сын Игоря был помолвлен с дочерью Кончака еще раньше. Свадьба состоялась в плену. Владимир вернулся из плена с «дитятею» и уже по возвращении из плена был венчан по церковному обряду.

Однако половцы были «сватами» русских князей далеко не в одном случае. Олег «Гориславич» был женат на дочери хана Асалупа. Святополк Изяславич Киевский был женат на дочери Тугорхана. Юрий Долгорукий был женат на дочери хана Аепы, внучке хана Осеня. Сын Мономаха Андрей Добрый был женат на дочери Тугорхана; Рюрик Ростиславич — на дочери хана Беглюка. Внучка хана Кончака была выдана замуж за Ярослава Всеволодовича.

Как видим, обращаясь с призывом к русским князьям, направляя им в первую очередь свой призыв встать на защиту Руси, автор «Слова о полку Игореве» имел право назвать с горьким чувством врагов Руси — половцев — «сватами».

Осуждение женитьб на половчанках проглядывает еще в одном месте «Слова»: в числе жертв похода

---

[1] Ср. похвальбу Игоря и Всеволода в рассказе Лаврентьевской летописи о походе Игоря: «...сами поидоша о собе рекуще: „мы есмы ци не князи же? поидем, ты же собе хвалы добудем“» (Лавр. лет., под 1186 г.).

[2] На это обстоятельство обратил мое внимание в частной беседе И. У. Будовниц.

1185 г. киевские бояре называют Святославу Всеволодовичу только «два солнца» — Игоря и Всеволода — «и съ нима молодая мѣсяца, Олегъ и Святъславъ». Олег — это сын Игоря, родившийся в 1175 г., Святослав — его племянник, князь Рыльский. Не назван Владимир — старший сын Игоря, несомненный участник похода Игоря (он назван в летописи). А. В. Соловьев, впервые внимательно изучивший все упоминания князей в «Слове», заподозрил в этом пропуске ошибку переписчика [1]. Однако двойственное число («съ нима молодая мѣсяца, Олегъ и Святъславъ») устраняют возможность механического пропуска переписчика. Перед нами, по-видимому, сознательный пропуск, объясняемый тем, что в Киеве знали о женитьбе Владимира на Кончаковне в плену и, следовательно, не могли рассматривать его как жертву похода. Вряд ли было бы уместно говорить о Владимире как о померкшем месяце в то самое время, когда в ставке Кончака ему пелась свадебная слава. Однако, несмотря ни на что, возвращение Владимира в Киев радует автора «Слова» так же, как и возвращение Игоря: «Слово» заключается славой Игорю, Всеволоду и Владимиру.

Итак, на всем протяжении «Слова о полку Игореве» автор относится к Игорю с неизменным сочувствием. Но, сочувствуя Игорю, он осуждает его поступок, и это осуждение, как мы видели, прямо влагается им в уста Святослава Киевского и подчеркивается всеми историческими параллелями, которые он приводит в «Слове». Его позиция — во всяком случае, не позиция придворного Игоря Святославича, как и не придворного Святослава Всеволодовича. И в этом случае он независим в своих суждениях.

Никаких конкретных указаний на какие-либо особенности новгород-северского княжения «Слово» не дает. Перед нами только сама яркая личность новгород-северского князя. Все остальные русские князья охарактеризованы в «Слове» в конкретных чертах их княжений. В каждом из них подчеркнуты черты, типичные для их княжений в целом.

Так, например, в своих присущих только черниговско-северским княжениям чертах выступает курский князь Всеволод и черниговский Ярослав.

---

[1] Соловьев А. В. Политический кругозор автора «Слова о полку Игореве», с. 74.

В «Слове отмечена такая деталь, как наличие в Северской земле сильного «земского боярства» — местной родовой знати и мелких феодалов. Автор «Слова» говорит о курских «кметях»[1] и о черниговских «былях» — «ревугах», «ольберах», «топчаках», «шельбирах», «татранах»[2]. Судя по этим названиям, это знать тюркского происхождения, что было также характерно для Чернигова[3]. С этой местной знатью, как пишет В. В. Мавродин, вынуждены считаться северские князья, в связи с чем и было весьма уместным упоминание в «Слове» этих «былей» и «кметей» рядом с князьями курским и черниговским.

Одно из центральных мест в «Слове» занимает «золотое слово» Святослава Киевского, продолженное обращением самого автора «Слова» к русским князьям. Здесь важно то, что автор «Слова» обращается ко всем русским князьям. Если он и не перечисляет их всех, то, во всяком случае, он обращается к князьям, сидевшим и на востоке, и на западе: к князьям владимиро-суздальским, полоцким, галицким и т. д. Всех их автор «Слова» считает причастными общему русскому делу — защите южных границ Руси.

Последовательность, в которой автор «Слова» обращается к русским князьям, едва ли случайна. В ней нет ни местничества, ни родовой точки зрения. Он не учитывает родственных отношений или степени важности княжеств. Ему ничего не стоит обратиться сперва к племяннику, а потом к дяде (к Владимиру Глебовичу, а потом к Всеволоду Суздальскому), к Ольговичам вперемешку с Мономаховичами, к смоленским князьям (Рюрику и Давиду Ростиславичам) прежде чем к Ярославу Осмомыслу.

---

[1] Мавродин В. В. Очерки истории Левобережной Украины, с. 146. Ср. также характеристику «кметей», которую дает В. В. Мавродин в другом месте своей работы: «Кмети — мелкие зажиточные хозяйчики, превращающиеся или уже превратившиеся в феодалов. У западных славян термин «кмет» означает служилого однодворца, в Сербии — начальника, старосту, на Украине — зажиточного крестьянина. Но даже если не все кметы уже стали феодалами, то путь один — к служилому люду, землевладельцу, феодалу типа позднейшего «комонства», «всадников», мельчайшего дворянства. Поэтому «кметы», генетически связанные с земским мельчайшим боярством, стремясь к укреплению своей власти и обогащению, пытаются добиться этого, опираясь на князя и входя в его дружину. Так по крайней мере было в Северской земле» (Там же, с. 154).

[2] Там же.

[3] Там же, с. 148—149.

Вряд ли возможно установить здесь какую-либо последовательность. Скорее всего последовательность здесь живая, непосредственная, лишенная особых расчетов и этикета. Он обращается прежде всего к тем князьям, чьего участия в будущем походе он больше всего добивается, от кого прежде всего ждет отклика. При всем величии своего патриотического воодушевления автор «Слова» прежде всего реалист в политике.

Автор «Слова» по-разному оценивает политические перспективы русских княжеств. Он не рассматривает их ни под пессимистическим, ни под оптимистическим углом зрения. Отмечая растущую силу Владимиро-Суздальской и Галицко-Волынской земель, он одновременно с горькой иронией дает совет полоцким князьям: «понизите стязи свои, вонзите мечи свои вережени». Действительно, «Западной Руси готовилась судьба пойти материалом на строение нового политического здания — великого княжества Литовского, войти в состав «земли Литовской» в тесном смысле слова» [1].

Прежде всего автор «Слова» обращается к Всеволоду Юрьевичу Суздальскому. Он отмечает, что Всеволод замкнулся в политических интересах только своего княжества: «Великый княже Всеволоде! Не мыслию ти прелетѣти издалеча отня злата стола поблюсти?» и этим верно отмечен поворот в политике владимирских князей, наступивший во второй половине XII в. В отличие от Юрия Долгорукого, Андрей Боголюбский порывает с Киевом, за обладание которым боролся его отец, и уходит к себе на север. Здесь на севере Андрей делает ряд попыток обосновать новый центр Руси. Политику Андрея решительно продолжил его брат Всеволод. «Ты бо можеши Волгу веслы раскропити» — в этих словах автора «Слова» подчеркнута и многочисленность войска Всеволода, и его успешная борьба с волжскими болгарами (1183 и 1186 гг.).

Наконец, полны исторического значения и заключительные слова обращения к Всеволоду: «Ты бо можеши посуху живыми шереширы стрѣляти, удалыми сыны Глѣбовы», под которыми, очевидно, подразумеваются сыновья Глеба Ростиславича Рязанского, которых Всеволод держал в своей власти.

---

[1] Пресняков А. Е. Лекции по русской истории, т. 2, вып. 1, М., 1939, с. 45.

Обращаясь к Рюрику и Давыду Ростиславичам, автор отмечает лишь одну их характерную особенность — их храбрую дружину, закаленную в боях. Так оно, очевидно, и было. Рюрик и Давыд провели беспокойную жизнь. Рюрик неоднократно появлялся на киевском столе, захватывая его военной силой. Не раз ходил Рюрик и на половцев, только недавно, в 1183 г., нанеся половцам жестокое поражение на реке Хирии (или Хороле?). Ходил Рюрик на половцев и в 1185 г. Эти войны с половцами, очевидно, и имеет в виду автор «Слова», когда пишет: «Не ваю ли храбрая дружина рыкаютъ акы тури ранены саблями калеными на полѣ незнаемѣ?»

Обращаясь к Ярославу Осмомыслу Галицкому, автор «Слова» верно отмечает его силу: наряду с княжеством Владимиро-Суздальским, Галицкое княжество было явно на подъеме своего могущества. Ослабление Киева и Чернигова в XII в. шло параллельно росту могущества княжеств Владимиро-Суздальского и Галицкого.

Автор «Слова» называет престол, на котором сидит Ярослав Осмомысл, «златокованым», и это не случайно. Здесь, как и во многих других случаях, поражает исключительная точность и многозначность подбираемых им выражений. Термины «злаченый», «золотой» или «златокованый» всегда употребляются в точном смысле. Так, например, шлемы дружины Рюрика и Давида Ростиславичей названы «злачеными». Шлемы никогда не делались из сплошного золота — слишком мягкого и слишком тяжелого для шлема материала. Термин «золотой» может в равной степени означать и «золоченый», и сделанный из сплошного золота. Княжеский стол в Киеве назван «золотым». Он золотой прежде всего по своему значению, а может быть, и потому, что реальный стол в Киеве был золотым или золоченым. Зато стол Галицкий назван «златокованым», сделанным из сплошного золота, и этим подчеркивается только одна материальная сторона: богатство престола, а следовательно, и богатство Галича. Действительно, из всех княжеств Руси XII в. Галицкое было самым богатым вследствие выгодного для Галича перемещения в XII в. соединявших север и юг Европы торговых путей из Поднепровья, где их прервали половцы, на запад — в безопасные районы Галицкого княжества. Усиление в XII в. галицких городов было вызвано их увеличившимся торговым значением. Еще отец Ярослава Осмомысла Владимирко ши-

роко действовал подкупом, вызывая этим раздражение киевлян (Ипат. лет., под 1144 г.).

Не случайно и другое выражение автора «Слова», употребленное им в отношении Ярослава Осмомысла Галицкого: «высоко сѣдиши на ...столѣ». Действительно кремль Галича, где находилась и резиденция Ярослава Осмомысла, был расположен на высоком холме[1].

«Слово» отмечает также подчиненность ему всех русских земель до самого Дуная: «суды рядя до Дуная». «Рядить суды», или «ряды править»,— одно из главных княжеских дел. Ср. в Лаврентьевской летописи под 1206 г.: Константин Всеволодович въехал в Новгород на княжение, сел на столе в Софии («короновался»), оттуда пришел в свою обитель (то есть в свой дворец), отпустил новгородцев с честью «и потомь поча ряды правити», то есть после этого стал управлять Новгородом. В 1151 г. престарелый киевский князь Вячеслав, желая разделить княжение с Изяславом Мстиславичем, послал ему сказать: «...яз есмь стар, а всих рядов не могу уже рядити, но будеве оба Киеве...» (Ипат. лет., под 1151 г.). В 1154 г. тот же престарелый Вячеслав говорит приехавшему в Киев Ростиславу: «Сыну! Се уже в старости есмь, а рядов всих не могу рядити; а, сыну, даю тебе, якоже брат твой держал и рядил, тако же и тобе даю... а се полк мой и дружина моя, ты ряди». Из этих примеров ясно, что слова «суды рядя до Дуная» в широком смысле означают «управляя землями до самого Дуная»

Заслуживает внимания и другое. В «Слове» подчеркнуто, что Ярослав совершает все свои деяния, не ходя в походы, сидя на своем престоле. Он «подперъ горы угорскыи», затворяет «Дунаю ворота», с престола мечет «бремены чрезъ облакы», отворяет «Киеву врата», стреляет «съ отня злата стола салътани за землями». Объяснение этой характеристики Ярослава Осмомысла, совершающего все свои богатырские деяния, сидя на отнем златокованом престоле, счастливо сохранила нам летопись: в некрологической статье, посвященной Ярославу Осмомыслу под 1187 г., сказано: «бе же князь мудр и речен языком, и богобоин, и честен в землях и

---

[1] Пастернак Я. Галицька катедра у Крилосі. Выдбитка із «Зап. наук. iм. Шевченка. У Львові», 1937. Ср. его же: «Старый Галич». Л., 1944.

славен полкы: где бо бяшеть ему обида, *сам не ходяшеть полкы своими,* но посылашеть я́ с воеводами; бе бо ростроил землю свою» (Ипат. лет., под 1187 г.).

Следующий затем призыв обращен к «буй-Роману и Мстиславу». Буй-Роман — Роман Мстиславич. Это ясно из перечисления его побед над литвой, ятвягами, деремелой и половцами. Из Романов, современников автора, только Роман Мстиславич Галицкий ходил на все эти народы. Именно для его войска было характерно и латинское вооружение: «суть бо у ваю желѣзныи паробци (или «паворози» — завязки.— *Д. Л.)* подъ шеломы латиньскыми». Но кто такой Мстислав, по всему судя близкий к Роману, деливший его победы? Это мог быть Мстислав Ярославич Пересопницкий и Мстислав Всеволодович Городенский.

Затем автор «Слова» обращается к Инъгварю и Всеволоду и ко «всем трем Мстиславичам». Инъгварь и Всеволод — это сыновья Ярослава Изяславича Луцкого; но кто такие «и вси три Мстиславичи»? По-видимому, это какая-то другая группа князей. Нельзя считать, как это делают обычно, что это тот же Инъгварь, Всеволод и их неназванный брат Мстислав. Против такого понимания говорит самое грамматическое построение этой фразы, в которой автор «Слова» обращается к ним: «Инъгварь и Всеволодъ и вси три Мстиславичи». Кроме того, Инъгварь и Всеволод имели не одного, а еще двух братьев (кроме Мстислава — еще и Изяслава, умершего в 1196 г.). Следовательно, их не трое, а четверо и о них нельзя было сказать «вси три». Кроме того, они не Мстиславичи, а Ярославичи (дети Ярослава Изяславича Луцкого). Мстиславичами они вряд ли могли быть названы по прадеду — Мстиславу Владимировичу.

Здесь, несомненно, имеются в виду единственные в ту пору на Руси три брата — сыновья Мстислава Изяславича — Роман, Святослав и Всеволод[1]. Все эти три

[1] Кроме этих трех сыновей Мстислава Изяславича, был еще Владимир, но он умер значительно раньше. Год смерти Святослава точно не известен. В генеалогических таблицах ошибочно указывается год смерти Святослава — 1171 (у С. М. Соловьева, М. С. Грушевского и их предшественников), однако в Ипатьевской летописи Святослав Мстиславич упоминается под 1173 г. (о том, что год смерти Святослава неизвестен, говорит и М. С. Грушевский (Історія України-Руси, т. II. Л., 1905, с. 366). Мысль о том, что под «тремя Мстиславичами» разумеются три сына Мстислава Изяславича, подсказана мне Ив. М. Кудрявцевым.

Мстиславича, как и Инъгварь и Всеволод, были князьями волынскими — вот почему они объединены в едином обращении к ним. Они не названы по имени, так как автор «Слова» уже назвал только что выше одного из них — Романа. В этом месте он повторяет свое обращение к Роману, объединяя его со всеми его волынскими братьями. Он говорит «и вси три Мстиславичи», подчеркивая этим, что речь перед тем шла только об одном Мстиславиче, а теперь идет о всех. Повторение это вполне естественно: автор «Слова» обращается к волынским князьям Инъгварю и Всеволоду и объединяет свое обращение к ним с обращением ко всем другим волынским князьям: «Инъгварь и Всеволодъ и вси три Мстиславичи» — здесь перечислены все волынские князья.

Мстиславичи эти были по матери полуполяками — внуками польского короля Болеслава Кривоустого. Вот почему в обращении к ним автор «Слова» говорит: «...кое ваши златыи шеломы и сулици ляцкыи и щиты?»

Конечно, это и не простой намек на полупольское происхождение Мстиславичей. Гораздо вероятнее, что автор «Слова», имея в виду полупольское происхождение Мстиславичей, имеет здесь в виду и ту военную помощь, которую получали волынские князья из Польши. Ведь именно это было важно подчеркнуть автору «Слова о полку Игореве», взывая к их военной мощи. «Польские силы не раз помогают волынским князьям в их борьбе против киевских или галицких князей,— пишет А. Е. Пресняков. — Еще в 80-х годах XI в. Владислав-Герман поддерживает Ярополка Изяславича против Всеволода Ярославича Киевского, а в 90-х годах Болеслав Кривоустый подымается на помощь Ярославу Святополчичу против Мономаха. Изяслав Мстиславич в борьбе с Юрием Долгоруким и Владимерком Галицким ищет союза польских князей, женя сына на сестре Казимира Справедливого и выдав дочь за его брата Мешка Старого. И этот волынско-польский союз держится в течение трех поколений, продолжаясь при Мстиславе Изяславиче и Романе Мстиславиче. Мстислав в неудачные години уходит «в ляхи», во время борьбы за Киев «снимается (совещается.— *Д. Л.*) с ляхи». Часто обращается к ним за помощью и Роман как

в борьбе за Киев, так и в первых же покушениях своих на Галицкое княжество»[1].

Отношения Волыни с Польшей были сложнее, чем простая помощь Польши волынским князьям. В их основе в конечном счете лежали притязания польских королей на Волынь, но для нас важно то, что польско-волынские отношения не прошли мимо наблюдательного глаза автора «Слова». Пока его интересует только военная помощь волынских князей и их польских союзников против половцев.

Дойдя в своем обращении ко всем русским князьям до князей полоцких, автор «Слова» ограничивается в отношении их лишь призывом прекратить раздоры с остальными русскими князьями. Он отмечает слабость полоцких князей в обороне их собственных границ от литовцев и поэтому, может быть, не рискует их отвлечь от своих собственных дел делами половецкими. Положение на границах Полоцкой земли с литовцами автор «Слова» сравнивает с положением южных границ Руси с половцами: «Уже бо Сула (пограничная река на юге.— *Д. Л.*) не течетъ сребреными струями къ граду Переяславлю, и Двина (пограничная река на западе.— *Д. Л.*) болотомъ течетъ онымъ грознымъ полочаномъ подъ кликомъ поганыхъ (литовцев. — *Д. Л.*)». С горечью отмечает автор «Слова», что только один Изяслав Василькович (князь по летописям неизвестный) оказал сопротивление литовцам, но при этом сам потерпел поражение, «притрепав» тем самым военную славу своего прародителя Всеслава Полоцкого: «Единъ же Изяславъ, сынъ Васильковъ, позвони своими острыми мечи о шеломы литовьскыя, притрепа славу дѣду своему Всеславу, а самъ подъ чрълеными щиты на кровавѣ travѣ притрепанъ литовскыми мечи...»

Обращает на себя внимание отсутствие призыва к Новгороду Великому. На первый взгляд это кажется странным, но на самом деле это показывает в авторе «Слова» реального политика. Это не означает, что автор «Слова» считал Новгород вне пределов Русской земли. Выражение «расшибе славу Ярославу» показывает, что автор «Слова» вводил Новгород в круг русских истори-

---

[1] Пресняков А. Е. Лекции по русской истории, т. 2, вып. 1, с. 23—24.

ческих традиций и, следовательно, не исключал его из числа русских городов. Автор «Слова» потому не обращается с призывом к Новгороду, что там не к кому было обращаться. Во главе Новгорода стоял не князь, который худо ли хорошо ли, но все же мог быть в XII в. представителем общерусских интересов, а боярская олигархия, которая была связана только со своей землей и для которой общерусские интересы были чужды. Обращаться к ней было бесполезно, и автор «Слова» не сделал этого. Ни разу еще новгородские войска не участвовали в XII в. в общерусских походах. Узкоместные интересы преобладали в среде новгородского боярства и купечества. Отсюда можно заключить, что обращение автора «Слова» не были только литературной формой, за которой скрывалась ни к кому конкретно не обращаемая пропаганда единства Руси. Автор «Слова» обращался к конкретным князьям с призывом к конкретному походу и конкретному союзу против степи.

Однако литература не только исходила из действительности — в ряде случаев (а в «Слове о полку Игореве» особенно) она возвышалась над этой действительностью. Единство Руси в период ее феодальной раздробленности в известной мере продолжало существовать. Раздробленность не была тотальной, полной. В осуществлении единства литература, как и другие формы идеологического воздействия, играла вполне реальную активную роль. Дело в том, что, несмотря на раздробленность и несмотря на узкоместную политику отдельных князей, ни один из этих последних не решался объявлять раздробление Руси принципом своей политики. Каждый из русских князей в провозглашаемых им (пусть даже лицемерно) официально мотивах своих действий стоял за единство Русской земли. Если понятие Руси в летописях XII в. (но не в других жанрах) в устах князей и летописцев и могло иногда относиться только к княжествам Южной Руси, то все же одновременно существовало и более широкое понятие Руси, охватывавшее все русские области, не исключая и Новгорода. Автор «Слова о полку Игореве», обращаясь ко всем русским князьям, рассчитывал именно на это общерусское идейное единство, так как на него опирались в своей политике многие киевские князья, начиная с Владимира Мономаха и кончая Святославом, отнюдь не радовав-

шимся по поводу поражения Игоря, а оплакивавшим его, согласно рассказу Ипатьевской летописи и «Слову о полку Игореве» (в летописи Святослав «утер слез своих и рече....». В «Слове» Святослав «изрони злато слово слезами смѣшено»).

А. Н. Робинсон придерживается прямо противоположной точки зрения: он считает, что обращение автора «Слова» к русским князьям было только литературной формой, за которой не скрывалось ничего реального. Иначе говоря, реальный политический смысл этого обращения отсутствовал. Доказывает это А. Н. Робинсон тонким анализом политической обстановки в каждом княжестве: нигде не было смысла выступать в поход за Русскую землю, а некоторым из князей поражение Игоря было даже выгодно (в частности, Святославу Киевскому). А. Н. Робинсон так подытоживает свой анализ исторической обстановки: «Призыв «Слова» к князьям не имел и не мог иметь никаких политических последствий...» и далее: «Всякие попытки рассматривать содержание «Слова» без учета этих исторических обстоятельств были бы антиисторическими» [1]. Однако нельзя рассчитывать, что все русские князья знали точно свои выгоды. Нельзя также думать, что князья во всем поступали только согласно своим выгодам. Невозможно считать, наконец, что, обращаясь к русским князьям, автор «Слова» так же точно, как и современный исследователь политической обстановки 80-х годов XII в., рассматривал эту обстановку. Автор «Слова» мог рассчитывать на некоторый идеализм, или, вернее, патриотизм, русских князей. Ведь весь смысл «Слова» — в призыве к князьям отказаться от своих эгоистических расчетов, пожертвовать ими, встав на защиту родины.

Очень интересно употребление в «Слове» политической терминологии именно конца XII — начала XIII вв.: слово «господин» по отношению к князю. «Слово» называет «господами» Рюрика и Давыда Ростиславичей и Ярослава Осмомысла Галицкого: «Вступита, господина, въ злата стремень за обиду сего времени...» «Стрѣляй, господине, Кончака, поганого кощея...»

---

[1] Робинсон А. Н. О закономерностях развития восточнославянского и европейского эпоса в раннефеодальный период. — В кн.: Славянские литературы. VII Международный съезд славистов. Варшава, август 1973 г. М., 1973, с. 192 и 193.

Обращение к князю «господин» впервые стало употребляться на северо-востоке Руси, там, где складывалась новая сильная княжеская власть, начиная с середины 70-х годов XII в. (то есть за десять лет до написания «Слова»). Оно начинает употребляться сперва только в среде горожан и сельского населения. До того этот термин «господин» применялся лишь в области владельческих отношений: так называли владельца холопов, хозяина закупов (в «Русской Правде»). В политической жизни в отношении князя термин «господин» впервые встречается в речах жителей владимиро-суздальских городов, обращенных к владимирскому князю. Так называют Михаила Юрьевича суздальцы и ростовцы (горожане) в 1176 и 1177 г.; так называют Всеволода Юрьевича владимирцы (опять-таки горожане) в 1177 г.; так называют его же и в других случаях. В 1180 г., по-видимому впервые, этот термин переходит в уста князей-вассалов, в их обращения к своему главе, и опять-таки во Владимиро-Суздальском княжестве. Так называли Всеволода Юрьевича Владимиро-Суздальского, своего феодального главу, рязанские князья Всеволод и Владимир Глебовичи: «Ты господин, ты отец,— говорили через послов Всеволоду рязанские князья,— брат ваю (ваш. — *Д. Л.*) старейший Роман уимает волости у наю (нас. — *Д. Л.*), слушая тестя своего Святослава, а к тебе крест целовал и переступил» (Ипат. лет.). По-видимому, новые отношения безусловного подчинения, сложившиеся на северо-востоке между владимиро-суздальским князем и подручными ему рязанскими князьями, потребовали для своего определения и нового термина, в котором уже отменено всякое «родственное смягчение» политических понятий, столь характерное для старой традиционной феодальной терминологии — «отец», «сын», «брат». Поэтому-то слово «господин» и стало употребляться вместо слова «отец» или рядом с ним в пору усиления княжеской власти.

Этот новый политический термин — «господин» (вместо «отец»),— отразивший на северо-востоке рост феодального главы над стоящими ниже его на лестнице феодального подчинения князьями, начинает употребляться не только одними рязанскими князьями по отношению к Всеволоду Юрьевичу, но и в другом центре борьбы за сильную княжескую власть — в Галичине. Всего десять лет спустя, в 1190 г., сын Ярослава Осмо-

мысла — Владимир Галицкий в своей просьбе ко Всеволоду Суздальскому прибег к аналогичному обращению: «Отце господине! Удержи Галич подо мной, а яз божий и твой есмь со всим Галичем, а в твоей воле есмь всегда» (Ипат. лет.). Энергия этого нового политического термина поддержана в этой просьбе необычною степенью покорности, на которую соглашается Владимир: «аз божий и твой».

Употребление слова «господин» по отношению к князю имеет совершенно точную хронологию. Оно употребляется с 70-х годов XII в. и в течение XIII в. (оно типично для «Моления Даниила Заточника»). Впоследствии, в XIV—XV вв., оно вытесняется словом «государь»: князю станут говорить «государь», но не «господин». Это слово встретится только в «Задонщине» и «Сказании о Мамаевом побоище», но как заимствование из «Слова о полку Игореве» (в первом произведении — прямо, а во втором — через первое).

Принимая новый термин «господин», автор «Слова», очевидно, принимал и новое отношение к княжеской власти. Не случайно он так преувеличивает могущество князей, называет некоторых из них «великими» и «грозными» (Святослава Всеволодовича), говорит о «грозе» Святослава и Ярослава Осмомысла.

* * *

Подведем итоги. Автор «Слова» — человек широкой исторической осведомленности. Он внимательный читатель «Повести временных лет» и вместе с тем наслышан в народной исторической поэзии. Он имеет свои отчетливые представления о русской истории, хотя эти представления и являются представлениями поэта, а не историка, при этом поэта XII столетия. Его суждения о русской истории — плод поэтического восприятия этой истории, но поэтического восприятия, проникнутого историзмом в пределах, доступных его эпохе. Русская история имеет для него ясно представляемые черты своего собственного бытия. По крайней мере три периода, три сменяющих друг друга образа исторических эпох намечаются в его поэтическом сознании: время Трояна, время Ярослава и время Олега Гориславича.

Современность имеет для автора «Слова» свои корни в историческом прошлом. Для автора она — естествен-

ное продолжение эпохи усобиц Олега Гориславича. Он ищет корни политики современных ему князей-крамольников в походах Олега.

В своих исторических воззрениях автор «Слова» зависит от летописи, фольклора и народной молвы, но его исторические воззрения выше и летописных, и фольклорных, и тех, что были представлены молвой. От летописцев автора «Слова» отделяет огромная сила исторического обобщения. Он обобщает историю в конкретных поэтических образах. От «песнотворцев» его отделяет критическая оценка прошлого и настоящего. Однако он берет свои сведения и из летописи, и из фольклора, и из устной народной памяти. Он развивает отдельные мысли летописца и проникается духом народного поэтического творчества.

Свои суждения автор «Слова» не отделяет от общественного мнения. На это общественное мнение он постоянно опирается в своих оценках происходящего. Выразителем общественного мнения он себя и признает, стремясь передать свою оценку событий как оценку общенародную. Но при этом общественное мнение, которое он выражает, является общественным мнением лучших русских людей его времени.

Автор «Слова» в нормах феодального поведения, в кодексе дружинной морали, в идеологии верхов феодального общества находит лучшие стороны и стремится переосмыслить феодальные понятия. Он наполняет своим, патриотическим содержанием понятия «чести», «славы», «хвалы» и «хулы».

Автор «Слова» — сторонник сильной княжеской власти во имя обуздания произвола мелких князей, во имя единства Русской земли. Все «Слово» проникнуто единым патриотическим настроением и единой патриотической идеей — идеей единства Русской земли. Призывом к этому единству и к твердой обороне Руси от «поганых», по существу, оно и является. Автор «Слова» и в этом явился человеком своего времени, глашатаем мнения лучших своих современников. Он творит идеи, потребность в которых живо ощущалась в его время. Он — око и ум народа. Он высказывает то, что должно быть высказано. Вот почему автор «Слова» неразрывен и со своей эпохой, его породившей.

Его подлинным героем является русский народ и Русская земля. Образ Русской земли центральный в

«Слове». Автор представляет ее себе в широкой исторической перспективе, в образах ратных подвигов и мирного созидательного труда. Его произведение своими призывами к единению устремлено к будущему, полному для него светлых надежд, оно рисует картины печального настоящего и ищет корни этого настоящего в прошлом. Оно полно веры в будущее, скорби о настоящем, гордости прошлым и мудрого раздумья и над прошлым, и над настоящим, и над будущим, слитыми для него в едином образе Русской земли.

Кем был автор «Слова о полку Игореве»? Он мог быть приближенным Игоря Святославича: он ему сочувствует. Он мог быть и приближенным Святослава Киевского: он сочувствует также и ему. Он мог быть черниговцем и киевлянином. Он мог быть дружинником: дружинными понятиями он пользуется постоянно. Однако в своих политических воззрениях он не был ни «придворным», ни защитником местных тенденций, ни дружинником. Он занимал свою независимую патриотическую позицию. Его произведение — горячий призыв к единству Руси перед лицом внешней опасности, призыв к защите мирного созидательного труда русского населения.

* * *

Достиг ли призыв автора «Слова» тех, кому он предназначался? Можно предполагать, что в известной мере — да. Игорь Святославич отказывается от своих одиночных действий против половцев. В 1191 г. он организует целую коалицию против половцев. В походе, кроме Игоря Святославича, участвовали: Всеволод Святославич, Мстислав и Владимир Святославичи, сыновья Святослава Всеволодовича Киевского, Ростислав Ярославич, сын Ярослава Всеволодовича и сын Олега Святославича — Давыд. Поход этот был неудачен, но самая организация его в таких масштабах, думается, не случайна.

Однако подлинный смысл призыва автора «Слова», может быть, заключался не в попытке организовать тот или иной поход, а в более широкой и смелой задаче — объединить общественное мнение против феодальных раздоров князей, заклеймить в общественном мнении вредные феодальные представления, мобилизовать об-

щественное мнение против поисков князьями личной славы, личной чести и мщения или личных обид. Задачей «Слова» было не только военное, но и идейное сплочение русских людей вокруг мысли о единстве Русской земли. Вот почему автор «Слова» так часто и так настойчиво к этому общественному мнению апеллирует. Эта задача была рассчитана не на год и не на два. В отличие от призыва к организации военного похода против половцев, она могла охватить своим мобилизующим влиянием целый период русской истории — вплоть до татаро-монгольского нашествия. «Суть поэмы, — писал К. Маркс в письме к Энгельсу,— призыв русских князей к единению как раз перед нашествием собственно монгольских полчищ» [1].

---

[1] Маркс К. Письмо к Энгельсу от 5 марта 1856 года.— Маркс К. и Энгельс Ф. Собр. соч. Изд. 2-е, т. 29, с. 16.

УСТНЫЕ ИСТОКИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ «СЛОВА»

Истоки русской литературы — в дописьменной Руси. Своим необычайно быстрым ростом русская литература XI—XII вв. обязана прежде всего тому высокому уровню устного русского языка, на котором застает его появление и широкое распространение русской письменности.

Русский язык оказался способным выразить тонкости отвлеченной мысли, передать сложное историческое содержание всемирной и русской истории, ответить нуждам нового для Руси, но уже достаточно старого христианского культа, воплотить в себе изощренное ораторское искусство церковных проповедников, воспринять в переводах лучшие произведения европейской средневековой литературы. И это произошло потому, что созданию письменного литературного языка, в основу которого лег язык староболгарский, предшествовал устный литературный язык — язык устной литературы, содержание которой не покрывалось одним только фольклором.

В самом деле, общественный уклад древнерусской жизни способствовал развитию устной речи в ее самых разнообразных формах. Еще в период, предшествующий феодализации русского государства, общественный быт требовал постоянных устных выступлений: на вече, на сходках старейшин, при переговорах между племенами или с иноземными государствами, на пиршественных собраниях, столь типичных для дофеодального быта, на похоронах и тризнах. С краткими и энергичными речами обращались князья и воеводы к своим воинам перед выступлениями в поход или перед началом битвы, подавая им «дерзость» и побуждая к стойкости. Вот, например, известные речи князя Святослава Игоревича к своим дружинникам: «уже нам сде пасти; потягнем мужьски, братья и дружино» («Повесть временных лет»,

под 971 г.); «уже нам некамо ся дети, волею и неволею стати противу; да не посрамим земле Руские, но ляжем костьми, мертвии бо срама не имам...» и т. д. (там же). Эти речи Святослава в известной мере связаны со всей традицией русского воинского ораторского искусства. «Аще жив буду, (то) с ними, аще погыну, то с дружиною»,— говорит Вышата своей дружине («Повесть временных лет», под 1043 г.). «Потягнете, уже нам не лзе камо ся дети», — говорит Святослав Ярославич перед битвой с половцами («Повесть временных лет», под 1068 г). «Да любо налезу собе славу, а любо голову свою сложю за Рускую землю»,— говорит Василько Теребовльский («Повесть временных лет», под 1097 г.). С такими же речами обращается к своей дружине и герой «Слова о полку Игореве» Игорь Святославич Новгород-Северский перед битвой с половцами: «Братья! сего есмы искале, а потягнем» (Ипат лет., под 1185 г.) или: «Оже побегнемь, утечемь сами, а черныя люди оставим, то от бога ны будеть грех сих выдавше пойдемь; но или умрем, или живи будем на единомь месте» (там же).

Все эти речи свидетельствуют о высокой культуре устной воинской речи. В них чувствуется и княжеская ласка к дружинникам в назывании их «братьями», и отчетливое представление о воинской чести и чести родины, и мудрость воина. Но они поражают также стройностью и исключительным лаконизмом выражения.

По-видимому, яркой выразительностью отличались и речи, произносившиеся на пирах и тризнах. Пиры были широко распространены в быту княжеском, церковном, купеческом и крестьянском. О погребальных тризнах упоминают Ибн-Фадлан и русская летопись в рассказе о третьей мести княгини Ольги древлянам. О полуязыческих трапезах роду и рожаницам упоминают списки тех исповедальных вопросов, которые священники обязаны были задавать на духу. Сохранилось немало свидетельств и о мирских братчинах городских и сельских общин. Наконец, летопись донесла до нас многочисленные свидетельства о пирах князей с их широким гостеприимством. Они устраивались и по поводу вокняжения нового князя, и по поводу построения новой церкви или монастырской стены, и по поводу военных побед, и при дипломатических свиданиях русских князей. На пирах этих произносились похвальные речи, провозглашались

здравицы, произносились поучения «духовным отцом» за четвертой чашей. «Слово о богатом и убогом» говорит, что на пирах этих выступали «ласковьци, шьпилеве, праздьнословьцы, смехословьцы». Следов этого пиршественного ораторства до нас почти не дошло, но о наличии его выразительно свидетельствует надпись на «круговой» серебряной чаре Владимира Давидовича (1139—1151 гг.): «А се чара кня(зя) Володимирова Давыдовича, кто из нее пь(ет) тому на здоровья, а хваля бога своего и осподаря великого кня(зя)». Отзвуком такой хвалы князьям может быть является заключительная здравица в «Слове о полку Игореве»: «Солнце свѣтится на небесѣ, Игорь князь в Руской земли. Дѣвици поютъ на Дунаи, вьются голоси чрезъ море до Киева. Игорь ѣдетъ по Боричеву къ святѣй Богородици Пирогощей. Страны ради, гради весели. Пѣвше пѣснь старымъ княземъ, а потомъ молодымъ пѣти: Слава Игорю Святъславличю, буй туру Всеволоду, Владимиру Игоревичу. Здрави князи и дружина, побарая за христьяны на поганыя плъки! Княземъ слава а дружинѣ!»

Слава князьям провозглашалась не только на пирах. Ее пели победителю на улице или избранному князю на княжом дворе. Так было в 1068 г., когда киевляне, освободив Всеслава из поруба, «прославиша и́ (его) среде двора къняжа» («Повесть временных лет»). Так было в 1242 г., когда псковичи встречали Александра Невского при возвращении с Ледового побоища «поюще песнь и славу государю, великому князю Александру Ярославичу» [1]. Так было в 1251 г. при возвращении из победоносного похода Даниила Галицкого и его брата Василька: «и песнь славну пояху има, богу помогшу има, и придоста со славою на землю свою, наследивши путь отца своего великого Романа...» (Ипат. лет.).

Все эти формы устной речи были унаследованы Киевской Русью еще от периода патриархально-общинных отношений. В период раннего феодализма стихия устной ораторской речи получила еще ряд новых форм для своего развития — речи на княжеских снемах (съездах.— *Д. Л.*), крестоцеловальные речи на Любечском съезде 1097 г., на заседаниях Совета господ в Новгороде, при судопроизводстве и т. д. Наконец, в многочисленных переговорах князей между собой и в усилившихся сно-

---

[1] Житие Александра Невского в псковской редакции.

шениях с иноземными государствами развивалось искусство речи послов.

Влияние этой устной речи на литературу письменную не ограничивалось только исходными годами письменности. Оно было постоянным, крепло с годами, формировало язык письменности и служило неиссякаемым источником художественных образов, навыков простоты и лаконизма.

Сама устная речь не была неизменной. В XI—XII вв. в обиход общества входит густым потоком феодальная терминология. Развитие военного искусства сказывается на усложнении военной терминологии. Усложняются вопросы внутренней дипломатии, а с ними вместе усложняется и терминология, принятая в посольских переговорах. Развитие устного языка и письменного идет параллельно, оба влияют друг на друга, оба оказываются под всепоглощающим воздействием действительности, изменения форм общественной жизни.

Совершенно естественно, что влияние устной речи на письменную сказалось прежде всего на тех произведениях письменности, которые были посвящены русской действительности.

С особенной силой это воздействие устной речи сказалось в летописи. По летописи, главным образом, мы и можем судить об устной речи XI—XIII вв. В самом деле, именно летопись сберегла для нас многочисленные образцы устной речи XI—XIII вв. Этому способствовало особое отношение летописцев к тем элементам устной речи, которые они включали в свои записи.

Древняя русская письменность XI—XIII вв. почти не знает косвенной речи. Слова действующих лиц повествования, за редкими исключениями, передаются в форме прямой речи. Следовательно, место, занимаемое прямой речью в древнерусском повествовании уже в силу одного этого должно было быть и больше, и значительнее, чем впоследствии. Это не значит, однако, что, стесненный грамматическими трудностями, древнерусский автор пользовался прямой речью вместо косвенной, не задумывался над особенностями прямой (устной) речи как таковой. Ощущение «документальности» приводимой прямой речи было у древнерусского автора весьма отчетливым. Это в особенности касается древнерусского летописца. И к предшествующему тексту летописи, который летописец использовал в своем летописном своде,

и к самой действительности, которую он описывал, летописец относился как к документу. Ни произвольных добавлений в фактическую часть летописного рассказа, ни необоснованных утверждений летописцы, работавшие в XI — первой половине XV вв., как правило, не допускали [1].

И это, в особенности, относилось к прямой речи. Воспроизводя прямую речь, летописец стремился более или менее точно передать ее на основе предшествующей летописи, на основании того фольклорного произведения, содержание которого он излагает в летописи, или так, как она была произнесена или могла быть произнесена в действительности. Летописец стремился к точному воспроизведению действительности, почти не прибегая к помощи фантазии и домыслов.

Вот почему в летописи мы можем встретить следующие типы прямой речи:

1. Чаще всего летописец вносит в свою летопись жизненно реальную речь, воспроизводит действительно произнесенную речь как документ, по возможности не изменяя ее.

2. С другой стороны, прямая речь в летопись вносится на основании фольклорного произведения; в этом случае она отражает особенности фольклорной прямой речи [2].

3. Наконец, прямая речь вставлена в летопись вместе с отрывком житийного произведения (например, «Сказания о Борисе и Глебе»); в такой прямой речи может ощущаться сильный налет книжности: речи святого пересыпаны цитатами из молитв и псалмов — они по большей части не воспроизводят действительно произнесенные речи — и служат религиозно-нравственным целям.

Чисто литературные функции прямой речи, употребленной, скажем, для оживления действия, для характеристики действующего лица, для раскрытия его намерений и т. п., были неизвестны летописцам до конца XV в. Вернее, летописцы чуждались именно такого использования прямой речи, так как это внесло бы в их «своды»

---

[1] См. подробнее: Лихачев Д. О летописном периоде русской историографии. — «Вопросы истории», 1948, № 9, с. 28 и след.

[2] О фольклорном диалоге в летописи см.: Лихачев Д. С. Русские летописи. Л., 1948, с. 132 и след.

элемент вымысла [1]. Это не значит, конечно, что в произведениях древнерусских летописцев не было вымысла: летописец был чужд подлинного реализма, принимая за реально бывшее рассказы о чудесах, знамениях, явлениях и т. п. Но этот вымысел не вводился им в свои летописи сознательно,— летописец верил в существование в прошлом всего того, что он рассказывал.

Вот почему в летописи прямая речь по большей части занимает одно из центральных мест. Если прямая речь внесена в летопись не из другого книжного или фольклорного произведения, а записана в ней самим летописцем, то она всегда значительна по содержанию. Приводимые слова по большей части исторически важны. Их произносят не безымянные лица, а лица исторические. Слова эти важны как часть самой действительности. Они не подчинены литературным функциям, они вводятся не для «оживления» повествования, не для его «торможения», не для раскрытия мыслей и намерений действующих лиц, а потому, что они важны по своему историческому содержанию. Элемент «сочиненности» сведен в летописи до минимума. Летопись — прежде всего историческое произведение, и прямая речь в ней также исторична и документальна.

Вот почему в летописи прямая речь резко отличается в лексическом отношении и в своей художественной манере от остальной, чисто повествовательной части летописи. В первой — летописец зависит по преимуществу от самой устной речи, которую он и стремился воспроизвести во всей ее неприкосновенности. Во второй — влияния чисто книжные гораздо сильнее.

Этим обстоятельством обусловливается особенная ценность показаний прямой речи летописи (но преимущественно той, которая записана летописцем, а не привнесена им из фольклора или из произведений житийных) для установления особенностей устной речи своего времени и ее культуры.

В самом деле, вот перед нами новгородская «Повесть о взятии Царьграда фрягами», включенная в Новгородскую первую летопись под 1204 г. Повесть эта, как уже отмечалось в научной литературе, написана

---

[1] Об отрицательном отношении летописцев ко всякого рода вымыслу см. мою статью «О летописном периоде русской историографии». — «Вопросы истории», 1948, № 9, с. 23—24.

очевидцем царьградских событий 1204 г.[1]. Она написана точно и реально, но само собой разумеется, что греческая прямая речь действующих лиц не могла быть в ней записана с абсолютной точностью. Она передана в русском переводе — по смыслу. Любопытно, однако, что эта передача по смыслу сделана в формах устной русской речи.

Составитель «Повести о взятии Царьграда фрягами» живо отличает особенности устной речи от письменной и переводит греческую устную речь в типичных формах устной же речи. Живое ощущение устной речи не изменяет ему и здесь. Вот, например, типичные для русского воинского ораторства слова фрягов: «да луче ны есть умрети у Царяграда, нежели с срамомь отъити» (Новг. I лет., под 1204 г.). Вот почему и в других случаях в летописи прямая речь постоянно соответствует традициям устной речи, а не письменной — вне зависимости от того, передает ли она действительно произнесенные речи или только те, которые по предположениям летописца должны были быть произнесены.

* * *

Отношение к прямой речи как к своего рода документу, как к чему-то реально произнесенному и значительному в своей историчности позволило частично сохранить в этой прямой речи летописи образную, художественную систему устной речи, которой в собственном книжном изложении, в изложении от своего лица, летописец очень часто чуждался как простой, «некнижной». В самом деле, летописец опасался вводить в изложение от своего лица художественные приемы речи устной, делал это в ограниченных размерах, с разбором и выбором. Характерна в этом отношении оговорка, с помощью которой вводится им в летопись один из образов устной, обыденной речи. Летописец пишет: «В то же лето бысть буря велика, ака же не была николи же, около Котелнича, и разноси хоромы и товар и клети и жито из гумен, и спроста рещи яко рать взяла» (Ипат.

---

[1] История русской литературы, т. 1. М.—Л., 1941, с. 303 (автор раздела об этой повести — В. П. Адрианова-Перетц).

лет., под 1143 г.). Следовательно, введение образа из устной речи в изложение от своего лица иногда вызывало даже в летописце необходимость оговорки, своеобразного извинения перед читателем. Образ устной речи отчетливо осознавался как «некнижный», «простой». Совсем иное отношение у летописца к подобного рода образам, когда он передает их в чужой речи — в прямой речи действующих лиц его повествования. Прямая речь снимает как бы с него ответственность за ее «простоту», которую он по книжной средневековой традиции считал предосудительной. Это — документ, и здесь можно сохранять, следовательно, все особенности прямой речи во всей их неприкосновенности. И действительно, в прямой речи действующих лиц летописного повествования мы встречаем удивительное богатство творческой фантазии самого народа, ничем не сдерживаемый поток образной, лаконичной и удивительно выразительной живой устной русской речи. Повторяем: и в лексическом, и в грамматическом, а главное — в стилистическом отношении прямая речь в летописи резко отлична от всего остального повествования летописца.

Приведем несколько примеров образной устной речи, отраженной в летописи. Прямая речь насыщена сравнениями. Вот, например, сравнение неумолимо надвигающейся вражеской рати с падающим деревом: «И реша прузи ятвязем: «Можете ли древо поддрьжати сулицами, и на сию рать дерьзнути»?» (Ипат. лет., под 1252 г.). Или вот сравнение далеко зашедшей в чужие пределы рати с рыбами, оказавшимися на суше. Юрий Всеволодович говорит через послов Мстиславу Удалому перед Липицкой битвой: «Мира не хочем, а мужи у мене; а далече есте шли, и вышли есте акы рыбы на сухо» (Новг. I лет., по Синод. сп., под 1216 г.).

Особенно часто встречается в прямой речи метонимия. Ею буквально насыщена прямая речь летописи. Рогнеда говорит Рогволоду, отказываясь выйти замуж за «робичича» Владимира: «Не хочу розути робичича», разумея под «разуванием» — русский свадебный обряд, частью которого являлось разувание сапога мужа новобрачной; или известная метонимия из речи Вячеслава Киевского: «Аз уже бородат, а ты ся еси родил» (Ипат. лет., под 1151 г.).

Часть метонимий постоянно повторяется в летописи, различаясь лишь употреблением. Такова, например,

метонимия «голова» вместо «человек»: «не идеть место к голове, но голова к месту» (Ипат. лет., под 1151 г.); «а нам лучьше в чюжю голову, нежели в свою» (Ипат. лет., под 1169 г.); «зане сын твой ловить головы моея всегда» (Ипат. лет., под 1169 г.); «а он головы твоея ловить» (Лавр. лет., под 1177 г.); «добыл есми головою своею Киева и Переяславля» (Ипат. лет., под 1148 г.).

Такова же метонимия «ножь» или «меч» вместо «война», «усобица», «военные действия». Ср., например, слова, переданные Мономахом Давыду и Олегу Святославичам по поводу ослепления Василька Теребовльского: «Поидета к Городцю, да поправим сего зла, еже ся створи се в Русьской земьли и в нас, в братьи, оже ввержен в ны ножь» (Лавр. лет., под 1097 г.). Это выражение подхватывают Олег и Давыд, посылая к Святополку Изяславичу: «Что се зло створил еси в Русьстей земли, и ввергл еси ножь в ны» (Лавр. лет., под 1097 г.). Вместо слова «ножь» в Тверском сборнике здесь стоит «меч».

На метонимии же построена и большая часть терминов военных и феодальных: «рука» — власть, могущество; «стяг» — полк; «всесть на конь» — отправиться в поход и т. п.

Особенно оживляют устную речь неожиданные и смелые предположения, скрытая ирония, гиперболы.

Характерна в этом отношении речь Владимира Васильковича Волынского, которого мы можем охарактеризовать как большого мастера русской разговорной речи на основании того немногого, что нам сохранила из его речей летопись.

Вот что, например, говорит Владимир Василькович Мстиславу Даниловичу, начавшему еще до смерти Владимира распоряжаться его наследством: «Брате! ты мене ни на полону ял, ни копьемь мя еси добыл, ни из городов моих выбил мя есь, ратью пришед на мя, оже сяко чиниши надо мною». Дозволяя своей жене делать после своей смерти все, что ей заблагорассудится, Владимир Василькович так мотивирует это свое решение: «Мне не воставши (из гроба. — *Д. Л.)* смотрить, что кто иметь чинить по моемь животе (то есть после моей смерти.— *Д. Л.*)». В ответ на просьбу Юрия Львовича дать ему в наследство Берестье умирающий Владимир Василькович вытащил из своей постели пук соломы, показал ее своему слуге Ратьше, которого посылал

к Мстиславу Даниловичу, и произнес: «Хотя бых, ти, рци, брат мой, тот вехоть соломы дал, того не давай по моемь животе никому же».

Конкретность и образность характерны и для речи новгородцев. Когда Мстислав, изменив Новгороду, попытался затем в 1177 г. вернуться в Новгород, новгородцы сказали ему: «ударил еси пятою Новъгород... чему к нам идеши» (Лавр. лет., под 1177 г.). Когда Вячеслав, Изяслав и Ростислав выходили из Киева против Юрия Долгорукого, киевляне говорили им, собираясь выступить все вместе: «Ать же поидут вси, како можеть и хлуд (хлыст.— *Д. Л.*) в руци взяти; пакы ли хто не пойдеть, нам же и дай, ать мы сами побьемы» (Ипат. лет., под 1151 г.).

Особым лаконизмом, выработанностью формул, отчетливостью и образностью отличались речи, произносившиеся на вечевых собраниях. Несомненно, что вече выработало свои формы обращения к массе, умение сжато и энергично выразить политическую программу в легко доступной и легко запоминавшейся формуле. Образность и пословичность отличает эти вечевые обращения. В ответ на зов Мстислава Мстиславича пойти на Киев против Всеволода Чермного новгородское вече отвечало ему: «Камо, княже, очима позриши ты, тамо мы главами своими вържем» (Новг. I лет., под 1214 г.). Так же энергична и речь посадника Твердислава на новгородском вече: «Даже буду виноват, да буду мертв; буду ли прав, а ты мя оправи, господи» (Новг. I лет., под 1218 г.).

Летопись донесла до нас много речей, произносившихся послами. По самому своему содержанию эти речи послов были гораздо более разнообразны и сложны, чем речи воинские и даже вечевые. В них меньше традиционных формул, шаблонных оборотов. Вместе с тем они легко заимствуют отдельные формулы из практики иной устной речи — вечевой, воинской, даже разговорной. Однако чем сложнее были задачи, ставившиеся дипломатическому языку, тем более блестяще они разрешались.

Прежде всего поражает своеобразный образный лаконизм посольских речей: «Оже есте мой Городець пожгли и божницю, то я ся тому отъожгу противу»,— говорит Юрий Долгорукий через послов Святославу Ольговичу (Ипат. лет., под 1152 г.). Юрий Всеволодович следующим образом формулировал свое требование,

переданное через новгородских послов: «Выдайте ми Якима Иванковиця, Микифора Тудоровиця, Иванка Тимошкиниця, Сдилу Савиниця, Вячка, Иванца, Радка; не выдадите ли, а я поил есмь коне Тьхверью, а еще Волховомь напою» (Новг. I лет., под 1224 г.).

Особенное значение в устной речи имела всегда выразительная антитеза: «Да аще (вам.— *Д. Л.*) любо, да седита, аще ли ни, да пусти Василка семо» («Повесть временных лет», под 1100 г.); «А поиди, а мы с тобою, не идеши ли, а мы есмь в хрестьном целовании правы» (Ипат. лет., под 1148 г.); «Годно ти ся с ним (Юрием.— *Д. Л.*) умирити — умиришися, пакы ли а рать зачнеши с ним» (Ипат. лет., под 1154 г.); «Аще ты ратен — си ратни же, аще ты мирен, а си мирни же» (Лавр. лет., под 1186 г.) и т. д.

Не следует думать, что система художественных средств устной речи была каждый раз плодом индивидуальной изобретательности. В дальнейшем мы увидим, что она в сильнейшей степени зависела от самой действительности, от воинской, феодальной символики, и этим объясняется ее относительная устойчивость.

В Ипатьевской летописи сказано: «Всеволод же толма бившееся, яко и оружья в руку его не доста» — это говорится о Всеволоде буй туре, брате Игоря Святославича, в описании знаменитой битвы Игоря на реке Каяле (Ипат. лет., под 1185 г.).

Тот же художественный образ находим мы спустя столетие в «Повести о разорении Рязани Батыем»: «Еупатию тако их бьяше нещадно, яко и мечи притупишася, и емля татарскыя мечи и сечаша их» (цит. по сп. Волоколамск., ГБЛ, 526, XVI в.).

Привычка к конкретному мышлению сказывается во многих из «речей» летописи. «Брате!— говорит Мстислав Изяславич Владимиру Мстиславичу Дорогобужскому,— хрест еси целовал, а и еще ти ни уста не осхла» (Ипат. лет., под 1169 г.). Сходный образ находим мы спустя сто лет в летописи волынской уже не в прямой речи, а в повествовании самого летописца: «Лев же убояся того (угрозы татарского нашествия.— *Д. Л.*) велми, и еще бо ему не сошла оскомина Телебужины рати».

Устная речь оказывает постоянное воздействие на речь древнерусского автора. Она постепенно входит в письменность через прямую речь и остается в речи

авторской. Замечательный пример тому — произведения Мономаха. «А бога деля,— просит Владимир Мономах Олега Святославича,— пусти ю (вдову его сына Изяслава.— *Д. Л.*) ко мне вборзе с первым сломь, даже с нею кончав слезы, посажю на месте, и сядеть акы горлица на сусе древе желеючи...» (Лавр. лет., под 1096 г.). Или другой пример из тех же сочинений Мономаха: «И ехахом сквозе полкы половьчские, не в 100 дружине, и с детми и с женами. И облизахутся на нас акы волци стояще...» (Лавр. лет., под 1096 г.).

Влияние устной речи на произведения Владимира Мономаха сказывается не только в заимствовании из нее художественных образов, но и в самом построении фраз: «Дивно ли, оже мужь умерл в полку ти?»; «аще ли лжю, а бог мя ведаеть и крест честный»; «оли то буду грех створил, оже на тя шед к Чернигову, поганых деля, а того ся каю» и т. п. «Поучение» Мономаха как бы рассчитано на произнесение вслух. Возможно, что Мономах его диктовал или, когда писал, представлял себя произносящим его.

Однако самый яркий пример связи языка письменности с устной речью дает «Слово о полку Игореве».

* * *

Образная устная русская речь XI—XII вв. во многом определила собой поэтическую систему «Слова о полку Игореве».

Нельзя думать, что между обыденной речью и речью поэтической лежит непреодолимая преграда. Качественные различия обыденной речи и поэтической допускают все же переходы обыденной речи в поэтическую и не отменяют наличия художественной выразительности в речи обыденной, каждодневной, прозаической и деловой. По большей части эта художественная выразительность в обыденной речи служит подсобным целям, оттеснена на второй план, но она тем не менее ярко ощущается и окрашивает язык XI—XII вв. с большей или меньшей интенсивностью.

Важно отметить, однако, что поэтическая выразительность того или иного слова, целого речения находится в тесной зависимости от поэтической выразительности того конкретного явления, с которым оно связано,

Язык и действительность переплетались в средневековой Руси особенно тесным образом. Эстетическая ценность слова зависела в первую очередь от эстетической ценности того явления, которое оно обозначало, и вместе с тем самое явление, с которым это слово было связано, воспринималось как явление общественной жизни, в тесном соприкосновении с деятельностью человека. Вот почему в Древней Руси мы обнаружим значительные явления жизни, которые служили неиссякаемым родником поэтической образности. В них черпал свою поэтическую конкретность древнерусский устный язык, а с ним вместе и древнерусская поэзия. Земледелие, война, охота, феодальные отношения — то, что больше всего волновало древнерусского человека, то в первую очередь и служило источником образов устной речи.

Замечательно, что все привлекаемые и вводимые автором «Слова» образы имеют идейную задачу. Эстетический и идеологический момент в образе неотделимы в «Слове о полку Игореве», и в этом одна из его особенностей, как и всякого подлинно художественного произведения.

В самом деле, обычные образы народной поэзии, заимствованные из области земледелия, входят не только в художественный замысел автора «Слова», но и в идейный.

Образы земледельческого труда всегда привлекаются автором «Слова» для противопоставления войне. В них противопоставляются созидание разрушению, мир — войне. Благодаря образам мирного труда, пронизывающим всю поэму в целом, она представляет собой апофеоз мира. Она призывает к борьбе с половцами для защиты мирного труда в первую очередь: «тогда при Олзѣ Гориславличи сѣяшется и растяшеть усобицами, погибашеть жизнь Дажьбожа внука»; «тогда по Руской земли рѣтко ратаевѣ кикахуть, нъ часто врани граяхуть, трупиа себѣ дѣляче, а галици свою рѣчь говоряхуть, хотять полетѣти на уедие»; «чръна земля подъ копыты костьми была посѣяна, а кровию польяна: тугою взыдоша по Руской земли»; «на Немизѣ снопы стелють головами, молотятъ чепи харалужными, на тоцѣ животъ кладутъ, вѣютъ душу отъ тѣла. Немизѣ кровави брезѣ не бологомъ бяхуть посѣяни, посѣяни костьми рускихъ сыновъ».

В этом противопоставлении созидательного труда разрушению, мира — войне автор «Слова» привлекает не только образы земледельческого труда, свойственные и народной поэзии (как это неоднократно отмечалось), но и образы ремесленного труда, в народной поэзии отразившиеся гораздо слабее, но как бы подтверждающие открытия археологов последнего времени о высоком развитии ремесла на Руси: «тъй бо Олегъ мечемъ крамолу коваше и стрѣлы по земли сѣяше»; «и начяша князи... сами на себѣ крамолу ковати»; «а князи сами на себе крамолу коваху»; «ваю храбрая сердца въ жестоцемъ харалузѣ скована, а въ буести закалена».

Поразителен по наглядности образ ковки крамолы мечом,— на нем мы еще остановимся в дальнейшем, сейчас же отметим, что это противопоставление мира войне пронизывает и другие части «Слова». Автор «Слова» обращается к образу пира как апофеоза мирного труда: «ту кровавого вина не доста; ту пиръ докончаша храбрии русичи: сваты попоиша, а сами полегоша за землю Рускую». С поразительной конкретностью противопоставляя русских их врагам, он называет последних «сватами»: Игорь Святославич, как мы уже отмечали, действительно приходился «сватом» Кончаку (дочь Кончака была помолвлена за сына Игоря — Владимира). Отсюда следует, что образ пира-битвы не просто заимствован из фольклора, где он обычен, а умело осмыслен применительно к данному конкретному случаю. Той же цели противопоставления мира войне служат и женские образы «Слова о полку Игореве»— Ярославны и красной Глебовны.

Перед нами, следовательно, целая политическая концепция автора «Слова о полку Игореве», в которую, как часть в целое, входят традиционные образы устной речи: «битва — молотьба», «битва — пир» и т. д.

Итак, автор «Слова о полку Игореве» углублял, развивал старые образы, раскрывал их значение, детализировал их, заставлял читателя ярко почувствовать их красоту. Он брал то, что уже было в русском поэтическом языке, брал общее, а не случайное, брал укоренившееся.

Откуда же берет автор «Слова о полку Игореве» эти привычные формы? Здесь и фольклор, но здесь и образная система деловой речи, образы, легшие в основу военной лексики и лексики феодальной. Автор «Слова

о полку Игореве» поэтически развивает существующую феодальную символику.

Деловая выразительность превращается под его пером в выразительность поэтическую. Терминология получает новую эстетическую функцию. Он использует богатства русского языка для создания поэтического произведения, но это поэтическое произведение не вступает в противоречие с деловой прозой, а, наоборот, вырастает на ее основе. Автор «Слова» дает ей только иную функцию. Образы, которыми пользуется «Слово», никогда не основываются на внешнем сходстве. Они не являются плодом индивидуального изобретательства автора. Автор «Слова» не создает совершенно новых эстетических связей, не устанавливает совершенно новых метафор, метонимий, эпитетов на основе меткого нахождения новых эстетических соответствий.

Образы, которыми пользуется автор «Слова», вырастают на основе реально существующих отношений в жизни. Художественное творчество автора «Слова» состоит во вскрытии того образного начала, которое заложено в устной речи, в специальной лексике, в символике феодальных отношений, в действительности, в общественной жизни и в подчинении этого образного начала определенному идейному замыслу.

Автор «Слова» отражает жизнь в образах, взятых из этой самой жизни. Он пользуется той системой образов, которая заложена в самой общественной жизни и отразилась в речи устной, в лексике феодальной, военной, земледельческой, в символическом значении самих предметов, а не только слов, их обозначавших. Образ, заложенный в термине, он превращает в образ поэтический, подчиняет его идейной структуре всего произведения в целом. И в этом последнем, главным образом, и проявляется его гениальное творчество.

Вот почему и поэтическая понятность «Слова» была очень высока. Новое в ней вырастало на многовековой культурной почве и не было от нее оторвано. Поэтическая выразительность «Слова» была тесно связана с поэтической выразительностью русского языка в целом.

В этом использовании уже существующих богатств языка, в умении показать их поэтический блеск и значительность и состоит один из элементов народности поэтической формы «Слова». «Слово» неразлучимо

с культурой русского языка в целом, с деловой речью, с образностью военной, феодальной, охотничьей, трудовой лексики, а через нее и с русскою действительностью. Автор «Слова» прибегает к художественной символике, которая в русском языке XI—XII вв. была тесно связана с символикой феодальных отношений, даже с этикетом феодального общества, с символикой военной, с бытом и трудовым укладом русского народа. Привычные образы получают в «Слове о полку Игореве» новое звучание. Можно смело сказать, что «Слово» приучало любить русскую обыденную речь, давало почувствовать красоту русского языка в целом; вместе с тем поэтическая система «Слова» вырастала на почве русской действительности.

Обратимся к раскрытию этой поэтической системы «Слова» на конкретных примерах.

* * *

Остановимся прежде всего на военной терминологии «Слова» и на тех образах, которые из этой терминологии выросли в «Слове».

Русский язык XI—XIII вв. имел разветвленную и обильную терминологию, связанную с особенностями военного быта того времени. Эта терминология создавалась постепенно по мере усложнения самого военного обихода. В создании ее участвовало творческое, художественное воображение народа. Многочисленность и точность этой терминологии служат одним из важных показателей высоты культуры устного русского языка.

Здесь, в этой военной терминологии XI—XII вв., мы встретим и термины приготовления к выступлению в поход: «возостриться на рать» (Ипат. лет., под 1174 г.), «доспевать», «сложиться на рать», «встать на рать» («и сложишася Олговичи и Давидовичи и всташа вси на рать». — Лавр. лет., под 1135 г.), «подострívать кого-либо на рать», «сложить путь» («И сложи Изяслав путь с Ростиславом и со Мьстиславом на Гюргя». — Ипат. лет., под 1158 г.).

Здесь и термины выступления в поход: «всесть на конь», «дерзнуть на врагов» («дерзнути на половце». — Лавр. лет. под 1102 г.; «дерзну с дружиною своею и победи поганыя». — Лавр. лет., под 1125 г.),

Здесь и термины приготовления к бою: «заложиться» (Лавр. лет., под 1150 г.), «укреплять на брань» (Лавр. лет., под 1151 г.), «скрутиться в броне» (Лавр. лет., под 1220 г.), «изнарядить полки» или «изрядить полки» (Ипат. лет., под 1174 г. и под 1195 г.).

Здесь и термины, означающие построение полков перед битвой: «крылья» (Ипат. лет., под 1151 г.), «чело» (Лавр. лет., под 1025 г.) и др.

Здесь и термины, означающие различные моменты боя: «поскок» («под Ростиславом же на первем поскоце лете под ним конь». — Ипат. лет., под 1154 г.), «поткнуть» («угри... не постряпуче поткнуша по нем». — Лавр. лет., под 1152 г.), «преломить копье», «поломить полк» «сразившима же ся челома, и тако полониша ляхове полк Шварнов» (Ипат. лет., под 1268 г.), «вдать плещи» и мн. др.

Здесь и термины осады и обороны городов: «отвердить город» (Лавр. лет., под 1150 г.), «твердая места» (укрепленные места: «и поидоша во твердая места».— Ипат. лет., под 1182 г.), «вбить в город» («наши же... вбиша я во град».— Лавр. лет., под 1220 г.), «взять на щит», «взять копием» и др.

Здесь и термины обращения с оружием: «потягнуть стрелою» («и один с города потягнув стрелою, удари в горло». — Ипат лет., под 1157 г.), «зарезать» (ножом), «ударить копием».

Весьма важно отметить, что многие из выражений летописи, считавшиеся литературными трафаретами и «элементами изложения» воинских повестей [1], на самом деле являются обычными воинскими терминами, хорошо известными не только в авторской речи летописца, но и в передаваемой им прямой речи.

В самом деле, выражение «на щит» отнюдь не книжное. Оно имелось и в живой речи. Владимир Галицкий говорит жителям Мичьска («мьчаном»): «дайте ми серебро, что вы яз хочю; пакы ли я възму вы на щит» (Ипат. лет., под 1152 г.). Удостоверением устного происхождения этих слов Владимира Галицкого служит не только их помещение в летописи в форме прямой речи, но и сохранение живых интонаций устной речи.

---

[1] Орлов А. С. Об особенностях формы русских воинских повестей. — ЧОИДР. М., 1902.

Вообще следует сказать, что многие из образов в летописных описаниях битв в гораздо большей степени обязаны жизни, чем литературной традиции. Так, например, обычное в русской литературе XI—XVII вв. (а отчасти и в фольклоре) сравнение летящих стрел с дождем обязано своей устойчивостью в литературе, несомненно, самой действительности, живому употреблению его в устной речи, а не литературной традиции.

В самом деле, сравнение это имеет в виду не ожесточенность боя вообще, а совершенно конкретные случаи: массовое применение стрел — либо в начале боя, когда важно было расстроить сомкнутый строй противника, нарушить его боевой порядок, либо в момент приступа, когда надо было заставить осажденных покинуть забрала. «От подобных осад и остались стрелы, изобилующие... в культурном слое некоторых городов», — пишет А. В. Арциховский [1].

Выпустить по противнику как можно больше стрел в такие моменты было совершенно необходимо. Только к этим моментам «массированной» стрельбы и применялось сравнение летящих стрел с дождем, с градом, с тучей или для подчеркивания наступившей темноты от стрел: «стрелы омрачиша свет побеженым» (Ипат. лет., под 1240 г.); «стрелам яко дожду идущу на град их» (Ипат. лет., под 1245 г.).

Аналогичное сравнение применялось и тогда, когда речь шла не о стрелах, а, например, о камнях, и это показывает, что перед нами не литературные трафареты. «Ляхом же крепко борюще, и сулицами мечюще и головнями, яко молнья идяху, и каменье яко дождь с небеси идяше» (Ипат. лет., под 1251 г.); «ляхове пущахуть на ня каменье, акы град сильный» (Ипат. лет., под 1281 г.). В этом последнем примере нет литературного трафарета, так как вместо стрел — камни, а вместо дождя — град, но весь образ тот же и вызвавшие этот образ приемы боя — те же.

Совершенно прав А. В. Арциховский [2], когда пишет в своем исследовании о древнерусском оружии: «В разгаре боя или приступа стрелы сыпались дождем. Это

---

[1] Арциховский А. В. Русское оружие X—XIII вв. — «Доклады и сообщения исторического ф-та МГУ», вып. 4, М., 1946, с. 13.
[2] Там же.

сравнение возникло уже в древней Руси»[1]. К этому положению мы должны прибавить только следующее: сравнение это возникло не в литературе, а в действительности. В литературу оно пришло из жизни, и устойчивость его поддерживалась устным употреблением, а не литературной традицией. Образ в данном случае породил термин, а термин основывался на образе.

Это родство терминологии и образов мы видим также и в «Слове о полку Игореве». Оно ярко проступает в выражении «Слова» «итти дождю стрѣлами съ Дону великого». Здесь обычный только что разобранный нами военный термин «обернут» и превращен в образ. Вместо термина «итти стрелам как дождю» автор говорит наоборот «итти дождю стрѣлами» — и этим самым обнажает заключенный в термине образ, лишая его характера термина.

Однако в основном, строя свою образную поэтическую систему, автор «Слова» прибегает не к этому способу. Он пользуется символикой, образами, метонимиями, выработавшимися в действительности, в живой речи, лишь немногими штрихами оживляя их звучание, употребляя их с полною точностью и подчеркивая идейное содержание каждого образа.

* * *

Целый ряд образов «Слова о полку Игореве» связан с понятием «меч»: «Олегъ мечемъ крамолу коваше»; Святослав Киевский «бяшеть притрепалъ... харалужными мечи» ложь половцев; Игорь и Всеволод «рано еста начала Половецкую землю мечи цвѣлити»; «половци... главы своя подклониша подъ тыи мечи харалужныи»; Изяслав Василькович «позвони своими острыми мечи о шеломы литовьскыя», а сам был «притрепанъ литовскыми мечи»; обращаясь к Ярославичам и Всеславичам, автор «Слова» говорит: «Вонзите свои мечи вережени».

Такое обилие в «Слове о полку Игореве» образов, связанных с мечом, не должно вызвать удивления. С ме-

---

[1] Ср. противоположное утверждение А. С. Орлова, считавшего это сравнение «греческой по происхождению формулой» (О некоторых особенностях стиля великорусской исторической беллетристики XVI—XVII вв.). — «Изв. ОРЯС». СПб., 1904, кн. 4, с. 367.

чом в древнерусской жизни был связан целый круг понятий. Меч был прежде всего символом войны. Ср., например, в Новгородской первой летописи: «Что есмы зашли Водь, Лугу, Пльсков, Лотыголу мечемь, того ся всего отступаем» (Новг. I лет. под 1242 г.). Кроме того, «обнажить мечь» означало «открыть военные действия», «напасть». С другой стороны, меч был эмблемой княжеской власти. Это особенно ярко сказалось в рассказе Лаврентьевской летописи о том, как Всеволод Большое Гнездо отправлял в Новгород своего сына Константина: «И да ему отец крест честны и меч, река: се ти буди охраньник и помощник, а меч прещенье и опасенье, аже ныне даю ти пасти люди своя от противных» (Лавр. лет., под 1206 г.). Меч и оружие были вместе с тем и символами независимости («присла... мечь и покорение свое». — Ипат. лет., под 1255 г.; или: «Данилу же короleву ставшу в дому Стекинтове, принесе к нему Лев оружье Стекинтово и брата его, и обличи победу свою» — Ипат. лет., под 1255 г.).

Наконец, меч был символом русского народа (в рассказе «Повести временных лет» о дани, собиравшейся хазарами с русских мечами, и в рассказе об обмене подарками между русским воеводой Претичем и печенежским князем). Меч был священным предметом. На мечах клялись русские при заключении договоров с греками (911 и 944 гг.). Этот культ мечей перешел и в христианскую эпоху. «Мечи тех князей, которые причислялись к святым,— пишет А. В. Арциховский,— сами становились предметами культа. Уже Андрей Боголюбский имел при себе меч Бориса (1137 г.); летопись прямо говорит: «...и поставиша над ним его меч, иже и доныне стоит, видим всеми». Меч Всеволода до сих пор показывают во Пскове...»[1] Меч употреблялся высшими дружинниками и князем. Он был оружием феодальной аристократии по преимуществу. Любопытно, что его не поднимали против смердов. Новгородский князь Глеб поднял на восставших в Новгороде топор, а не меч (1071 г.); топором же расправлялся с восставшими и Ян Вышатич на Белоозере (1071 г.).

Вот почему все образы «Слова», связанные с мечом, полны сложного и глубокого значения, объясняемого

[1] Арциховский А. В. Русское оружие X—XII вв., с. 10.

многозначностью, смысловою насыщенностью слова «меч».

«Вонзите свои мечи вережени» — призывает русских князей автор «Слова», иначе говоря: прекратите военные действия, в которых вы — обе стороны (и Ярославичи, и Всеславичи) — потерпели поражение. Половцы «главы своя подклониша подъ тыи мечи харалужныи» — и здесь слово «мечи» употреблено во всем богатстве его значений: повержены половцы мечом войны и мечом власти. «Подклонить головы под меч» — означает одновременно и быть ранеными, и быть покоренными.

Но особенно интересно применение слова «меч» во фразе: «Олегъ мечемъ крамолу коваше». Выражения «ковать ложь», «ковать лесть» обычны в древнерусской письменности: «неведый лесть, юже коваше нань Давыд» (Ипат. лет., под 1097 г.); «не преподобно бо есть ковати ков на брата своего»[1]. Автор «Слова» конкретизирует это выражение тем, что вводит в него понятие меча, которым Олег кует «ложь», «лесть» — «крамолу». В этом гениальном образе ковки крамолы мечом воплотилось то же противопоставление мирного труда войне, что и в обычном для «Слова» образе битвы-жатвы, но с предельным лаконизмом, причем вся богатая семантика слова «меч» вложена в этот образ: Олег злоупотребил своею властью — «мечем», куя им крамолу: он ковал крамолу «мечем» — междоусобной войной; каждый взмах меча Олега как молотом усиливал, «ковал» эту крамолу, укреплял ее; и само употребление священного меча для крамолы выступает как «святотатство». Множество ассоциаций ковки и войны встает в этом образе: крамола раскалена, как железо на наковальне, поле битвы — наковальня (ср. «притрепан литовскыми мечи... на кров») и т. д.

Это не означает, что автор «Слова» вложил все эти значения в свой образ, но это значит, что все эти ассоциации имеют силу в этом образе. И вместе с тем автор «Слова» не «выдумал» свой образ. Он в новом гениальном сочетании употребил тот образ, который уже находился в обыденной речи того времени, в символике общественных отношений XII в.

---

[1] Паремийное чтение о Борисе и Глебе. — В кн.: Жития Бориса и Глеба. Под ред. Д. И. Абрамовича. Пг., 1916, с. 117.

* * *

Наряду с мечом важное значение в «Слове о полку Игореве» имеет и стяг.

Стягами и хоругвями в Древней Руси подавали сигналы войску. В битве с их помощью управляли движением войск. Стяг — «стягивал» к себе воинов. «Возволоченный» стяг служил символом победы, поверженный стяг — символом поражения, отступления, бегства. «К стягу собирались дружинники после победы или поражения (если их преследовали); стяг был важнейшим ориентиром среди тысяч разнообразных шеломов и панцырей. По положению стягов определяли положение войск, расстановку сил» [1].

Приведем примеры именно такого употребления стягов: «нашимь же ставшим межи валома, поставиша стяги свои, и поидоша стрелци из валу; и половци, пришедше к валови, поставиша стягы своя» (Лавр. лет., под 1093 г.); «Ростиславу же и Борисови и Мстиславу не ведущим мысли брата своего Андреа, яко хощеть ткнути на пешие, зане и стяг его видяхуть не възволочен» (Лавр. лет., под 1149 г.); «Мьстиславичи же не доехавше повергоша стяг» (Ипат. лет., под 1177 г.).

Хоругвь или стяг служили знаком того или иного князя или даже всей Руси в целом (в сражениях с иноземцами): «и видящим стягы отца своего...» (Лавр. лет., под 1149 г.); «половци же видивше стягы Ростиславли» (Ипат. лет., под 1191 г.); «аще Руская хоруговь станеть на заборолех, то кому честь учиниши?» (Ипат. лет., под 1229 г.); «Даниил... позревь же семь и семь и види стяг Василков» (Ипат. лет., под 1231 г.) и т. д.

Стягом и хоругвью подавали обычно боевой знак: в 1146 г. киевляне посылали к Изяславу Мстиславичу со словами: «Ты нашь князь, поеди, Ольговичев не хочем быти акы в задничи; где узрим стяг твой, ту и мы с тобою готови есмь» (Ипат. лет., под 1146 г.); в 1159 г. галичане посылали к Ивану Берладнику, «веляче ему всести на коне, и темь словом поущивають его к собѣ, рекуче: толико явишь стягы, и мы отступим от Ярослава...» (Ипат. лет., под 1159 г.); в 1254 г. Даниил Романович, взяв чешский город Опаву, «постави хоруговь свою на граде и обличи победу» (Ипат. лет. под 1254 г.).

---

[1] История культуры Древней Руси, т. 1. Л., 1949, с. 413.

Стяг был символом чести, славы. Не случайно Давыд Ростиславич говорит об умершем Владимире Андреевиче: «того стяг и честь с душею исшла» (Ипат. лет., под 1171 г.).

Все эти значения слова «стяг», вернее реальную действительность самих стягов в древнерусском военном обиходе, следует учитывать и при толковании соответствующих мест «Слова о полку Игореве». В самом деле, что означает обращение автора «Слова» к потомству Ярослава и Всеслава: «Уже понизите стязи свои». Понизить, повергнуть или бросить стяг имело лишь одно значение — признание поражения. И значение этого призыва — «понизите стязи свои», то есть признайте себя побежденными,— поддерживается и дальнейшими словами автора: «вонзите свои мечи вережени. Уже бо выскочисте изъ дѣдней славѣ». Автор этим своим обращением к Ярославичам и Всеславичам хочет указать им на бессмысленность и пагубность для обеих сторон междоусобных войн; в них нет победителей: «обе стороны признайте себя побежденными, вложите в ножны поврежденные в междоусобных битвах мечи; в этих битвах вы покрыли себя позором».

То же значение — поражения — имеет и выражение «третьяго дни къ полуднию падоша стязи Игоревы». Это даже не образ — здесь это военный термин, но термин, употребленный в поэтическом контексте, и здесь, в этом поэтическом контексте, обновивший лежащий в его основе образ. Стяги Игоря падают — это реальный знак поражения: падают реальные стяги. Но указание на этот факт знаменательно — оно лаконично и образно указывает на поражение Игорева войска.

Следовательно, в основе этого выражения лежит не литературный образ, а реальный факт, но факт сам по себе говорящий, символика военного обихода.

Отсюда нетрудно понять и выражение «Слова» «стязи глаголют» — то есть стяги свидетельствуют о том, что половцы двигаются в боевом порядке (под стягами) на русских. Это значение поддерживается всем контекстом, в котором употреблено выражение «стязи глаголют». «Слово о полку Игореве» говорит здесь о движении половцев, последовательно описываемом сперва издали, а затем все ближе и ближе. Сперва только приметы и предчувствия появления половцев: «ту ся копиемъ приламати, ту ся саблямъ потручяти». Затем

в рассыпном строю первыми появляются стрелки, начинающие, как обычно в XI—XIII вв., бой издали. Это начало боя ассоциируется одновременно с началом грозы (образы «Слова» многозначны, насыщены различными ассоциациями): «...се вѣтри, Стрибожи внуци, вѣютъ съ моря стрѣлами на храбрыя плъкы Игоревы». Затем земля начинает гудеть под копытами конного войска: «земля тутнетъ»[1]. Новый момент наступления половцев: степные реки взмутнены от переходящего вброд конного войска половцев «рѣкы мутно текуть». Пыль от движения войска покрывает поля: «пороси поля прикрываютъ». Вот видны уже и стяги, указывающие («глаголющие»), что половцы идут в боевом порядке, «под стягами». Вот уже половцы окружили русских: «половци идуть отъ Дона, и отъ моря, и отъ всѣхъ странъ Рускыя плъкы оступиша». Наконец половцы настолько близки, что слышен и их «клик», которым они «перегородили» поля. После этого автор «Слова», все время устремлявший внимание читателя к приближающемуся войску половцев, с тем чтобы заставить его пережить самому неуклонное наступление врага, короткой фразой обращает внимание читателя к русскому войску: «а храбрии Русици преградиша чрълеными щиты».

Итак, «говорить» о наступлении половцев могли только стяги половцев, а не русских. Автор «Слова» последовательно описывает наступление половцев. Нет, следовательно, нужды видеть в выражении «стязи глаголютъ» какого-то одушевления этих стягов, якобы предсказывающих нападение половцев. Движение половцев не стоит предсказывать — оно видно и слышно: о движении половцев говорит пыль, поднятая их войском, топот копыт, стяги, их клики[2].

Слово «стяг» имело в древнерусском языке и еще одно значение — «полк, войско» (ср.: «позрев же семь и семь и види стяг Василков стояще и добре борющь и угры гонящу».— Ипат. лет., под 1231 г.). Это значе-

---

[1] Значение слова «тутнетъ» — гудит под копытами лошадей — см. в одной из «Повестей о Мамаевом побоище»: «великия силы придоша, яко и земля тутнаше...» (следовательно, «тутнет» земля от движения войска).

[2] В связи с таким пониманием выражения «стязи глаголют» следует несколько иначе ставить знаки препинания в этом месте, чем это принято в последних изданиях: «Стязи глаголютъ — половци идуть». Дальше начинается новая фраза: «Отъ Дона, и отъ моря, и отъ всѣхъ странъ рускыя плъкы оступиша».

ние слова «стяг» находим мы в том месте «Слова о полку Игореве», где автор воспроизводит бравурную поэтическую манеру Бояна: «Комони ржуть за Сулою,— звенить слава въ Кыевѣ; трубы трубять въ Новѣградѣ,— стоять стязи въ Путивлѣ», то есть: «Едва только вражеские кони появились за пограничной рекой Сулой, как слава о русской победе над врагами уже звенит в Киеве. Едва только трубы затрубили в Новгороде Северском, созывая войска, как войско («стязи») уже собралось в Путивле» (южный пункт Новгород-Северского княжества, откуда новгород-северские войска выступали против половцев).

Наконец, следует обратить внимание и на следующее место «Слова», где «стяги» вновь выступают в их символическом значении: «сего бо нынѣ сташа стязи (то есть приготовились к походу.— *Д. Л.*). Рюриковы, а друзии — Давидовы, нъ розно ся имъ хоботы пашутъ». Здесь следует прежде всего обратить внимание на слово «розно». Оно не однажды употребляется в летописи для обозначения княжеской розни, но в сочетании со «щитами» — символами защиты, обороны. Ср. в летописи — венгерский король передает следующие слова Изяславу Мстиславичу Киевскому: «...царь на мя грецкый въставаеть ратью, и сее ми зимы и весны нелзе на конь к тобе всести; но обаче, отце, твой щит и мой не розно еста» (то есть я с тобою продолжаю находиться в оборонительном союзе) (Ипат. лет., под 1150 г.); или: «и рекоша ему (Роману.— *Д. Л.*) Казимеричи: «мы быхом тобе раде помогле, но обидить нас стрый (дядя. — *Д. Л.*) свой Межька, ищеть под нами волости; а переже оправи нас, а быхом быле все ляхове не розно, но за одинем быхом щитом быле (вси) с тобою и мьстили быхом обиды твоя» (Ипат. лет., под 1195 г.).

В «Слове о полку Игореве» мы находим вместо «щитов» «стязи» — очевидно, потому, что речь идет не о совместной защите (где было бы уместнее говорить о «щитах»), а о совместном наступлении на степь, причем образ этот конкретизирован тем, что эти стяги представлены с развевающимися полотнищами («хоботами»), а самое понятие «розно» относится к этому развеванию. Таким образом, обычный термин для обозначения союзных или не союзных отношений («твой щит и мой не розно еста») конкретизирован, превращен в зрительно четкий образ. И здесь, как и в других случаях, автор

«Слова» не изобретает новых образов, сравнений, поэтических троп,— он как бы вылущивает их из того, что уже имелось в языке, в сознании народа, в военном и феодальном обиходе своего времени, благодаря чему его образы легко воспринимались, были близки читателю.

* * *

Наряду с «мечом», «стягом», сложными ассоциациями был окружен в Древней Руси XI—XIII вв. и другой предмет вооружения русских войск — «копье». Реальное значение «копья» выходило за пределы только предмета вооружения.

По поводу копья А. В. Арциховский пишет: «Важнейшим оружием наравне с мечом было, конечно копье... по курганным данным копье демократичнее меча. Но ни один обладатель меча, хотя бы и самого хорошего, без копья в бою обойтись не мог, потому что это оружие достает дальше. Длина древнерусского меча 70—90 см, длина копья, судя по изредка встречаемым в курганах остаткам древков, 1,5—2 м. Даже князь, если ему приходилось лично вступать в бой, пользовался копьем... Древко в бою, сослужив свою службу, ломалось быстро. Копье могло треснуть и от собственного удара, но чаще об этом, конечно, заботились неприятели» [1].

Характерно, что битва ассоциировалась прежде всего с этим ломанием копий: «ту бе видети лом копийный и звук оружьный» (Ипат. лет., под 1174 г.); «ту беяше лом копейный» (Новг. IV лет., под 1240 г.).

Аналогично этому, и в «Слове о полку Игореве» битва ассоциируется прежде всего с этим ломанием копий: свое предвидение битвы автор «Слова» конкретизирует словами: «ту ся копиемъ приламати».

Поскольку копье было оружием первой стычки и почти всегда ломалось в ней, нам становится понятным и обычный в летописи термин—«изломить копье», употреблявшийся для обозначения того, что воин первым принял участие в битве. Вот примеры, когда князь ломает копье в первой же стычке: «въеха Изяслав один в полкы ратных и копье свое изломи» (Лавр.

---

[1] Арцихо вский А. В. Русское оружие X—XIII вв., с 11.

лет., под 1147 г.); Андрей Боголюбский «въехав преже всех в противныя, и дружина его по нем, и изломи копье свое в супротивье своем» (Лавр. лет., под 1149 г.); «Андрей же Дюргевичь възмя копье и еха наперед и съехася переже всих и изломи копье» (Ипат. лет., под 1151 г.); «Изяслав же Глебовичь внук Юргев доспев с дружиною возма копье потъче к плоту кде бяху пеши вышли из города, твердь учинивше плотомь. Он же въгнав за плот к воротам городнымь, изломи копье» (Лавр. лет., под 1184 г.).

Иногда выражение «изломить копье» употреблялось только для обозначения первой боевой схватки князя, его личного участия в единоборстве перед общей битвой. «И тако перед всими полкы въеха Изяслав один в полкы ратных и копье свое изломи» (Ипат. лет., под 1151 г.). Этими словами летописец подытоживает свой предшествующий рассказ, где более подробно описывалось личное участие Изяслава в битве.

Итак, «изломить копье» — это символ вступления в единоборство, символ личного участия князя в битве. Упоминание «изломления копья» подчеркивает, что князь не только руководил сражением, но и сам единоборствовал, вступал в схватку с неприятелем. «О того же гордаго Филю, Льв, млад сы, изломи копье свое» (Ипат. лет., под 1249 г.) — говорит летописец, подчеркивая этим не потерю копья (оружия, как мы видели, дешевого), а факт единоборства Льва Даниловича с воеводой Филой.

Совсем иной характер носит термин «изломить копье» в статье 18-й «Краткой Правды»: «А иже изломить копье, любо щит, любо порт, а начнеть хотети его держъжати у себе, то приати скота у него; а иже есть изломил, аще ли начнеть приметати, то скотом ему заплатити, колько дал будеть на нем». Здесь выражение «изломить копье» не носит характера военного термина и военного символа. Его значение не шире его реального непосредственного представления.

Отсюда ясно, что слова Игоря Святославича «хощу бо... копие приломити конець поля Половецкаго...» заключают в себе типичный для военной символики XII в. образ, точное значение которого следующее: «Хочу вступить в единоборство в начале Половецкого поля». Образ этот не измышлен автором «Слова».

Со словом «копье» в летописях связывается целый ряд и других значений: «сунуть копием» (Лавр. лет., под 946 г.), «ударить копием» (Лавр. лет., под 945 г.), «побадыватися копьи» (Ипат. лет., под 1281 г.), «взять копием» и «добыть копием». На этих последних выражениях следует остановиться подробнее. Вот их реальное употребление в летописи: «одоле Святослав и взя град копием» (Лавр. лет., под 971 г.); под 1097 г. в Лаврентьевской летописи Володарь и Василько «взяста копьем град Всеволож», ср. также «взяша град Рязань копьем» (Ипат. лет., под 1237 г.). Ср. слова Владимира Васильковича брату Мстиславу: «брате! ты мене ни на полону ял, ни копьем мя еси добыл, ни из городов моих выбил мя еси» (Ипат. лет., под 1287 г.). Вся эта символика, связанная в Древней Руси, с «копьем», придает особый оттенок выражению «Слова» «дотчеся стружиемъ злата стола киевьскаго». Всеслав Полоцкий не взял Киев «копием» — он только «доткнулся» его, всего семь месяцев пробыв киевским князем в 1068 г. Он взял его не военной силой, но и не мирным путем, придя к власти через восстание киевлян. Он «доткнулся» золотого киевского стола «стружием» — древком копья; сейчас бы мы сказали «прикладом».

Загадочным представляется в «Слове» только выражение «копиа поютъ». В XII в. копье не было метательным оружием[1]. Следовательно, здесь говорится не о пении копья в полете, подобном пению летящих стрел или летящих камней[2]. Фраза не укладывается в текст «Слова» и ритмически. Она как бы оборвана, а возможно и искажена.

---

[1] А. В. Арциховский пишет: «...Копье на Руси предназначалось не для метания, а для удара. Метательное оружие... называлось иначе (сулица. — *Д. Л.*). Только в виде исключения, да и то в предыдущую эпоху, в X в. упоминается метание копья: «...суну копьем Святослав древляны, и копье лете сквозе уши коневи, удари в ноги коневи, бе бо детеск. И рече Свенелд и Асмолд: князь уже почал; потягните, дружина, по князе». Здесь метание копья мальчиком князем есть своего рода обряд, которым начинается бой» (Арциховский А. В. Русское оружие X—XIII вв., с. 11—12).

[2] Иосиф Флавий: «И камень метаху пороками, и сулицы из лук пущаеми шумяху» (место не переводное, а русское). — В кн.: Барсов Е. В. «Слово о полку Игореве» как художественный памятник киевской дружинной Руси, т. I М., 1887, с. 244.

* * *

В дружинном быту Древней Руси такое же особое место, как предметы вооружения — меч, копье и щит, занимал боевой конь воина. В XII и XIII вв., в отличие от X и XI вв., русское войско было по преимуществу конным[1]. Этого требовала прежде всего напряженная борьба с конным же войском кочевников. Но и вне зависимости от этого княжеский конь был окружен в феодальном быту особым ореолом. Летописец Даниила Галицкого уделяет особенное внимание любимым боевым коням своего господина (Ипат. лет., под 1213 и 1255 гг.). Летописец Андрея Боголюбского отводит особое место описанию подвига его коня, спасшего Андрея, и отмечает ту «честь», которую воздал ему Андрей, торжественно его похоронив, «жалуя комоньства его» (Лавр. лет., под 1149 г.).

Это особое положение боевого коня в феодальном быту XII—XIII вв. придавало ему особую смысловую значительность. В коне ценилась прежде всего его быстрота. Это создало эпитет коня «борзый», встречающийся и в летописи (Ипат. лет., под 1213 г.), и в «Слове» («А всядемъ, братие, на свои бързыи комони»).

С конем же был связан в феодальном быту целый ряд обрядов. Молодого князя постригали и сажали на коня. После этого обряда «посажения на коня», или «посага», князь считался совершеннолетним.

Одним из наиболее значительных моментов выступления войска в поход была посадка войска на коней. Вот почему в летописи «сесть на коня» означало «выступить в поход». Отсюда такие выражения, как «сесть на коня против кого-либо», или «сесть на коня на кого-либо», или «сесть на коня за кого-либо»: «и вседоша (на кони) на Володимерка на Галичь» (Лавр. лет., под 1144 г.); «а сам Изяслав вседе на конь на Святослава к Новугороду иде» (Ипат. лет., под 1146 г.); Всеволод «вседе на конь про свата своего» (Лавр. лет., под 1197 г.).

Характерно это употребление единственного числа «всесть на конь», даже если речь идет о войске, о дружине или о нескольких лицах. Перед нами метонимия, ставшая в полном смысле термином, с утратой перво-

[1] История культуры Древней Руси, т. 1, с. 404 и след.

начального значения. Иное дело в «Слове о полку Игореве», где обычно вскрывается, возрождается первоначальный образ, лежащий в основе того или иного термина или ставшего ходячим выражения. В «Слове» мы читаем: «А всядемъ, братие, на свои бръзые комони», а не «комонь», или «конь», как обычно говорится в летописи.

Летопись отмечает немало случаев, в которых слово «конь» входит в состав различных военных терминов, образованных путем метонимии: «ударить в коня» означает пуститься вскачь (Лавр. лет., под 1178 г.); «поворотить коня» — уехать, отъехать или вернуться [«и повороти коня (единственное число. — *Д. Л.*) Мстислав с дружиною своею от стрыя своего». — Лавр. лет., под 1154 г.]; «взять за повод» — остановить («берендееве же яша за повод, рекуще: „Княже, не езди"». — (Лавр. лет., под 1169 г.), «быть на коне», «иметь под собою коня» означало готовность выступить в поход [ср.: «И рекоша ему (Изяславу. — *Д. Л.*) угре: „мы гости есме твои; оже добре надеешися на кияны, то ты сам ведаеши люди своя, а комони под нами"». — (Ипат. лет., под 1150 г.)].

Употребление части вместо целого как основы многих терминов XI—XII вв. еще более ясно проступает в выражении, которое встречается только в «Слове о полку Игореве»: «вступить в стремень» — в том же значении, что и обычное «всесть на конь», то есть «выступить в поход». Это выражение «вступить в стремень» построено по тому же принципу, что и ряд других терминов и метонимий «Слова», летописи и обыденной, живой речи XI—XIII вв. Характерно при этом употребление термина «вступить в стремя» с предлогом «за»: «Вступита, господина, въ злата стремень за обиду сего времени, за землю Рускую, за раны Игоревы, буего Святъславлича!», дающего полную аналогию вышеразобранному термину летописи «всесть на конь за кого-либо».

Вдевание ноги в стремя было самым важным моментом посадки князя на коня. В миниатюре Радзивиловской летописи на листе 234-м изображен именно этот момент: оруженосец стоит на одном колене и держит одной рукой стремя, а другой — узду, в то время как князь Святослав вдевает ногу в стремя. Перед нами ритуал — «рыцарский», дружинный. Автор «Слова»,

создавая данный образ, не отступил от своего поэтического принципа: он берет не случайную ассоциацию, не просто характерное положение, а тот момент, который и в самой действительности считался значительным и отмечался некоторым этикетом.

В известном смысле стремя было таким же символическим предметом в дружинном быту XI—XIII вв., как и меч, копье, щит, стяг, конь и проч. «Ездить у стремени» — означало находиться в феодальном подчинении. Так, например, Ярослав (Осмомысл) говорил Изяславу Мстиславичу через посла: «ать ездить Мьстислав подле твой стремень по одиной стороне тебе, а яз по другой стороне подле твой стремень еждю, всими своими полкы» (Ипат. лет., под 1152 г.). Кроме вассальной зависимости, нахождение у стремени символизировало вообще подчиненность: «галичаномь же текущимь у стремени его» (Ипат. лет., под 1240 г.).

Во всех приведенных нами выше выражениях «стремя» выступает только как символ власти феодала. Все это придает особую значительность выражению «Слова» «вступить в стремя». Вступали в стремя только князья; когда же речь идет о дружине, автор «Слова» употребляет обычное выражение «всесть на кони»: «А всядемъ, братие, на свои бръзыя комони»,—обращается Игорь к своей дружине, но не «вступим в стремень». Ведь вступают в стремя только князья: «тогда въступи Игорь князь въ златъ стремень и поѣха по чисту полю»; Олег «ступаеть въ златъ стремень въ градѣ Тьмутороканѣ»; «въступита, господина, въ злата стремена» — обращается автор «Слова» к Рюрику и Давыду Ростиславичам. В этом различии, которое делает автор «Слова», несомненно, сказалась его хорошая осведомленность в ритуале дружинного быта.

Встает еще один вопрос — не было ли таким же символом власти, положения в известном отношении и «седло». Если это так, то это ввело бы в тот же круг художественного мышления автора «Слова» и другое выражение: «высѣдѣ из сѣдла злата, а въ сѣдло кощиево». «Седло злато» — это седло княжеское. Только княжеские вещи имеют этот эпитет — «стремя», «шлем», «стол» (престол). Конечно, в основе этого эпитета лежат и реальные предметы, покрывавшиеся позолотой

лишь в дорогом обиходе князя, но автор «Слова о полку Игореве» отлично понимал и другое: ритуальную соотнесенность этих двух понятий — «княжеского» и «золотого» — как присущего специфически княжескому быту. Вот почему и само «слово» князя Святослава «золотое». Совсем иное в «Задонщине», где эта связь золота и князя утрачена, ср.: «гремят удальцы рускыя золочеными доспехы»[1] — о русском войске: «А в них сияють доспех[и] золочены[е]», «злаченым доспѣхом посвѣчива[ет]» и Пересвет «Рускии сынове поля широкыи кликом огородиша, золочеными [доспѣхи] осветиша»[2].

* * *

В устройстве древнерусских городов такими же исполненными символического значения предметами были городские ворота и забралы стен. Я подчеркиваю, что значением этим обладали не слова «ворота» и «забралы», а самые вещи — самые материальные явления. Так же точно и не слова «меч», «копье»... имели значимость феодальной символики, а самые предметы — сам меч, само копье, в силу чего они входили в ритуал, в обрядность, в этикет. На мечах клялись, мечи почитали, меч хранили, мечом «пасли» — посвящали в высший ранг феодального общества, меч давали князю при отправке его на княжение и т. д. и т. п.

Символическое значение городских ворот было также хорошо известно в Древней Руси.

Мы можем догадываться, что не все ворота в городе обычно бывали облечены этим символическим значением, а только главные. Не случайно полотнища главных ворот обивались медными золочеными листами и на них ориентировалась архитектурная мысль строителей древнерусских городов (ср. Золотые ворота в Киеве и во Владимире). Исследователь Ярославова города в Киеве М. К. Каргер пишет по поводу киевских Золотых ворот этого Ярославова города: «Главными воротами города, парадным городским порталом становятся южные Золотые ворота. Только эти ворота особо упомянуты в летописях и проложных сказаниях о строительной

---

1 ТОДРЛ, т. VI. М.—Л., 1948, с. 226.
2 Там же, с. 228, 229, 231.

деятельности Ярослава. Только над этими воротами Ярослав соорудил надвратный храм. Именно с этими воротами связано наибольшее количество древних киевских легенд. Именно у этих ворот устраивали киевляне не раз торжественные встречи. Именно в эти ворота стремились войти и непрошеные гости, прохождением через Золотые ворота стремившиеся подчеркнуть свою победу над Киевом. Все парадное строительство Ярослава развертывается в южной части города, между Золотыми воротами и Софийским собором»[1].

Особое значение главных ворот города в символике древнерусского феодализма не могло не отразиться и в языке. Ударить, «сечь» в ворота означало напасть на город. В описании битвы под Киевом 1151 г. в Ипатьевской летописи говорится: «ту же и Севенча Боняковича дикаго половцина убиша, иже бяшеть рекл: „Хощю сечи в Золотая ворота, яко же и отець мой“». Севенч Бонякович имеет в виду события 1096 г., когда Боняк напал на Киев «и мало в град не въехаша», разгромил его «болонье» и Киево-Печерский монастырь, но самого города не взял. Севенч не надеется взять Киев, но он хочет «сечи» в его ворота, то есть напасть на него и погромить его округи.

Открыть главные ворота города или затворить их имело символическое значение. Действия эти свидетельствовали о желании горожан сложить оружие или оказать сопротивление. Именно в связи с этим образовался ряд выражений. Вместо того чтобы сказать, что горожане решили сопротивляться, в летописи очень часто говорится «затвориша врата»; вместо того чтобы сказать, что город сдался, в летописи найдем «отвориша врата»: «придоша ляхове на Володимер, и отвориша им врата володимерци» (Ипат. лет., под 1204 г.), «а вышегородци поклонишася, отвориша врата» (Новг. I лет. по Синод. сп., под 1214 г.).

В громадном большинстве случаев эти термины «отвориша врата» и «затвориша врата» употребляются без слова «врата». Так, например, в Ипатьевской ле-

---

[1] Каргер М. К. Резюме доклада «Архитектурный ансамбль Ярославова города в свете археологических исследований», прочитанного в Ленинградском отделении Института истории материальной культуры АН СССР 18 июня 1949 г. (рукопись). Подробнее о Золотых воротах см. у него же: «Древний Киев», т. 2. М.—Л., 1961, с. 237—249.

тописи под 1123 г. рассказывается о том, как Ярослав Святополчич подошел к городу Владимиру Волынскому и сказал: «То есть град мой; оже ся не отворите, ни выйдете с поклоном, то узрите завътра приступлю к граду и възму город». Или: «Гюргий же приде к Белугороду, и рече белогородцем: „Вы есте люди мои; а отворите ми град“. Белогородци же рекоша: „А Киев ти ся кое отворил?“» (Ипат. лет., под 1151 г.) и т. д.[1]

«Слово о полку Игореве», с его стремлением к конкретности образов, никогда не употребляет выражения «отворить» или «затворить» без прибавления «врата». Автор «Слова» не пользуется этими сокращениями и ходовыми выражениями. Он прибавляет «врата» и тем конкретизирует термин, возвращает ему наглядность и художественную силу: «затворивъ Дунаю ворота», «отворяеши Киеву врата» (о Ярославе Осмомысле), «отвори врата Новуграду» (о Всеславе Полоцком).

Это чувство конкретности художественного образа, лежащего в основе термина, особенно ярко проступает в «Слове о полку Игореве» в обращении к Инъгварю, Всеволоду и всем трем Мстиславичам: «Загородите полю ворота своими острыми стрѣлами».

В основе своей слова эти не выдуманы автором «Слова о полку Игореве». Сходные слова мы прочтем и в рассказе Ипатьевской летописи о походе Игоря Святославича. В летописи они вложены в уста Святослава Всеволодовича: «воздохнув» и утерев слезы (ср. «слезами смешено»), произнес: «о люба моя братья и сыновѣ и муже земле Руское! дал ми бог притомити поганыя; но не воздержавше уности отвориша ворота на Русьскую землю». В этих деловых словах нет художественного значения. «Отворить ворота» — здесь только термин, означающий «впустить врагов». Однако автор «Слова о полку Игореве» использует этот термин с художественным умением. Он не говорит «затворите полю ворота», как мы ожидали бы, если бы автор «Слова» использовал это выражение только как термин. Термин этот автор «Слова» ощущает во всей его конкретности. Вот почему он не может допустить в данном случае

[1] «...И не сме затворитися в Киеве один» (Ипат. лет., под 1174 г.); «и затвори все кыяны» (Ипат. лет., под 1174 г.); «затворися в городе» (Ипат. лет., под 1175 г.); «отвори град» (Лавр. лет., под 1186 г.); «затвори город» (Ипат. лет., под 1288 г.).

слишком прямого, зрительно ясного понимания этого термина, так как в широких просторах степных границ Руси было бы антихудожественным представить себе конкретные ворота, при этом еще отворявшиеся и затворявшиеся. Поэтому автор «Слова» говорит не «затворите ворота», а «загородите ворота». Следующими тремя словами окончательно отводится зрительный конкретный образ полотнищ ворот. В «Слове» сказано: «своими острыми стрѣлами». Перед глазами читателя встают не конкретные ворота, а «ворота» — как некоторая брешь, как гигантский вход на Русскую землю, который можно только загородить летящими стрелами.

В «Слове», наконец, имеется и еще одно выражение, связанное с теми же воротами: Ярослав Осмомысл Галицкий высоко сидит на своем златокованом столе, «заступивъ королеви путь, затворивъ Дунаю ворота». Смысл этого выражения, очевидно, в том, что галицкий князь Ярослав затворил не какие-то воображаемые или действительные ворота Дуная (в этом смысле термин этот никогда не употребляется), а затворил ворота своей земли *от* Дуная. Как явствует из всех приведенных выше примеров, «отворить» ворота можно и свои, и чужие (последние насильно), «затворить» ворота можно только свои. Выражение это, следовательно, отнюдь не означает, что Ярослав «затворил ворота *на* Дунае», или «Дунайские», а затворил их *от* стран, находящихся по Дунаю, в первую очередь от Византии, с которой Ярослав на Дунае имел смежные границы (ср. выше «загородите полю ворота», то есть «от поля»).

* * *

Выше мы показали некоторые художественные образы «Слова о полку Игореве», выросшие на почве военной символики, военной терминологии и военных обычаев XI—XII вв. Символика феодального быта также отразилась в «Слове».

Феодальный быт XI—XII вв. был связан на Руси со сложным этикетом. Этикет этот распространялся на весь быт верхов феодального общества: княжеский, дружинный, боярский. Княжеские постриги и обряд посажения князя на коня (Ипат. лет., под 1192 г.), совещания на ковре (Лавр. лет., под 1100 г.: «да се еси

пришел и седишь с братьею своею на одином ковре»), совещания верхом на конях (Ипат. лет., под 1150 г.), заключение мира, выступление в поход и т. д. — все это было обставлено известным церемониалом, в свою очередь отразившимся в языке — в появлении новых терминов и в обрядовых формулах. Так, например, выражение «стать на костях» — выражение, обычно означающее «одержать победу»,— не является просто формулой воинских повестей, а связано с каким-то церемониальным моментом, о котором нам напоминают немногие лишь намеки в летописи («и Льв ста на месте, воиномь посреде трупья, являюща победу свою». — Ипат. лет., под 1249 г.).

Попали в летопись и некоторые из словесных формул, употреблявшихся в церемониале. Так, например, в настойчиво повторяющейся летописью формуле «а ты нашь князь» можно подозревать формулу принятия князя горожанами (Ипат. лет., под 1150, 1154, 1159, 1289 гг.; во всех этих случаях, принимая князя, горожане говорят ему эти слова; ср. также в новгородских летописях).

Поговорка «Мир стоить до рати, а рать до мира», очевидно, употреблялась как приглашение начать мирные переговоры (Ипат. лет., под 1148 и 1151 гг.).

Такую же формулу мы можем подозревать и в известном лирическом, дважды повторенном, восклицании «Слова» «А Игорева храбраго плъку не крѣсити». Эта формула возникла еще в дофеодальный период. По-видимому, первоначально она означала отказ от родовой мести. Именно в этом смысле ее употребляет Ольга: «уже мне мужа своего не кресити» (Лавр. лет., под 945 г.). В таком смысле она употребляется изредка и позднее. В 1015 г. Ярослав говорит новгородцам про свою побитую дружину: «уже мне сих не кресити». Словами этими Ярослав отказывается от мести за свою дружину. В 1148 г. именно этой формулой Ольговичи отказываются от мести за убийство Игоря Ольговича: «уже намь не воскресити брата своего, князя Игоря Ольговича» (Никон. лет., под 1148 г.). Однако с отмиранием обычаев родового общества формула эта стала употребляться как обычное утешение, как признание невозвратимости утраты. Эти слова говорит Изяслав Мстиславич Изяславу Давидовичу, утешая его в смерти брата: «и слыша Изяслав плачющася над братомъ своимъ Володимеромъ, и тако оставя свою немочь, и

всадиша и на конь и еха тамо, и тако плакашеть над ним, акы и по брате своем; и долго плакав, а рече Изяславу Давыдовичю: „Сего нама уже не кресити...“» (Ипат. лет., под 1151 г.).

В «Слове о полку Игореве» эта формула «уже не кресити» употребляется не как формула отказа от мести, а в более новом значении — как формула утешения. Здесь в контексте «Слова» как формула утешения она приобретает и особое лирическое звучание[1].

* * *

С феодальными счетами связан целый ряд терминов: «явить вину» (Лавр. лет., под 1097 г.), «учинить неправду», «погубить правду» («Мне еси учинил неправду, а себе еси погубил».— Ипат. лет., под 1254 г.), «подкладывать вину» (Ипат. лет., под 1105 г.), «отдать гнев» (Ипат. лет., под 1195 г.), «держать гнев» (Ипат. лет., под 1251 г.), «предаться» (Лавр. лет., под 1127 г.), «утвердиться» («утвердиться с людьми».— Ипат. лет., под 1154 г.), «соступиться чего-либо» («съступи Дюрги Киева».— Ипат. лет., под 1149 г.), «иметь часть в чем-либо» («тако ли мне части нету в Руской земли».— Ипат. лет., под 1148 г.), «ловить голову» («ловять головы моея». — Ипат. лет., под 1189 г.), и др.

В одном случае автор «Слова» использует и переиначивает формулу раздела феодальных притязаний: «се мое, а то твое». Формула эта неоднократно встречается в договорах князей между собой.

Она связана обычной антитезой: «мы собе, а ты собе», «твой мець, наше голови», «яко земля ваша, тако земля моя» и т. д.

Вот раздел Изяслава Мстиславича с Владимиром и Изяславом Давыдовичами. Изяслав Мстиславич говорит: «Что же будеть Игорева в той волости, челядь ли товар ли, то мое; а что будеть Святославе челядь и товара, то разделим на части» (Ипат. лет., под 1146 г.).

Автор «Слова о полку Игореве» нарушает эту двучастность, он сатирически изображает договоры князей и пишет не «се мое, а то твое», а «се мое, а то мое же»,

[1] Лихачев Д. С. Необходимые разъяснения. — «Русская литература», 1976, № 4, с. 103—104.

подчеркивая этим стремление князей захватить себе как можно больше. Таким образом, и здесь термин, формула перерастает в образ, становится средством художественного воздействия.

* * *

К феодальной терминологии принадлежит и слово «обида». Его значение не покрывается понятием «оскорбление» или современным значением слова «обида»[1]. Его основное значение в XII—XIII вв. — нарушение права, несправедливость. Это значение выработалось в обстановке усиленных феодальных счетов. Первоначальное его значение как нарушения права отчетливо выступает уже в «Русской Правде»: «Оже ли себе не можеть мьстити, то взяти ему за обиду 3 гривне, а летцю мъзда» (2-я статья «Краткой Правды»); «Аще утнеть мечем, а не вынем его, любо рукоятью, то 12 гривне за обиду» (4-я статья «Краткой правды»; ср. статьи «Краткой правды» 7, 11, 13, 15, 19, 29, 33, 37, 43 и «Пространной правды» 23, 34, 46, 47, 59, 60, 61).

Впоследствии слово «обида» все чаще и чаще употребляется в отношении нарушений именно княжеских феодальных прав и приобретает все более и более отвлеченное значение. Так, например, Изяслав Мстиславич отрядил брата своего Владимира к венгерскому королю со словами: «Оже, брате, твоя обида, то не твоя, но моя обида, пакы ли моя обида то твоя» (Ипат. лет., под 1150 г.); в другом случае Изяслав Мстиславич и Вячеслав отрядили Мстислава Изяславича к венгерскому королю со словами: «Нама дай бог неразделно с тобою быти ни чим же, но а что твоя обида кде, а нама дай бог ту самем быти за твою обиду» (Ипат. лет., под 1151 г.); венгерский король в свою очередь передал Изяславу: «Отце! кланяютися, прислал еси ко мне про обиду галичкаго князя, а яз ти зде доспеваю...» (Ипат. лет., под 1152 г.). Ср. также: «Отец твой бяше слеп, а яз отцю твоему до сыти послужил своим копием и своими полкы за его обиду» (Ипат. лет., под 1152 г.); «И послаша

---

[1] В «Материалах для Словаря древнерусского языка» И. И. Срезневского слово «обида» имеет только значения «обида», «оскорбление», «ссора» и «вражда».

Лариона сочьскаго къ Гюргю: „Кланяем ти ся; нету ны с тобою обиды, с Ярославомь ны обида“»; «а в обиду его дай ми бог голову свою сложити за нь» (Ипат. лет., под 1287 г.); «стоять за тобою во твою обиду» (Ипат. лет., под 1287 г.), и т. д.

Из приведенных примеров ясно, что мстить друг другу обиды, стоять за свою обиду и обиду своего главы было главною обязанностью феодала.

Значение этого понятия «обида» было очень велико в феодальном обществе.

Автор «Слова о полку Игореве» олицетворяет эту обиду: «въстала обида въ силахъ Дажьбожа внука». Это выражение — «въстала обида» — следует сопоставить с аналогичным выражением летописи — «встало зло» (ср. в словах Мономаха под 1097 г.: «то болшее зло встанеть в нас», — Лавр. лет.). Это обычное древнерусское выражение автор «Слова» использует как исходный момент для целой картины. Здесь, как и в других местах, автор «Слова о полку Игореве» ощущает язык во всей его конкретности; термин рождает образ; термин «встала обида» рождает образ девы обиды: «въстала обида въ силахъ Дажьбожа внука, вступила дѣвою на землю Трояню, въсплескала лебедиными крылы на на синѣмъ море у Дону; плещучи, убуди жирня времена».

Но самым замечательным в употреблении термина «обида» является другое. Слово «обида» в летописи употребляется не одну сотню раз. Оно употребляется во всех случаях, когда речь идет о нарушении или возможном нарушении прав князя, княжества, города («где будеть обида Новугороду, тобе потянути за Новъгород с братом своим» — «Договорная грамота» Тверского великого князя Михаила Ярославича с Новгородом 1301—1302 гг.) или даже монастыря («а от кого будет какая обида нашему монастырю, ино досмотрят и боронить нам самим». — Запись при кн. Еванг. чт. Публ. библ. д. 1400 г.[1]). Однако в летописи термин этот никогда не употребляется в отношении всей Русской земли в целом. Иначе в «Слове о полку Игореве»: «Вступита, господина (Рюрик и Давыд Ростиславичи. — *Д. Л.*), въ злата стремень за обиду сего времени,

---

[1] Срезневский И. Материалы для Словаря древнерусского языка, т. II. СПб., 1902, с. 503.

за землю Рускую, за раны Игоревы, буего Святъславлича!»; «въстала обида въ силахъ Дажьбожа внука» (то есть в русских войсках в целом). Тем самым автор «Слова» открывал путь для более широкого понимания слова «обида», освобождал это понятие от его феодальной ограниченности, обращал внимание читателей на обиду всей Русской земли в целом.

Здесь, как и в других местах «Слова», автор его пользуется привычными выражениями, привычными образами своего времени, но придает им художественное содержание и влагает в них элементы новой идеологии, более широкого взгляда на единство Руси — взгляда, который затем возобладает в первые годы татаро-монгольского нашествия (в «Слове о погибели Русской земли», в «Житии Александра Невского» и пр.).

* * *

Такое же переосмысление феодальных понятий видим мы и в следующих словах «Слова о полку Игореве»: «Бориса же Вячеславлича слава на судъ приведе». Битва между феодалами, междоусобная битва часто рассматривалась в XI—XII вв. как суд божий, как суд оружием в феодальных спорах: выигравший битву оказывается и оправданным этим «судом божиим». Так, например, в 1151 г. Изяслав Мстиславич Киевский перед битвой у Перемышля с Владимирком Галицким говорит: «се уже мы идем на суд божий» (Ипат. лет., под 1151 г.). Вот почему все требования князей друг к другу подкреплялись этим указанием на божественный суд: «а како нам бог дасть» (Ипат. лет., под 1150 г.); «акоже ти с ним бог дасть» (там же); «ать вси по месту видим, што явить ны бог» (Ипат. лет., под 1151 г.); «а тогда како ны бог дасть с ним» (там же); «да бог за всим» (там же); «оже бог дасть» (там же); «а то богови судити» (там же), «како нам с ним бог дасть» (Ипат. лет., под 1152 г.), «како ми с ним бог дасть, да любо аз буду в Угорьской земли, либо он в Галичьской» (там же); «а нама с королем с тобою како бог дасть» (там же), «како ны с ними бог дасть и святая богородица» (Лавр. лет., под 1176 г.); «как ны бог дасть» (Ипат. лет., под 1185 г.), «но како ны бог дасть» (там же), «што нам бог даст» (Ипат.

лет., под 1194 г.); «не хощеши ли того створити, а за всим бог» (там же); «ныне же, брате, поеди, а видеве оба по месту, что нам бог дасть, любо добро, любо зло» (там же), и т. д. и т. п.

Автор «Слова» пользуется дважды этим типичным для XII в. представлением о битве как о высшем суде, но с характерным отличием: битва для него не суд между спорящими князьями, не суд о том, кто из них прав, а суд над всей деятельностью князя; судится не спор между князьями, судится сам князь за все его поступки: «Бориса же Вячеславлича слава на судъ приведе и на Канину зелену паполому постла за обиду Олгову, храбра и млада князя». Здесь нет и намека на то, что суд этот божий. Здесь, как и в других местах «Слова», элементы христианского объяснения отсутствуют в «Слове» (см. об этом также наст. изд., с. 80) и самое понятие суда шире, чем феодальное представление о битве как о суде оружием. Ближе всего к этому выражению «Слова о полку Игореве» — «Бориса же Вячеславлича слава на судъ приведе» слова Мстислава Владимировича в письме к своему отцу — Владимиру Мономаху по поводу гибели своего брата Изяслава в сражении с Олегом «Гориславичем»: «а братцю моему суд пришел».

Наконец, то же широкое и мудрое представление о судьбе человека как о суде за всю его деятельность, но на этот раз в христианской трансформации, встречаем мы в «Слове» в оценке всей деятельности Всеслава Полоцкого: «Тому вѣщей Боянъ и пръвое припѣвку, смысленый, рече: „Ни хытру, ни горазду, ни птицю горазду суда божиа не минути“».

И здесь, следовательно, привычное для XII в. представление в «Слове» получает художественное звучание и более широкое идейное содержание. Понятие «суда божьего» автор «Слова» понял и более широко, и более по-народному, чем это было принято в феодальной среде его времени: суд божий свершается не только над людьми, но и над птицами.

* * *

Мы видели выше, что многое в художественных образах «Слова» рождалось самою жизнью, шло от разговорной речи, от терминологии, принятой в жизни,

из привычных представлений XII в. Автор «Слова» не придумывал новых образов. Многозначность таких понятий, как «меч», «копье», «щит», «стяг» и т. д., была подсказана особенностями употребления самих этих предметов в дружинном обиходе. Были полны символического метафорического смысла не слова, их обозначавшие, а самые вещи, обычаи, жизненные явления. «Меч», «копье», «стремя» входили в ритуал дружинной жизни, и отсюда уже слова получали свою многозначность, свой художественный, конкретно-образный потенциал.

Не все стороны действительности могли давать материал для художественных сравнений, метафор. Арсеналом художественных средств были по преимуществу те стороны быта, действительности, которые сами по себе были насыщены эстетическим смыслом. Мы видели их уже в войне и в феодальном быте. Ниже мы увидим, что их в изобилии рождала также соколиная охота, пользовавшаяся широким распространением в феодальной Руси. Владимир Мономах говорит в «Поучении» об охотах наряду со своими походами. И те, и другие в равной мере входили в его княжеское «дело». Соколиную охоту имеет в виду и «Русская Правда», назначая штраф в три гривны за кражу ловчих птиц в чьем-либо перевесе. Эпизод охоты дошел до нас в рассказе «Повести временных лет» под 975 г. За XII и XIII вв. княжеская охота неоднократно упоминается в Ипатьевской летописи. Сам Игорь Святославич забавлялся ястребиною охотою в половецком плену.

Не может быть сомнения в том, что охота с ловчими птицами (соколами, ястребами, кречетами) доставляла глубокое эстетическое наслаждение. Об этом свидетельствует позднейший «Урядник сокольничьего пути» царя Алексея Михайловича. «Урядник» называет соколиную охоту «красной и славной», приглашает в ней «утешаться и наслаждаться сердечным утешением». Основное в эстетических впечатлениях от охоты принадлежало, конечно, полету ловчих птиц. «Тут дело идет не о добыче, не о числе затравленных гусей и уток,— пишет С. Т. Аксаков в «Записках ружейного охотника»,— тут охотники наслаждаются резвостью и красотою соколиного полета или, лучше сказать, неимоверной быстротой его падения из-под

облаков, силою его удара». «Красносмотрителен же и радостен высокого сокола лет»,— пишет и «Урядник».

Вот почему образы излюбленной в Древней Руси соколиной охоты так часто используются в художественных целях. В этом сказались, как мы уже видели раньше, до известной степени особенности эстетического сознания Древней Руси: средства художественного воздействия брались по преимуществу из тех сторон действительности, которые сами обладали этой художественной значительностью, эстетической весомостью.

Образы соколиной охоты встречаются еще в «Повести временных лет»: «Боняк же разделися на 3 полкы, и сбиша угры акы в мячь, яко се сокол сбивает галице» (Лавр. лет., под 1097 г.). В этом образе «Повести временных лет» есть уже то противопоставление соколов галицам, которое несколько раз встречается и в «Слове о полку Игореве». Противопоставление русских — соколов врагам — воронам есть и в Псковской первой летописи. Александр Чарторыйский передает московскому князю Василию Васильевичу: «Не слуга де я великому князю и не буди целование ваше на мне и мое на вас; коли де учнуть псковичи соколом вороны имать, ино тогда де и мене Черториского воспомянете» (Псковск. I лет., под 1461 г.).

Несколько раз в летописи встречается указание на быстроту птичьего полета; как бы мечтая о возможности передвигаться с такою же быстротою, Изяслав Мстиславич говорит о своих врагах: «да же ны бог поможеть, а ся их отобьем, то ти не крилати суть, а перелетевше за Днепр сядуть же» (Ипат. лет., под 1151 г.). Тот же образ птичьего полета встречается и в рассказе Ипатьевской летописи о походе Игоря 1185 г. Дружина жалеет, что Игорь не может перелететь как птица и соединиться с полками Святослава: «Потом же гада Игорь с дружиною, куды бы (мог) переехати полкы Святославле; рекоша ему дружина: „Княже! потьскы (по-птичьи.— *Д. Л.*) не можешь перелетети; се приехал к тобе мужь от Святослава в четверг, а сам идеть в неделю ис Кыева, то како можеши, княже, постигнути“». Игорь же торопился, ему было «не любо» то, что сказала ему дружина (Ипат. лет., под 1185 г.). Тот же образ птичьего полета, позволяющего преодолевать огромные пространства, видим мы

и в «Слове»: «Великый княже Всеволоде! Не мыслию ти прелетѣти издалеча отня злата стола поблюсти?» Встречается в летописи и сравнение русских воинов с соколами: «Приехавшим же соколомь стрелцемь, и не стерпевъшим же людемь, избиша е́ и роздрашася» (Ипат. лет., под 1231 г.). Именно это сравнение, излюбленное и фольклором, чаще всего употреблено в «Слове о полку Игореве»: «се бо два сокола слѣтѣста»; «коли соколъ въ мытехъ бываетъ, высоко птицъ възбиваетъ: не дастъ гнѣзда своего въ обиду»; «высоко плаваеши на дѣло въ буести, яко соколъ на вѣтрехъ ширяяся, хотя птицю въ буйствѣ одолѣти»; «Инъгварь и Всеволодъ и вси три Мстиславичи, не худа гнѣзда шестокрилци»; «аже соколъ къ гнѣзду летить, а вѣ соколца опутаевѣ красною дивицею».

Замечательно, что во всех этих сравнениях воинов-дружинников и молодых князей с соколами перед нами сравнения развернутые, рисующие целые картины соколиного полета, соколиной охоты в охотничьих терминах своего времени (соколы «слѣтѣста», сокол бывает «въ мытехъ» и тогда «не дастъ гнѣзда своего въ обиду», сокол «высоко плаваетъ», то есть парит, собираясь «птицю въ буйствѣ одолѣти», сокола «опутывают», то есть надевают ему на ноги «путинки» и т. д.).

Весьма возможно, что образ «пардуса», встречающийся и в летописи (сравнение с пардусом Святослава Игоревича под 964 г.), и в «Слове» («пардуже гнѣздо»), связан с охотой с помощью ловчих зверей [1]. Как показал Н. В. Шарлемань, пардус (гепард) был охотничьим зверем в Древней Руси. [2]

Я не останавливаюсь подробнее на образах «Слова», связанных с охотой, на употребляющейся в нем охотничьей терминологии («влъкомъ рыскаше», «влъкомъ прерыскаше», «дорыскаше», «нарыщуще», «слѣдъ правитъ», «гнѣздо» зверей в значении «выводок», «опуташа въ путины желѣзны», «галици стады», «со-

---

[1] Небезынтересно отметить, что подобно тому, как в соколиной охоте главное эстетическое удовольствие доставляла быстрота полета сокола, так и в охоте с пардусом (гепардом) привлекала быстрота его передвижений — прыжков. В «Повести временных лет» знаменитое сравнение Святослава с пардусом идет именно в этом направлении: «легъко ходя, аки пардусъ».

[2] Из реального комментария к «Слову о полку Игореве». — ТОДРЛ, т. VI, с. 119—121.

колца опутаевѣ»): все эти охотничьи термины прекрасно объяснены в работе Н. В. Шарлеманя [1].

«Слово», следовательно, насыщено конкретными, зрительно четкими образами русской соколиной охоты. В своей системе образов оно исходит из русской действительности в первую очередь.

* * *

Особая группа образов в «Слове о полку Игореве» связана с географической терминологией и географической символикой своего времени.

К. В. Кудряшов, исследуя направление походов Владимира Мономаха, пришел к следующему выводу: «Самое выражение «Дон», «с Дона» применяется иногда летописцем как общее географическое обозначение для всей области Дона за Северским Донцом, для всего великого поля Половецкого» [2].

Определение страны по протекающей в ней реке чрезвычайно характерно для летописного изложения; ср. о Ярополке: «Он же седя Торжку поча воевати Волгу» (Лавр. лет., под 1182 г.), или «томъ же лете ходи Вячеслав на Дунай» (Ипат. лет., под 1116 г.) и т. п. Выражения «ходить на Волгу, на Оку», «повоевать Сулу» и т. д. — постоянны в летописи. Те же определения страны по реке встречаем и в «Слове о полку Игореве»: «половци неготовами дорогами побѣгоша къ Дону великому», «Игорь къ Дону вои ведетъ», «Кончакъ ему слѣдъ править къ Дону великому», «итти дождю стрѣлами съ Дону великаго», «ту ся саблямъ потручяти о шеломы половецкыя, на рѣцѣ на Каялѣ, у Дону великаго», «половци идуть отъ Дона», «на синѣмь море у Дону», «суды рядя до Дуная», «скочи влъкомъ до Немиги», «на Немизѣ снопы стелютъ головами», «Игорь мыслию поля мѣритъ отъ великаго Дону до малого Донца», «дѣвици поютъ на Дунаи» и т. д. и т. п. Если не считать городов, то все страны определяются в «Слове» не по княжествам, а по рекам, и нельзя не видеть в этом народного определения земель.

---

[1] Из реального комментария к «Слову о полку Игореве». — ТОДРЛ, т. VI, с. 122—123.

[2] Кудряшов К. В. Половецкая степь. М., 1948, с. 117.

В связи со сказанным становится нам понятным и выражение «Слова» «затворивъ Дунаю ворота»: «Дунай» здесь — страны и народы по Дунаю, подвластные Византии, от которых затворяет ворота своей реки Ярослав Осмомысл (см. об этом также наст. изд., с. 184).

Корни этих настойчивых определений стран по рекам понятны: реки в древности имели гораздо больший удельный вес в экономической жизни страны, чем в новое время: в промысле, в торговле и как пути сообщения. Не случайно и «Повесть временных лет», давая в своей вводной части географическое описание Русской земли, ведет его по рекам: Днепру, Волге и Западной Двине. В связи с этим становится понятным и значение реки как символа страны. Это символическое значение реки отразилось и в обычаях, и в языке. Генрих Латвийский рассказывает, что «литовцы под Кукенойсом кинули копье в Двину в знак разрыва мира с немцами»[1]. Нечто подобное находим мы и на Руси: под 1245 г. Ипатьевская летопись рассказывает о том, что Василько Романович стреляет через Вислу, объявляя войну Польше.

Наконец, нельзя не отметить и распространенный в Древней Руси символ победы над тою или иною страною: испить воды из ее реки. Ср. в «Похвале Роману Мстиславичу»: «Тогда Володимер Мономах пил золотом шоломом Дон, и приемшю землю их всю, и загнавшю оканьныя агаряны» (Ипат. лет., под 1201 г.), ср. требование Юрия Всеволодовича, обращенное им к новгородцам: «Выдайте ми Якима Иванковиця, Микифора Тудоровиця, Иванка Тимошкиниця, Сдилу Савиниця, Вячка, Иванца, Радка; не выдадите ли, а я поилъ есмь коне Тьхверью (то есть занял уже Торжок на Тверце. — *Д. Л.*), а еще Волховомь напою» (то есть «займу и Новгород»,— Новг. I лет., под 1224 г.). Символ этот устойчиво держится в русской жизни. В XVI в. его употребляет Иван Грозный в письме к Курбскому: «...и коней наших ногами переехали вси ваши дороги из Литвы и в Литву, и пеши ходили, и воду во всех тех местех пили, ино уж Литве нельзя говорити, что не везде коня нашего ноги были»[2].

---

[1] Генрих Латыш. Хроника Ливонии. М.—Л., 1938, с. 161.
[2] Русская историческая библиотека, т. XXXI. СПб., 1914, с. 123.

В XVII в. символ этот употребляют казаки в «Повести об Азове»: «козаки его (русского царя) с Азова оброк берут и воды из Дону пити не дают».

Этот символ победы неоднократно употребляется и в «Слове о полку Игореве». Дважды говорится в «Слове» — «а любо испити шеломомь Дону»,— как о цели похода Игоря. В обращении к Всеволоду Юрьевичу Большое Гнездо автор «Слова» говорит: «Ты бо можеши Волгу веслы раскропити, а Донъ шеломы выльяти!» Это несколько сильнее, чем «испить Волги» или «испить Дону», но, несомненно, принадлежит к тому же гнезду символов, связанных с рекой — страной. Слова эти означают: «ты можешь победить до конца страны по Волге (то есть болгар, с которыми Всеволод неоднократно воевал) и страны по Дону» (то есть половцев). Одновременно слова эти дают представление и о количестве войска Всеволода. Его так много, что если бы каждый воин испил из реки шлемом, то вычерпали бы ее. Воинов так много, что весла гребцов «раскропили» бы Волгу. И здесь, следовательно, как и в других случаях в «Слове», обычный средневековый символ, или термин, конкретизирован, сделан зрительно наглядным. Символ здесь одновременно и образ.

Упоминание вычерпанной реки как знака полной победы над населявшими ее берега народами встречается и в летописи. Под 1201 г. сказано о хане Кончаке: «...иже снесе Сулу, пешь ходя, котел нося на плечеву». Здесь имеется в виду победоносный поход хана Кончака в Переяславскую область 1185 г. Тот же символ вычерпанной реки как побежденной страны лежит и в основе характеристики «Словом» победоносного похода Святослава Киевского 1184 г. О Святославе сказано: «изсушилъ потоки и болота». Здесь и символ, и реальность одновременно: при передвижении большого войска всегда «требился путь» и мостились мосты, замащивались «грязивые места». Следовательно, и в данном случае символ конкретизирован в «Слове». Меткость его в том, что он несет две нагрузки: символическую и реальную. Еще больший отход от первоначального символа победы в сторону превращения этого символа в художественный образ имеем мы в том месте «Слова», где говорится о том, что и на юге, и на северо-западе русские в равной мере терпят поражение от «поганых» (то есть

от языческих половецких и литовских племен). «Уже бо Сула не течетъ сребреными струями къ граду Переяславлю, и Двина болотомъ течетъ онымъ грознымъ полочаномъ подъ кликомъ поганыхъ». И Сула, и Двина — две пограничные русские реки — лишились своих вод как знак поражения, и вместе с тем они уже как бы не могут служить реальными препятствиями для врагов Руси.

* * *

Несмотря на всю сложность эстетической структуры «Слова», несмотря на то, что в основе многих образов «Слова» лежат военные, феодальные, географические и тому подобные термины своего времени, обычаи, формулы и символы эпохи феодальной раздробленности, взятые из разных сфер языка и из разных сторон действительности,— поэтическая система «Слова» отличается строгим единством. Это единство обусловлено тем, что вся терминология, все формулы, все символы подверглись в «Слове» поэтической переработке, все они поэтически конкретизированы, образная сущность их подчеркнута, выявлена, и все они в своей основе связаны с русской действительностью XII в., и все они в той или иной мере подчинены идейному содержанию произведения.

Автор «Слова» никогда не создает совершенно новых образов, не «изобретает» своих образов, основываясь только на внешнем сходстве явлений. Как мы уже говорили, он пользуется уже готовыми образами, беря их отовсюду: из фольклора, из обыденной речи, из терминологии, из феодальной и военной символики своего времени и т. д. Личное творчество автора «Слова» выражается в том, что он придает новое звучание этим обычным образам, вкладывает в них новое содержание, делая их многозначными, и вместе с тем стремится к ясности, наглядности, зрительной четкости каждого из образов. Все вводимые им образы несут вместе с тем идейную нагрузку, отвечают общим задачам всего произведения в целом.

Весьма важно при этом отметить, что в «Задонщине», заимствующей многие поэтические образы из «Слова», их поэтическая сущность, столь ярко выраженная в «Слове», оказалась непонятой.

В «Задонщине» «стязи ревуть»[1] — в «Слове» они «глаголютъ» (то есть свидетельствуют). В «Задонщине» жены коломенские обращаются к Дмитрию: «замъкни, князь великыи, Оке реке ворота, чтобы потомъ поганые к намъ не ѣздили»[2] — в «Слове» же — «затворивъ Дунаю ворота» в совсем ином, правильном и обычном для XII в. значении.

В «Задонщине» в отличие от «Слова» золото не есть принадлежность княжеского быта: простой чернец Пересвет «посвечивает» «злаченым доспехом»[3], русские воины «гремят» «золочеными доспехы». Между тем в «Слове» эпитет «золотой» применяется только к вещам княжеского быта, в строгом соответствии с представлениями XII в. и с исторической реальностью.

Для автора «Задонщины» поле Куликово — это «судное место»[4], что резко противоречит представлениям XII в. Для автора XII в. «судом божиим» были только междоусобные битвы; для него это понятие вполне точное и неприменимое к битвам с иноземными врагами, с которыми не могло быть «суда».

Отсюда ясно, что поэтическая система «Слова» есть поэтическая система XII в., тогда как поэтические приемы «Задонщины» частично механически заимствованы из «Слова» без достаточного понимания их поэтической сущности, частично же отражают другую поэтическую систему, систему конца XIV — начала XV вв.[5].

Из всего изложенного следует и другой вывод: «Слово о полку Игореве» — это не произведение рафинированной книжной культуры, доступной для немногих и замкнутой в традициях какой-либо узкой литературной школы. «Слово о полку Игореве» — произведение народное в самом глубоком смысле этого слова; его художественное существо было широко доступно всем.

---

[1] ТОДРЛ, т. VI, с. 231.

[2] Там же, с. 230.

[3] Там же, с. 239.

[4] Там же, с. 230.

[5] См. подробнее: Лихачев Д. С. Черты подражательности «Задонщины» (К вопросу об отношении «Задонщины» к «Слову о полку Игореве»). — «Русская литература», 1964, № 3, с. 84—107.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВРЕМЕНИ В «СЛОВЕ»

В лексике «Слова о полку Игореве» отчетливо обнаруживаются типичные для XI—XIII вв. оттенки словоупотребления и семантики. Мы коснемся только одной темы — значения некоторых слов и выражений в «Слове о полку Игореве», связанных с особенностями представлений о времени в Древней Руси.

В работе «Лексика русского литературного языка древнекиевской эпохи» Ф. П. Филин обратил внимание на то, что «в своем абстрактном виде понятие «прежде» — продукт позднего мышления. В дописьменную эпоху у славян, как и у всех других народностей, находившихся на одинаковой с ними ступени развития мышления, понятие «прежде» было тесно связано с различными пространственными и другими понятиями, и эти связи лежат на поверхности, как в старых славянских письменных языках, так и в современной славянской речи (ср. древнерусское и современное *перед* — «передняя часть чего-либо», «то, что находится впереди», и многочисленные сложные образования с данным словом, обозначающие разнообразные конкретно-материальные понятия...)»[1]. В X—XIII вв. представления о времени стали уже в достаточной мере общими и абстрактными, но его связи с пространственными представлениями были все же значительно теснее, чем в новое время, а главное, они отличались качественно.

Обычные представления о будущем связывают его с тем, что находится впереди (ср.: *у него еще целая жизнь впереди* или: *наше будущее впереди*). Обычные же представления о прошлом связываются

[1] Филин Ф. П. Лексика русского литературного языка древнекиевской эпохи. Л., 1949, с. 140.

с представлениями о том, что находится сзади (ср.: *все страхи у него позади* или: *у него за плечами годы упорного труда*). Настоящее, с точки зрения обычных представлений нового времени, находится между прошлым и будущим.

Иными были временные представления в Древней Руси. Прошлое в X—XIII вв. (а частично и позднее, точные хронологические пределы установить вряд ли возможно) ассоциировалось прежде всего с тем, что впереди. «Передний» означало «прежний, прошлый»; ср.: «Тое же зимы даша Изяславу Туров и Пинеск к Меньску, то бо бяшеть его осталося, передьние волости его» (Лавр. лет., под 1132 г.); или: «Како уставили передниии князи, тако платите дань» (Новг. I лет., под 1229 г.); или: «Прародители его по изначяльству были в приятельстве и в любви с передними римскими цари, которые Рим отдали папе» («Памятн. дипл. снош. России с держ. иностр.», т. I. СПб., 1851, с. 17, под 1489 г.); или: «Ино то царь брат наш делаешь гораздо, что на своей правде крепко стоишь и нашу переднюю дружбу к себе помятуешь» («Памятн. дипл. снош. Моск. государства с Крымом и Ногаями и Турциею», т. II. СПб, 1895, с. 255, под 1516 г.). Так же точно одно из значений слова «переди» было «прежде, раньше»; ср.: «Томь же лете и Ладога погоре, переди Новагорода» (Новг. I лет., под 1194 г.); или: «О нем же переде сказахом» (Ипат. лет., под 1283 г.). С теми же представлениями о прошлом как о находящемся впереди какого-то определенного временнóго ряда связано и одно из значений слова «первый» (ср. хотя бы в «Слове о полку Игореве»: «първых временъ усобицѣ»; «о, стонати Руской земли, помянувше пръвую годину и пръвыхъ князей!»). Этимологические остатки этих древних представлений сохраняются отчасти и поныне (в слове «прежде» и др.), но как конкретные представления о прошлом они в новое время отсутствуют.

Представление Древней Руси о прошлом как о чем-то, что стоит впереди, отнюдь, однако, не означает, что будущее рассматривалось как нечто, стоящее позади нас. «Задним» было то, что стоит в конце, позади временнóго ряда, безотносительно к нашему положению. Это могли быть события последних лет, а иногда даже и события будущие, если ими должна была замыкаться какая-то цепь событий, какой-то вре-

менной ряд. Обычное летописное выражение «о сем бе в задних летех писано» означает: «об этом было писано под последними годами летописного повествования». В связи с этим следующим известным словам Ипатьевской летописи (под 1254 г.): «Хронографу же нужа есть писати все и вся бывшая, овогда же писати в передняя, овогда же воступати в задняя» — следует дать такое толкование: «Хронографу следует описывать все случившееся, то возвращаясь к старине, то описывая последние события». Толкование И. И. Срезневского, предложившего понимать в данном месте Ипатьевской летописи слово «передняя» как «будущее»[1], лишено оснований и обессмысливает текст. Ведь в тексте Ипатьевской летописи сказано: «все и вся бывшая», «будущее» же не может относиться к «бывшему». Ср.: «Имеях же у себе за 20 лет приготовлены таковаго списания свитки, в них же беаху написаны некыя главизны еже о житии старцеве памяти ради; ова уба в свитцех, ова в тетратех, аще и не по ряду, но предняя назади, а задняя напреди» (Житие Сергия, написанное Епифанием)[2]. Слово «заднее» могло относиться и к будущему, хотя основное временно́е его значение все же — «относящееся к последнему времени», «то, что стоит в конце какого-то определенного промежутка времени». Условно можно принять для слова «задняя» значение «будущее» — например, в следующем случае: «И под тем каменем Моисей... от бога прия скрижали каменны... и ту виде задняя его и просветись лице его, яко солнце» (Никон. лет., под 1204 г.). В связи с этим значением слова «задняя» стоит и юридический термин Древней Руси «задница» — «то последнее, что осталось от умершего, наследство» (ср. этот термин в «Пространной правде»: «Аже смерд умреть, то задницю князю...»).

Итак, слово «передняя» в древнерусском языке относилось к прошлому, когда речь шла о времени, точнее, к началу какого-то определенного промежутка времени, «задняя» же — к недавно случившемуся, ко времени последних событий, к завершению какой-то цепи событий, иногда — к будущему. Значения наших слов «прошлое» и «настоящее» лишь условно, с большим

---

[1] Срезневский И. Материалы для Словаря древнерусского языка, т. II. СПб., 1902, с. 905.

[2] Памятники древней письменности. СПб., 1885, с. 3

приближением, могут быть здесь применены. Это происходило потому, что представление о настоящем еще не устоялось, не отделилось от представлений о будущем и не сузилось до момента, делящего время на две половины,— ту, которая впереди, и ту, которая сзади. Четких границ между настоящим и прошлым не было. События располагались во времени вне зависимости от личного положения человека относительно их. «Передними», древними были первые из этих событий, начало цепи времени, «задними» были последние события, безразлично — настоящие или будущие.

Определяя отношения нового времени к пространственным ассоциациям времени, мы должны были бы сказать, что представления о будущем как о находящемся впереди и о прошлом как находящемся сзади предполагают собственное положение человека между этим прошлым и будущим. Прошлое сзади по отношению к тому человеку, о ком идет речь, будущее впереди также по отношению к тому, о ком говорят. В Древней Руси прошлое впереди только потому, что оно начинает собою цепь событий, а настоящее и будущее сзади потому, что они эту цепь замыкают: здесь нет места для представлений о положении самого человека относительно этих «впереди» и «сзади». Представление о настоящем еще не выкристаллизовалось, не отделилось полностью от представления о будущем.

Итак, древнерусские пространственные ассоциации, связанные с понятием времени, сохраняют пережитки более ранних эпох. В связи с этим попробуем понять два места в «Слове о полку Игореве»: одно — которое до сих пор всюду и всегда толковалось явно неправильно, в противоречии с данными древнерусского языка, и второе — которое до сих пор не получало общепринятого толкования и казалось неясным.

В самом деле, что означает следующее место «Слова о полку Игореве»: «мужаимѣся сами: преднюю славу сами похитимъ, а заднюю си сами подѣлимъ». Это место всюду и всегда переводилось, исходя из современных представлений о времени: «будущую славу сами похитим, а минувшую сами поделим». Фраза эта в таком переводе имеет значение пустой похвальбы, не связанной с последующим текстом «Слова». На самом же деле слово «переднюю» имеет, как мы видели, в па-

мятниках XI—XIII вв.[1] только одно временнóе значение — «прошлую, прежнюю»; «заднюю» же означало — «последнюю», условно говоря — «нынешнюю» или «будущую». Смысл этих слов в том, что Игорь и Всеволод своим походом на половцев собирались «похитить» славу прежних чужих походов на половцев и поделить между собою славу своего нового совместного, последнего похода на половцев. За этот поход, за безумную попытку вдвоем «похитить» славу предшествующих походов и добыть себе, поделив на двоих, новую славу и укоряет Игоря и Всеволода в своем «золотом слове» Святослав. О том, что слово «похитить» уместнее в отношении к прошлому, а не к будущему, показывают следующие сходные места «Слова»: «притрепа славу дѣду своему Всеславу», «уже бо выскочисте изъ дѣдней славѣ» и «разшибе славу Ярославу». «Притрепать», «разшибить», «похитить» (последнее в особенности) можно лишь чужую славу — славу, уже приобретенную кем-то, но не будущую.

В словах Игоря и Всеволода не сказано только, чью славу собирались они похитить своим походом. Это и понятно: слова их переданы Святославом; очевидно, они и относились к нему самому. Своим походом в степь молодые князья Игорь и Всеволод собирались «похитить» славу старого Святослава, славу его удачного похода на половцев 1184 г. Вот почему Святослав замечает затем, как бы отвечая на похвальбу молодых князей, слишком рано собравшихся делить славу еще не осуществленного похода и похитить славу его, старого Святослава: «А чи диво ся, братие, стару помолодити? Коли соколъ въ мытехъ бываетъ, высоко птицъ възбиваеть: не дастъ гнѣзда своего въ обиду» Это уже речь Святослава о себе. Она и продолжается им о себе: «Нъ се зло — княже ми непособие: наниче ся годины обратиша».

Итак, «передняя» слава означает в «Слове» прежнюю славу, а «задняя» — последнюю, «нынешнюю», славу близкого будущего. В связи с этим становится понятным и другое место в «Слове», вызывающее различные толкования исследователей: «свивая славы оба

---

[1] Для проверки значений слов «передняя» и «задняя» я пользовался картотекой «Исторического словаря русского языка» Института русского языка АН СССР.

полы сего времени».[1] О каких половинах времени здесь идет речь? Противоречие упоминания этих двух «половин» времени с обычными представлениями нового времени о трех, а не о двух частях времени — прошлом, настоящем и будущем — постоянно вызывало недоумение исследователей. Из предшествующего анализа представлений о времени совершенно ясно, что здесь идет речь о «переднем» и о «заднем» времени. Всякое время, в том числе и это время, историческое время этих событий («сего времени»), имеет две половины — «переднюю» (начинающую это время) и «заднюю» (заключающую его). Настоящее, как уже было сказано, еще не отделено от будущего, вместе с ним оно составляет одну «половину» времени; другую «половину» времени составляет прошлое.

В представлениях людей общинно-родового строя существовали отдельные, обособленные друг от друга временны́е ряды, имевшие свое начало и конец. Каждая «история» развивалась внутри самой себя, а кроме того, существовало время годичного круга: весна, лето, осень, зима со своими сезонными праздниками: солнцеворота, Купалы, Корочуном (Корочун — праздник самого короткого дня в году, упоминаемый в Новгородской летописи) и пр. Выше мы уже подробно говорили о том, что с приходом феодализма и христианства были принесены другие представления о времени: появились представления о едином течении времени мировой истории. История собственной страны стала рассматриваться как часть мировой истории. Особенно отчетливо это выражено уже в Начальной русской летописи. Но как соотнести между собой отдельные временны́е ряды, как связать их в единую историю? Византийские хроники имели общий годовой отсчет от «сотворения мира», но обычно рассказывали события своей истории по царствованиям императоров. Последнее для русской истории было невозможно: русские великие князья были слишком неустойчивы на киевском столе — садились на него иногда по два и по три раза. А как быть в периоды «междукняжья» и как разобраться в вопросах прав на

---

[1] Цитирую по первому, мусин-пушкинскому изданию. Обычная поправка «славию» из «славы» не вызывается необходимостью и противоречит, как это показала В. П. Адрианова-Перетц, тексту «Задонщины» («Задонщина». — ТОДРЛ, т. VI. М.—Л., 1948, с. 219).

киевский стол? Основной формой объединения отдельных событийных рядов в единый исторический процесс стала на Руси годовая сеть изложения. Статьи начинались словами: в лето такое-то. Эта годовая сеть не связывалась еще органически с конкретным ощущением времени в XI и XII вв. и была скорее насильственной и официальной формой объединения событий, чем вытекавшей из изменившегося чувства времени, но по тем временам это был единственный способ соединить все событийные ряды русской истории, создать историю Русской земли, раздробленной между отдельными княжествами.

«Слово о полку Игореве» не было летописью. События, рассказанные в нем, были сами по себе едины: это были события одного похода, закончившегося неудачей. Воспоминания о прошлом в «Слове», обращения к этому прошлому не были систематическими и также не нуждались в искусственном объединении годичной сетью. Поэтому в «Слове» больше, чем в летописи, ощущается архаическое и органическое представление о времени. «Слово» свободно от необходимости следовать строгой хронологии «от сотворения мира». Поэтому оно живее и проще связывает «оба полы сего времени» — прошлое и последнее («заднее»). В своем ощущении времени «Слово» фольклорно. Оно ближе к общенародному ощущению, чем к книжному. Оно не стремилось быть хроникой событий, летописью, историей.

КАТАРСИС В «СЛОВЕ О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Как известно, понятие катарсиса (трагического очищения) у Аристотеля имеет множество толкований[1]. В древнерусской литературе понятие катарсиса отсутствовало, однако в XI—XIII вв. практическое применение трагического очищения в литературных произведениях было постоянным. И если говорить о том, какое из существующих или существовавших пониманий этого трагического очищения было свойственно древнерусским литературным произведениям, то здесь прямо и решительно можно указать на этическое.

Но, кроме того, представления о катарсисе были и в самом деле различными в различные эпохи и в отдельных литературных направлениях (например, в классицизме или в романтизме). Каждая эпоха и каждое направление понимало катарсис по-своему.

В XI—XIII вв. (в последующее время значительно реже) все общественные бедствия в церковных проповедях использовались как призывы к покаянию. В больших общественных бедствиях (нашествия иноплеменников, «глад», «трус» — землетрясение и пр.) церковные проповедники видели не только повод для призыва к покаянию, но и самое наказание за грехи, которое верующим следовало воспринимать не только с покорностью, но и с радостью, как свидетельство божественной заботы об их душах. Наказание влекло за собой, по мысли проповедников, очищение от греха и умиротворение, успокоение, возвышение над суетностью греха.

---

[1] Наиболее простая классификация этих толкований с приведением важнейшей литературы в старой работе Н. И. Новосадского в кн.: Аристотель. Поэтика, Л., Academia, 1927, с. 15—20, 111—113. Последний обзор вопроса в прекрасной книге: Ničev Alexandre. L'énigme de la catharsis tragique dans Aristote. Sofia, 1970.

Еще решительнее применялось это трагическое очищение в светской исторической литературе XI—XIII вв.: в летописях и исторических повестях.

Так, например, в «Повести временных лет» под 1093 г. после рассказа о жестоких набегах половцев летописец восклицает: «О неиздреченьному человеколюбью! яко же виде ны неволею к нему обращающася. О тмами любве, еже к нам! понеже хотяще уклонихомся от заповедий его. Се уже не хотяще терпим, се с нужею, и понеже неволею, се уже волею. Где бо бе у нас умиленье? Ноне же вся полна суть слезъ. Где бе в нас въздыханье? Ноне же плачь по всем улицам упространнся избьеных ради, иже избиша безаконьнии» [1].

После нового рассказа об ужасах половецких набегов, главный из которых — увод пленников в половецкие вежи, летописец еще решительнее заявляет: «Да никто же дерзнеть рещи, яко ненавидимы богомь есмы! Да не будеть. Кого бо тако бог любить, яко же ны взлюбил есть? Кого тако почел есть, яко же ны прославил есть и възнесл? Никого же!» [2]

Очень типичную картину трагического очищения дает «Повесть о разорении Рязани Батыем». После страшного поражения, убийств, пленений, уничтожения города повесть переходит к рассказу о плаче Ингваря Ингваревича по убитым, о погребении погибших и о приезде на княжеский стол в Рязани князя кир Михаила. Трагическое умиротворение здесь, в этой повести, представлено в своей полной силе и в двух аспектах — нравственном и событийном.

Если с этой точки зрения мы подойдем к «Слову о полку Игореве», то трагическое умиротворение в нем также лежит в основе самого сюжета и сопровождается нравственным очищением. Обращу внимание на то обстоятельство, что уже в ближайшем к «Слову» рассказе Ипатьевской летописи о поражении Игоря есть этот элемент трагического очищения в его древнерусском, этическом варианте.

В Ипатьевской летописи сильно подчеркнут катарсис главного героя — Игоря. Попав в плен, Игорь произносит покаянную речь, кается в своих грехах,

---

[1] Цит. по изд.: Повесть временных лет. Часть первая. Текст и перевод. Серия «Литературные памятники». М.—Л., 1950, с. 147.

[2] Там же.

которые привели его к поражению. Эта покаянная речь занимает центральное место в рассказе Ипатьевской летописи о походе Игоря. Эта покаянная речь не может просто «отражать жизнь». Она произносится Игорем в одиночестве, в плену. Маловероятно, что были свидетели (или послухи) этого покаяния Игоря. Даже если эта речь, произнесенная им в одиночестве, была действительно произнесена, то зачем было ее воспроизводить в летописи, если бы она не совпадала с художественными намерениями летописца? Мы знаем, как летопись «сюжетно» выбирает для изложения речи князей. Речь Игоря — это не речь на переговорах, не объявление князем своей политической программы. Она потому и попала в летописный рассказ, что была нужна как катарсис главного героя. Это типичный монолог-катарсис.

Можно было бы подумать, что эта речь была сочинена в XVIII в., как типичная особенность классицистической трагедии. Но нет, речь находится в Ипатьевской летописи, подлинность которой не может вызывать сомнений.

В «Слове о полку Игореве» тоже есть этот катарсис, но катарсис не личный, не главного героя только. Обобщающая сила «Слова» шире обобщающей концепции летописи. «Слово» рассматривает события 1180 г. как результат ошибок всех русских князей. Катарсис «Слова» — это катарсис лирический, в который втягивается, помимо Игоря, вся русская история и все русские князья-современники.

В «Слове о полку Игореве» Игорь, как герои греческих трагедий, идет против рока, судьбы. Он идет на половцев вопреки явным предостережениям (затмение, другие предзнаменования) и вопреки их численному превосходству. После рассказа о поражении Игоря и его пленении (напомню, что пленение рассматривалось в XI—XIII вв. как самое страшное последствие поражения) наступает спокойное движение повествования к нравственному умиротворению: Святослав произносит свое слово, «со слезами смешено». Этому «золотому слову» Святослава, его обращению ко всем русским князьям, как бы вторят в лирическом варианте плач Ярославны и ее обращение к силам природы: к солнцу, ветру и Днепру. Плач Ярославны как бы симметричен политическому обращению Святослава поочередно ко всем русским князьям. Затем нравственное умиротворение пе-

реходит в умиротворение событийное: Игорь бежит из плена, возвращается на свой стол и едет по Боричеву к Богородице Пирогощей с очевидной целью воздать ей благодарность за свое освобождение. Заканчивается «Слово» славой русским князьям. Трагическое умиротворение выдержано и в этическом, и в событийном плане. Присутствуют и слезы, которые у древних авторов считались приносящими облегчение и умиротворение[1].

Рассказы «Слова» о настоящем и о прошлом переплетаются между собой. Поражение вызывает раскаяние Игоря — в летописи, в «Слове» — гражданскую скорбь, осознание событий в их исторической перспективе.

Катарсис в «Слове» — это очищение через прозрение, через осознание исторических корней случившегося. Непосредственно после катарсиса герой ощущает в себе новые силы для продолжения борьбы. В летописи — это прежде всего Игорь; в «Слове» — это прежде всего вся Русская земля, и во вторую очередь — Игорь.

К Русской земле, ко всем ее князьям обращается князь Святослав Киевский, затем, после «золотого слова» Святослава и его естественного продолжения — обращения к русским князьям самого автора слова,— наступает черед Игоря. Плач Ярославны — это как бы продолжение обращения Святослава и автора «Слова» ко всем русским князьям.

Характерно, что соответственно литературной практике XI—XIII вв. не только читатели испытывают это трагическое нравственное очищение, «посредством сострадания и страха», которое производит очищение их чувств, но и главные действующие лица рассказа. Поэтому и Игорь никак не мог рассматриваться ни в «Слове», ни в рассказе Ипатьевской летописи как лицо безусловно положительное. Он-то и подвергается в первую очередь нравственному очищению и, следовательно, должен быть в известной мере виновником испытываемых им страданий.

Ярославна отчетливее, чем Святослав, вкладывает личные чувства в свое обращение — ее обращение личное. После этого Игорь, обретя новые силы, бежит из плена на Русскую землю.

---

[1] См. об этом у Н. И. Новосадского в кн.: Аристотель. Поэтика, с. 18.

Но почему «золотое слово» Святослава не имеет того же результата, что и плач Ярославны? Почему не отправляются в поход все русские князья?

Может быть, этот объединенный поход всех русских князей и был тем ожидаемым результатом, который был целью «Слова о полку Игореве»? Один из призывов оказался без ответа, и этот «ответ» должен был, возможно, по мысли автора, совершиться в самой жизни. Призыв Ярославны к солнцу, ветру и Днепру отозвался бегством Игоря. Призыв Святослава ко всем русским князьям должен был в будущем отозваться объединенным походом всех русских князей против половцев.

Вопрос о катарсисе в «Слове о полку Игореве», как явствует из всего мною изложенного, нуждается в обстоятельных частных исследованиях. Одно из таких частных исследований — это вопрос о том, почему Игорь едет по возвращении из плена именно к Пирогощей и что такое эта «Пирогощая»?

«ПИРОГОЩАЯ» «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Как известно, «Слово о полку Игореве» заканчивается короткими фразами, выражающими радость по поводу возвращения Игоря из плена. Каждая из этих коротких фраз — своеобразное обозначение различных аспектов торжества. Эти аспекты в известном смысле традиционны: это обычное при возвращении князя из похода пение ему и его воинам «славы». Концовка отражает слова «славы» и самый факт ее пения, а также провозглашает здравицу Игорю, его дружине и его сыновьям.

Из содержания этой концовки выпадает одна только фраза: «Игорь ѣдетъ по Боричеву къ святѣи Богородици Пирогощеи». Возвращаясь из похода в родной город, князь обычно ехал в патрональный храм своего княжества, чтобы вознести благодарность богу. Такие факты неоднократно отмечаются в летописи. В патрональном храме княжества обычно стоял престол князя;[1] поэтому, возвращаясь на «свой стол», князь ехал именно в свой главный храм. При таком возвращении в родной город ему и пелась слава. Необычность рассматриваемого в концовке «Слова» факта состоит в том, что Игорь едет в храм не в своем городе — Новгороде Северском и даже не в Чернигове, которому в различных аспектах подчинялся Новгород Северский, а в Киеве, куда он приезжает, побывав уже по возвращении предварительно и в Новгороде Северском, и в Чернигове. Странность такого рода могла бы получить некоторое объяснение, если предположить, что автор «Слова о полку Игореве»

[1] Так, например, престол князя стоял в церкви Богородицы в Смоленске: «...и вшед Давыд в церковь Святыя Богородица и седе на столе деда своего и отца своего» (Ипат. лет., под 1180 г.). Позднее в многих главных святительских церквах сохранилась эта традиция: наряду со святительским местом бывало и царское место.

был киевлянин и поэтому сам в какой-то мере принимал участие в той «второй» или даже «третьей» радости по поводу возвращения Игоря, которой, как свидетель, и придает наибольшее значение. Я лично так и думаю. Ведь слова авторского прославления Игоря в конце «Слова» как бы сливаются со славой, певшейся ему киевлянами при въезде Игоря в Киев. Меня даже в известной мере удивляет, как исследователи, усиленно занимавшиеся поисками автора «Слова», не обратили внимания на это важное обстоятельство. Как мы увидим в дальнейшем, объяснение заключительного въезда Игоря в Киев лежит, однако, не только в этом или даже, может быть, совсем не в этом.

Дело в том, что в сообщении «Слова» о въезде Игоря в Киев есть и другое известие, требующее своего объяснения. Не совсем ясно, почему в Киеве Игорь идет не в его главные храмы, которыми следовало бы признать храм Богородицы Десятинной и храм Софии, а в храм Богородицы Пирогощей, начатый строиться в 1131 или 1132 г. и законченный в 1132 г., названный так по иконе Богородицы Пирогощей [1], сравнительно не так давно перед этим привезенной из Константинополя в одном корабле с иконой Богородицы Владимирской.

Феодальный этикет княжеского поведения не допускал случайностей. Поэтому мы должны попытаться найти объяснение поведению Игоря по возвращении из плена, а также тому, чем были для Игоря икона и храм Богородицы Пирогощей.

Отмечу одно важное обстоятельство. Фраза о том, что Игорь едет к Богородице Пирогощей, заканчивает всю повествовательную линию «Слова». Перед нами в этой фразе завершение событий «Слова». При этом следует иметь в виду, что поэтика «Слова» не допускала упоминания художественно случайного или художественно малозначительного. И это также должно потребовать нашего пристального внимания к объяснению загадочного обращения Игоря в Киеве к иконе и церкви Пирогощей.

---

[1] Впрочем, в литературе о Пирогощей высказывалось и обратное мнение: что икона была названа Пирогощей по названию церкви. См.: Малышевский И. И. О церкви и иконе св. Богородицы под названием «Пирогоща», упоминаемых в летописях и в «Слове о полку Игореве». — «Чтения в Историческом обществе Нестора летописца», кн. V, отд. II. Киев, 1891, с. 113—133.

* * *

Как известно, русские люди издавна в трудных случаях жизни — в бурю на море, в плену или при каких-либо других обстоятельствах — давали обет в случае своего спасения отправиться на поклонение какой-либо из святынь. Обет непременно соединялся с покаянием в совершенных грехах. Именно такой обет был, по-видимому, дан и Игорем, когда он попал в плен. Примечательно, что рассказ Ипатьевской летописи о событиях поражения Игоря, последовательно раскрывающий точку зрения сторонника Игоря, а возможно, и его самого, заключает в себе пространное изложение двух покаяний взятого в плен Игоря: одного — непосредственно на поле битвы, другого — уже в половецком стане.

Первое покаяние Игоря начинается так: «И тако, во день святаго Воскресения, наведе на ня Господь гнев свой: в радости место наведе на ны плачь, и во веселье место желю, на реце Каялы. Рече бо деи Игорь: „помянух аз грехы своя пред Господем Богом моим, яко много убийство, кровопролитье створих в земле крестьянстей, яко же бо аз не пощадех хрестьян, но взях на щит город Глебов у Переяславля; тогда бо не мало зло подъяша безвиньнии хрестьани, отлучаеми отець от рожений своих, брат от брата, друг от друга своего, и жены от подружий своих, и дщери от матерей своих, и подруга от подругы своея, и все смятено пленом и скорбью тогда бывшою, живии мертвым завидять, и мертвии радовахуся, аки мученици святеи огнемь от жизни сея искушение приемши...“» и т. д. (Ипат. лет., под 1185 г.).

Вторично кается Игорь в плену: «Игорь же Святославличь тот год бяшеть в Половцех, и глаголаше: „аз по достоянию моему восприях победу (поражение. — *Д. Л.*) от повеления твоего, Владыко Господи, а не поганьская дерзость обломи силу раб твоих; не жаль ми есть за свою злобу прияти нужьная вся, их же есмь приял аз“» (там же).

Обстоятельства бегства Игоря из плена также как будто бы указывают на то, что обет был Игорем дан.

Игорь молится перед бегством в половецком шатре: «Се же встав ужасен и трепетен, и поклонися образу божию и кресту честному, глаголя: «Господи сердце-

видче! аще спасеши мя, Владыко, ты недостойного...» и возма на ся крест, икону, и подойма стену и лезе вон» (Ипат. лет., под 1185 г.). Молитва Игоря летописцем оборвана: фраза осталась незаконченной. Можно лишь догадываться, что она завершалась обещанием Игоря выполнить какое-то духовно-нравственное дело. Молитва начиналась условием («аще спасеши мя»), но условие это затем ничем не подкреплялось — никакой просьбой.

О самом обещании Игоря летопись и «Слово» почему-то молчат. В летописи обещание, возможно, даже было, но странным образом исчезло, нарушив грамматический строй речи Игоря. Мы не можем считать, что об этих обещаниях не принято было говорить. «Повесть временных лет» говорит под 1022 г. об обещании князя Мстислава, данном им во время его единоборства с Редедей: «И яста ся бороти крепко, и надолзе борющемася има, и нача изнемагати Мьстислав: бе бо велик и силен Редедя. И рече Мьстислав: «О пречистая богородице, помози ми. Аще бо одолею сему, съзижю церковь во имя твое». И се рек удари имь о землю» (цитирую по Лаврентьевской летописи. Обращаю внимание, что обещание Мстислава, как и незавершенное обещание Игоря, также начинается со слова «аще»).

Прервем, однако, наши размышления, чтобы воздать должное предшественникам.

Предположение об обещании, данном Игорем в плену, было высказано еще в 1891 г. В. З. Завитневичем. Последний пишет: «Подобно тому, как когда-то знаменитый Мстислав Тмутараканский, изнемогая в борьбе с Редедею, дал обет создать церковь во имя Богородицы, так теперь знаменитый герой «Слова о полку Игореве», изнывая в половецкой неволе, мог дать известный обет Богородице Пирогощей» [1].

Почему же все-таки ни Ипатьевская летопись, ни Лаврентьевская, ни само «Слово» ничего не говорят об обещании Игоря?

Объяснение, я предполагаю, заключается в следующем. Спасение Игоря из плена не могло рассматриваться как результат помощи Бога, Богоматери или

[1] Завитневич В. З. К вопросу о происхождении названия и о местоположении киевской церкви «святой Богородицы Пирогощей». — «Труды Киевской духовной академии», 1891, № 1, с. 161.

святых. Ведь Игорь совершил поступок, который даже сторонник Игоря, летописец, вынужден был назвать «неславным путем». Бог мог защищать Игоря уже во время самого бегства, но делать Бога участником «неславного» решения было для автора «Слова» невозможно. Другое дело, конечно, что Игорь перед своим бегством мог возложить свое упование на Бога, Богоматерь или святых, просить их о заступничестве.

«Слово о полку Игореве» нашло своеобразный художественный выход из «трудного» для древнерусского писателя сюжетного положения. С просьбой о спасении обращается в «Слове» не сам Игорь, а его жена — Ярославна. Игорь спасен в ответ на ее мольбу, и не к Богу при этом, а к силам природы. И именно эти силы помогают Игорю, согласно «Слову», во время его бегства. Но воздать благодарность за свое спасение Игорь едет все же в Киев к Богородице Пирогощей. Факт этот был значителен для древнерусского писателя, и обойти его он не решался. Напротив, автор делает этот факт сюжетным завершением «Слова»: как я уже сказал, именно на этом заканчивается фактическая, сюжетная сторона «Слова». После этого в «Слове» имеется лишь славословие Игорю, другим князьям и дружине, воздаваемое им самим автором.

Автор «Слова» мог обратить внимание на приезд Игоря в Киев как киевлянин, однако сам факт приезда остается: Игорь не остается по возвращении в родном Новгороде Северском или в Чернигове, а сразу же едет в Киев.

Отвечая на вопрос о том, почему Игорь едет к церкви Богородицы именно в Киеве, а не в родном городе, мы должны прежде всего отметить, что ни в Новгороде Северском, ни в Чернигове не упоминаются богородичные храмы. Культ Богородицы был прежде всего киевским, где он был и наиболее традиционным, если принять во внимание такие храмы, как Богородица Десятинная, София (культ Софии тесно связан, как известно, с культом Богоматери, является одним из выражений последнего) и центральный храм Успения Богородицы в Печерском монастыре. Культ Богородицы рано распространился из Киева, вернее, из Киево-Печерского монастыря, во Владимиро-Суздальской земле. Об этом мы имеем подробные сведения в работах

Н. Н. Воронина[1], М. Д. Приселкова[2] и многих других авторов[3].

Патрональной святыней Чернигова был собор Спаса. Первая упоминаемая в Чернигове богородичная церковь освящена там на следующий год по возвращении Игоря из плена «отцом» (главой) черниговских Ольговичей Святославом Всеволодовичем[4]. Именно в этой церкви в 1196 г. был похоронен герой «Слова о полку Игореве» Всеволод Буй Тур. Храм Успения Богородицы имеется в черниговском Елецком монастыре. Письменных сведений о времени его основания нет. «Наиболее вероятная дата постройки — XII век и, скорее, его вторая половина»[5].

Далее, с точки зрения феодального этикета, мы можем с полной определенностью ответить на вопрос о том, почему Игорь едет не к Богородице Десятинной и не к Софии: Игорь не был киевским князем, он не мог ехать к чужому княжескому столу и к чужой патрональной святыне. В эти два храма по возвращении из похода могли ехать только киевские князья, что и отмечено летописью в нескольких случаях под XII в.

Почему же Игорь дает обещание именно Богоматери, воздает именно ей благодарность за свое спасение?

Богоматерь как защитница государства, страны, города от врагов хорошо известна в богослужебных и молитвенных текстах. Известен акафист Богородице — «Взбранной Воеводе». Богоматерь имеет своими символами «Небесный Иерусалим», град, стену граду, неру-

---

[1] Воронин Н. Н. Зодчество Северо-Восточной Руси XII—XV веков, т. 1. XII столетие. М., 1961, с. 120 и след.

[2] Приселков М. Д. История русского летописания XI—XV вв. Л., 1940, с. 75 и след.

[3] Лихачев Д. С. Русские летописи. М.—Л., 1947 (перепечатано: The Hagae, 1966), с. 278 и след.

[4] См. в Ипат. лет. под 1186 г.: «Святослав Всеволодичь святи церков в Чернигове святаго Благовещения, юже бе сам создал». В Новгороде-Северском известна только церковь Николы, воздвигнутая в 1086 г., и Спасо-Преображенский собор, построенный Владимиром Давидовичем между 1124 и 1139 гг. По-видимому, патрональной святыней Новгорода-Северского вслед за Черниговом был храм Спаса. Так же как в Москве Успенский собор в Кремле был воздвигнут вслед за Успенским собором города Владимира. Младшие города в выборе своего патрона следовали старшим.

[5] Логвин Г. Н. Чернигов, Новгород-Северский, Глухов, Путивль. М., 1965, с. 82.

шимую стену, стену непреоборимую, двенадцативратный град (на основании Апокалипсиса у Романа Сладкопевца), башню Давида. Многочисленные материалы такого рода суммированы в интересной статье С. С. Аверинцева «К уяснению смысла надписи над конхой центральной апсиды Софии Киевской»[1]. Многие из них ранее были уже собраны архиепископом Сергием в «Полном месяцеслове Востока» и в работах Н. П. Кондакова.

Приведу некоторые дополнительные данные.

В Триоди постной имеются следующие строки, относящиеся к Богоматери: «Тебе пристанище спасения и *стену нерушимую* богородице владычице, вси вернии вемы: ты бо молитвами твоими от бед свобождаеши души наша» (Тропарь Богородице, песнь 5); «Жизни древе непроходимая, умная дево Богородице безневестная, райская врата заключеная ми прежде отверзи твоими молитвами, яко да славлю тя по бозе мою помощницу и *державе прибежище»* (Неделя сырная, утро, песня); «Богородице честная, души моея гноения, и сердца страсти, и ума пременение исцели, яко едина грешных помощница, и разоряемых *стена»* (вторник, первая седмица святаго поста, песнь 9); «Тя вси стяжахом *прибежище* и *стену* присно христиане» (пяток первая седмица святаго поста, песнь 3); «Блажим тя, Богородице Дево, и славим тя верний подолгу, *град* непоколебимый, *стену* необоримую, твердую предстательницу и прибежище душ наших» (Богородичен в среду на вечерне, глас 5); «...радуйся, Богородице, двоенадесятостенный *граде,* и дверь златокованная, и чертоже светообразный...» (из Богородична на утрене в праздник Андрея Первозванного, 30 ноября); «...радуйся, *граде* одушевленный Царя и Бога, в нем же Христос пожив, спасение содела...» (из Стихир на хвалитех, глас 4, самогласен на утрене в Рождество Христово, 25 декабря)[2].

В великом каноне Андрея Критского читаются такие строки: *«Град Твой* сохраняй, Богородительнице Пречистая, в Тебе бо сей верно царствуяй, в Тебе и утверждается и Тобою побеждаяй, побеждает всякое

---

[1] В кн.: Древнерусское искусство. Художественная культура Домонгольской Руси. М., 1972, с. 25—49.

[2] За помощь в подборке текстов, в которых Богоматерь отождествляется с градом, стеной, благодарю Г. М. Прохорова и И. И. Гумницкого.

искушение, пленяет ратники и приходит послушание»[1]. Под «градом твоим» разумеется не только Константинополь, но всякий город и страна христианская.

Культ Богоматери как защитницы страны от степных врагов приобрел особенное значение в XII в. Архиепископ Сергий в «Полном месяцеслове Востока[2]» посвящает этому особую статью под 1 августа. Он отмечает, в частности, что празднество 1 августа по случаю знамения от образа Спаса и Богородицы установлено в XII в. в связи с победой императора Мануила (1143—1180 гг.) над сарацинами и победой Андрея Боголюбского над волжскими болгарами в 1164 г. Свидетельства об этом празднике имеются уже в XIII в. Напомним также в связи с этим, что князь Андрей Боголюбский молился перед сражением с волжскими болгарами: «Господи Иисусе Христе Боже наш, молитвами пречистыя ти Матери и силою честнаго креста помози нам на безбожныя сия варвары» (Лавр. лет., под 1184 г.).

Покровительство Богоматери Владимиру и Владимирскому княжеству устанавливается особенно отчетливо с момента, когда в 1154 г. во Владимир была привезена икона Владимирской Божьей матери. Именно с этого года в Лаврентьевской летописи все победы Андрея Боголюбского начинают объясняться помощью Богородицы, и именно с этого времени с особенной силой расцветает во Владимире культ Богоматери как защитницы города и княжества от степных народов.

Следует, однако, обратить внимание на то, что одновременно, то есть с того же самого времени, необычайно возрастает культ Богоматери и в Киеве.

Под 1169 г. в Ипатьевской летописи имеется рассказ о чуде Богоматери Десятинной в Киеве, оборонившей Русь от половцев. Под тем же годом и в той же летописи говорится о помощи Богоматери Новгороду.

Чудо Десятинной Богоматери стоит отметить особо. Оно заключается в том, что Богоматерь освободила из плена пленных. Десятинная Богоматерь «не дасть в обиду человека просто, еда начнуть его обидети, аже своее матере дому». В летописи говорится: «Прииде Михалко

---

[1] Канон Великий покоянный, творение Святого Андрея, архиепископа Критского Иерусалимского, с объяснениями и примечаниями в тексте С. Е. Недумова. М., 1873.

[2] Архиепископ Сергий. Полный месяцеслов Востока, т. II. Владимир, 1901, с. 296—299.

с переяславци и с берендеи г Кыеву, победивше половци, хрестьяне же избавлени тоя работы (рабства. — *Д. Л.*), полонении же възвратишася опять в своя си, а прочии вси хрестьяне прославиша бога и святую Богородицу, скорую помощницу роду христьяньску» (Лавр. лет., под 1169 г.). Итак, Богородица — не только защитница города и страны от внешних врагов, но и освободительница пленных. Последнее для нас особенно важно.

Богородица помогает возвращению русского полона и в 1172 г.: «В то же лето чюдо створи Бог и святая Богородица церковь Десятинная в Кыеве...» (Ипат. лет.). Чудо состоит в победе над половцами и возвращении полоненных ими русских. То же происходит в 1173 г.: киевляне побеждают половцев и отнимают у них полон — русских пленных. «...а сами,— сказано о киевлянах,— възворотишася Кыеву, славяще Бога и святую Богородицу» (Ипат. лет.).

Культ Богоматери на Руси как защитницы страны, города и освободительницы пленных был прочно связан с константинопольским Влахернским монастырем. С последним связан и Киево-Печерский монастырь. Не случайно преемник Феодосия на игуменстве в Киево-Печерском монастыре, Стефан, уйдя из последнего и основывая свой собственный монастырь, называет его Влахернским: Стефана несправедливо изгнали печерские монахи. Бог помог Стефану молитвами Феодосия, и Стефан «състави себе монастырь и церковь възгради въ имя святыя Богородиця и нарек место то по образу сущаго в Костянтине граде из Лахерна и бе по вься лета праздникъ творя светел святей Богородици месяця иуля въ 2 день»[1].

Какой иконографический тип представляла собой Богоматерь Влахернитисса? Изображение ее имеется на монетах и на моливдовулах Влахернского монастыря. Н. П. Кондаков и Н. П. Лихачев указывают на два типа этих изображений: на одних изображена Богоматерь Елеуса (тип, который впоследствии у старообрядческих коллекционеров получил название «Умиление»), на других — Богоматерь Одигитрия («Путеводительница»). По-видимому, во Влахернском монастыре были две иконы Богоматери — двух иконографических типов.

[1] Успенский сборник XII—XIII вв. Издание подготовили О. А. Князевская, В. Г. Демьянов, М. В. Ляпон. Под редакцией С. И. Коткова. М., 1971, с. 134.

Н. П. Лихачев в статье «Моливдовул с изображением Влахернитиссы» отмечает по поводу описываемой им свинцовой печати XII — начала XIII вв., что около Елеусы надпись — Влахернитисса, из чего можно заключить, что икона этого типа почиталась в знаменитом Влахернском храме[1]. Н. П. Лихачев пишет: «Изображение Богоматери, находившееся в Влахернах, известно по надписи на монете Константина Мономаха (1042—1055) η βλαχερνιτισα (надпись не имеет надстрочных знаков. — *Д. Л.*) представляет тип Оранты. На издаваемой нами печати (изображение печати приводится Н. П. Лихачевым в данной статье. — *Д. Л.*) другой образ, также, значит, находившийся в Влахернах»[2]. Время, к которому Н. П. Лихачев относит существование почитаемой во Влахернах иконы типа Елеусы (в русской терминологии «Умиление»),— никак не позднее XII в. Н. П. Лихачев пишет: «Если бы мы и допустили, что издаваемая печать относится к первой половине XIII века (самое позднее определение), то этим самым признали бы существование иконографического типа «Умиление» на иконах Богоматери в Византии XII столетия».

Другой тип Влахернской Богоматери Оранты, или Одигитрии, представлен в окружении стен Влахернского монастыря, имевшего семь башен. Н. П. Кондаков пишет: «...На монетах Михаила Палеолога (1261—1282) образ Божией Матери Оранты представляется внутри семибашенного замка (только шесть башен. — *Д. Л.*)[3], также на монетах царя Андроника II Палеолога, или Старшего, и Андроника III Палеолога (1328—1341)»[4].

Нет сомнения в том, что обе иконы Влахернитиссы — одна из которых была типом «Умиление» и могла быть прототипом Владимирской божьей матери, покровительницы Владимиро-Суздальского княжества, а другая представляла собой тип Оранты, «Путеводительницы», и изображалась в окружении стен «семибашенного» Влахернского монастыря,— были самым тесным обра-

---

[1] Сборник статей в честь академика А. И. Соболевского. — «Сб. ОРЯС АН СССР», т. LCI, № 3. Л., 1928, с. 146.

[2] Там же, с. 147.

[3] На монетах количество башен не совсем ясно: шесть или семь.

[4] Кондаков Н. П. Иконография Богоматери, т. II. Пг., 1915, с. 67 (ссылка Н. П. Кондакова: Wroth., pl. LXXIV, 1—2, 10—11, 15—16). Монета Андроника Палеолога (1282—1328) изображена там же на с. 72.

зом связаны с оборонным патронажем Руси и в Киевской, и во Владимирской землях.

Из Влахернского монастыря шли истоки русского праздника Покрова, установленного на Руси в середине XII в. Именно с Влахернским монастырем связывается самое чудо Покрова: видение Андрея Юродивого.

С появлением во Владимире иконы Владимирской устанавливается празднование Влахернского чуда: надвратный храм во Владимире (храм на Золотых воротах) посвящен Положению Риз Богоматери — влахернской реликвии, защитницы города (и Константинополя, и Владимира), церкви и государства. Поэтому я предполагаю, что икона Владимирской Богоматери была копией иконы Влахернитиссы — Елеусы («Умиление»).

Сказание о чудесах Владимирской иконы Богоматери датируется Ключевским и Ворониным 60-ми годами XII в. К этому же приблизительно времени относится и «Слово на праздник Покрова». Это «Слово» замечательно. Оно все посвящено защите и обороне Русской земли. Как сам праздник Покрова, так и само «Слово» отнюдь не ограничивается только Владимиро-Суздальской землей. Это праздник всей Русской земли. И «Слово Покрову» направлено не только против внешних врагов Руси, но и против междоусобных ратей, а последнее чрезвычайно важно для нашей темы. Покров защищает Русскую землю, как сказано в «Слове», «от стрел летящих во тьме разделения нашего»[1].

В Службе Покрову во втором стихе 8-й песни говорится: «...гордыню и шатания низложи и советы неправедных князей разори, зачинающих рати погуби и благочестивому князю нашему рог возвыси». В первом стихе песни 9 читаем: «высокий Царю со Отцем седяй призри на молитву матерню, спаси град и люди умножи и даждь князю здравие телесне и на поганыя победы». Против междоусобий князей имеются тирады и в проложном сказании о Покрове.

---

[1] «Слово на праздник Покрова» читается в Великих четьих минеях митрополита Макария под 1 октябрем. Сам праздник Покрова, согласно исследованию архиепископа Сергия («Полный месяцеслов Востока», т. II.), установлен в России в первой половине или около начала XII в. Это подтверждается и построением церкви Покрова на Нерли в 1165 г. См. об учреждении праздника Покрова: Воронин Н. Н. Зодчество Северо-Восточной Руси XII—XV веков, т. 1. XII столетие, с. 122 и след.

В предсмертной молитве к Богоматери князя Ростислава Мстиславича, приводимой Ипатьевской летописью под 1168 г., прямо говорится о ризе Богоматери: «Пречистая Богородице, вышьши еси ангел, архангел, всея твари честнейшю, помощнице обидимым, ненадеющимъся надеяние, сиротам заступница, убогым кормительнице, печалным утешение, грешным спасение, хрестьяном всим поможение; милостива еси, Госпоже! милостью своею помилуй мене грешнаго раба своего Михаила [1], ризою мя честною защити... препояшши мя силою свыше на невидимыя и видимыя врагы».

Если предположить, что икона Владимирской Богоматери была списком Влахернитиссы — Елеусы, то привезенная с нею в одном корабле Пирогощая, естественно, могла быть списком другой почитаемой во Влахернах иконы — Одигитрии, Путеводительницы, изображаемой в окружении семибашенного Влахернского монастыря.

Догадка о том, что Пирогощая была изображением Одигитрии из Влахернского монастыря, отвечает на вопрос и о происхождении, и значении ее названия: Пирогощую наиболее вероятно следует производить от греческого слова πυργώτις — башенная.

Впервые такое толкование предложил В. З. Завитневич. Он указал, что слово «пирогощая» происходит от греческого πυργώτις, и перевел так: «снабженная башнями». Он предполагал, что в переносном смысле Богородица Пирогощая то же, что «Взбранная Воевода»: один из символов Богоматери [2].

Перевод и прототип греческого названия «пирогощей» В. З. Завитневича уточнил выдающийся знаток византийского искусства и греческого языка (последнее в данном случае особенно важно) Н. П. Кондаков. Он пишет: «Считаем возможным, что имя (Пирогощая,— *Д. Л.*) есть обрусевшая форма эпитета πυργώτισσα и что он, в свою очередь, обозначал в устах жителей Византии именно Влахернский храм, заключенный в последнем периоде империи в стены, заканчивавшиеся башенным полукругом, откуда имя „башенной Божией Матери“» [3].

---

[1] Михаил — крестное имя Ростислава Мстиславича.

[2] Завитневич В. З. К вопросу о происхождении названия и о местоположении киевской церкви «Святой Богородицы Пирогощей», с. 161.

[3] Кондаков Н. П. Иконография Богоматери, т. II, с. 72.

Идя разными путями, мы, следовательно, приходим к тому же выводу, что и Н. П. Кондаков.

Сообщение в Лаврентьевской летописи под 1131 г. о закладке князем Мстиславом Владимировичем (сыном Мономаха) церкви Богородицы Пирогощей находится непосредственно после известий о победах Мстислава в Литве (в том же 1131 г.) и над Чудью (под 1130 г.). В том же контексте и сообщение о закладке церкви Богородицы Пирогощей в Ипатьевской летописи, но с обычным для этой летописи некоторым хронологическим сдвигом в один год (основание церкви относится к 1132 г., победы — соответственно к 1131 и 1132 гг.). Можно думать поэтому, что закладка церкви Пирогощей находится в связи с этими победами, как благодарность этой иконе, что указывает на то, что икона Пирогощей воспринималась, как и обе иконы Влахернского монастыря, как защитница страны.

Привоз икон Пирогощей и Владимирской из Царьграда, о котором сообщают летописи под 1151 г. как о факте, относящемся к прошлому[1], должен был совершиться до 1131—1132 гг. — года закладки церкви Пирогощей. Он мог произойти в 1129 или в 1130 г., когда Мстислав отправил в заточение в Царьград полоцких князей. На обратном пути из Царьграда послы могли привезти списки с обеих влахернских икон: будущей Владимирской и Пирогощей.

Само собой разумеется, что предложенное объяснение того, что представляла собой икона Пирогощей и ее история на Руси,— не более, чем гипотеза, но гипотеза, начало которой положено такими выдающимися знатоками русских древностей и «текстоспособными» искусствоведами, как Н. П. Кондаков и Н. П. Лихачев[2].

---

[1] «В лето 6639, Мстислав ходи на Литву и взем полон мног и воротися опять. В то же лето заложи церковь Мстислав святыя Богородица Пирогощюю» (Лавр. лет., под 1131 г.). Наиболее обстоятельный обзор литературы о местонахождении церкви Пирогощей см. в кн.: Каргер М. К. Древний Киев. Очерки по истории материальной культуры древнерусского города, т. 2. Памятники киевского зодчества X—XIII вв. М.—Л., 1961, с. 438—442. М. К. Каргер отождествляет ее с Успенской церковью на Подоле, разобранной в 1930-е гг. Фундаменты древней церкви раскрываются в настоящее время раскопками Института археологии АН УССР под руководством П. Толочко.

[2] Пользуюсь случаем подчеркнуть, что в изучении византийского искусства как искусства, тесно связанного с текстами, особенное значение имеет знание греческих произведений в подлиннике.

Существует предположение, что название иконы «Башенная» (Пирогощая) происходит оттого, что она находилась в круглой Влахернской церкви, напоминавшей собой башню. Действительно, император Лев (457—474 гг.) построил круглый в плане храм во Влахернах, в котором в ковчеге была положена одежда Богоматери [1]. Храм этот сгорел в 1454 г. Однако предположение о том, что круглая церковь могла называться башней, не кажется основательным. Круглые в плане храмы-ротонды существовали и на Руси (в Галицком княжестве), и в Византии, и на Западе, но ни в одном случае эти круглые храмы не назывались башнями. Дело в том, что круглая форма крепостных башен сравнительно поздняя. Она появилась в связи с развитием артиллерии и необходимостью лучше противостоять разрушительной силе ядер. В пределах до XV в. крепостные башни строились в основном прямоугольными в плане. Круглые башни были исключениями (например, в XIII в. в Каменце Литовском — типа донжона, одиноко стоящая) [2]. Обстоятельный разбор различных точек зрения на происхождение названия и гипотез о местоположении церкви Пирогощей имеется в монографии М. К. Каргера «Древний Киев» [3]. Поэтому я не останавливаюсь на этом вопросе. Отмечу только отсутствующую у М. К. Каргера гипотезу Марка Шефтеля. Последний предполагает, что название «Пирогощая» могло произойти от греческого «παρηγορετισσα» — «Утешительница», что маловероятно [4].

Сравнительно недавно Д. Н. Альшиц высказал предположение, что слово «пирогощая» составное: из греческого «πῦρ» (огненного цвета, горящая) и «гощь» (якобы от русского «горящая»). Под «огнем» «горящая». Д. Н. Альшиц предполагает тип Богоматери «Неопалимая купина» [5]. Однако принятию предположения

---

[1] Архиепископ Сергий. Полный месяцеслов Востока, т. II, с. 245.

[2] За это указание благодарю П. А. Раппопорта.

[3] Каргер М. К. Древний Киев, т. 2, с. 434—439.

[4] См.: Szeftel, Marc. Commentaire historique au texte de Slovo. — В кн.: La Geste du prince Igor. New York, 1948, с. 148.

[5] Альшиц Д. Н. Что означает «Пирогощая» русских летописей и «Слова о полку Игореве». — В кн.: Исследования по отечественному источниковедению. М.—Л., 1964, с. 481.

Д. Н. Альшица мешают четыре обстоятельства: 1) не доказано, что тип иконы «Неопалимой купины» существовал до XV в.; древнейшее изображение «Неопалимой купины» — шитье второй половины XV в., хранящееся в Русском музее (шифр ДР Т 31; из Кирилло-Белозерского монастыря). На шитье — не традиционное для XVII в. изображение Богоматери внутри двух перекрещивающихся ромбовидных форм, а в виде горящего куста терновника, на фоне которого дано изображение Богоматери, и рядом помещено изображение Моисея, снимающего обувь (согласно известному библейскому рассказу о явлении горящего куста Моисею) [1].

У Н. П. Кондакова в работе «Памятники христианского искусства на Афоне»[2] делается предположение, что иконы Богоматери «Знамение» могли изображать символ богоматери — «неопалимую купину». Однако в таком случае этот тип иконы не мог называться «огнем горящая», ибо никакого огня здесь не изображалось; 2) символ Богоматери — горящий куст терновника — не мог также называться «огнем горящая» Богоматерь, так как смысл символа в обратном: куст не сгорел. В этом названии искажался бы самый смысл символа — названия же иконы давались не по видимому изображению, а по невидимому значению прообраза; кроме того, все названия икон были традиционными и предполагать их «народные» названия очень трудно; 3) не доказана возможность существования в XII в. макаронического типа слова, при котором в сравнительно стройном и правильном древнерусском языке могли бы в одном слове соединиться слова греческие и русские, [3] 4) не доказана лингвистическая возможность появления слова «гощая» из «горящая».

---

[1] Цветное воспроизведение см.: Маясова Н. Я. Древнерусское шитье. М., 1971, илл. 14. За эти указания благодарю свою дочь — Л. Д. Лихачеву.

[2] Кондаков Н. П. Памятники христианского искусства на Афоне. СПб., 1902.

[3] Это же обстоятельство мешает увидеть в слове «Пирогощая» соединение греческого «πυρος» (пшеница, хлеб) и русского «гощь» (от слова «гость» — купец; ср. геогр. «Будгощь», «Людогощь» и пр.). «Пирогощь» в таком случае означало бы место объединения торговцев хлебом. Последняя гипотеза была высказана И. И. Малышевским в упомянутой выше статье «О церкви и иконе св. Богородицы под названием «Пирогоща»...».

В заключение мне хотелось бы предостеречь читателей от попыток увидеть в монете Андроника Палеолога с изображением Одигитрии в окружении стен с башнями простое и точное уменьшение иконы Пирогощей. Изображение иконы на монетах и моливдовулах было прежде всего символическим. Оно не должно было следовать формам и композиции изображаемой иконы. Изображение Одигитрии в кругу стен с башнями на иконе было бы весьма необычным. Более естественной была бы другая иконная композиция — сидящей Одигитрии на престоле, являющемся одновременно градом со стенами и башнями.

В исследовании Тани Вельман[1] приводятся примеры того, как престол, на котором изображается сидящей Богоматерь, принимает формы зданий (иконы Благовещения из Охрида в музее в Скопле, Рождества Богоматери из Периблепты в Мистре, Благовещения в Беренде (Болгария, XIV в.). Такая форма престола, несомненно, связана с тем, что Богоматерь символизирует собой град, хотя имеется изображение и евангелиста Иоанна, сидящего на троне, представляющем собой здание-город (миниатюра в Евангелии св. Медарда Суассонского, Национальная библиотека в Париже, Lat. 8850, fol. 180 v.; воспроизведение у Тани Вельман, с. 196). Это изображение трона также не случайно: Иоанн — автор «Откровения» (Апокалипсис), он теснейшим образом связан с судьбами государств и мира. Отметим также, что архитектурные формы имеет престол Толгской Богоматери конца XIII в. в Третьяковской галерее[2], и икона Богоматери с младенцем второй половины XIII в. в Вашингтонской Национальной галерее[3], и миниатюра из греческой рукописи Акафиста пресвятой Богородице в Московском Историческом музее, второй половины XV в. (греч. 429, л. 18 об.)[4]. Среди всех перечисленных изображений Богоматери довольно много

---

[1] Velmans Tania. Le Rôle de décor architectural et la représentation de l'éspace dans la peinture des Paléologues. — «Cahiers archéologiques», XIV. Paris, 1964, с. 207 и др.

[2] См.: Антонова В. И. и Мнева Н. Е. Каталог древнерусской живописи, том 1. XI — начало XVI века. М., 1963, табл. 116.

[3] См.: Лазарев В. Н. История византийской живописи, т. 2. Атлас. М., 1948, табл. 269. См. также: Talbot Rice, David. Byzantine painting, The Last Phase. London, 1969, pl. 67, с. 91.

[4] Там же, табл. 330.

иконографических типов, но среди них есть и такой, в котором сидящая Богоматерь Одигитрия как бы окружена стеной с мелкими башнями.

Для искусствоведов и музейных работников, если бы они задались целью отыскать прототип или даже оригинал Пирогощей, представят интерес следующие два указания архиепископа Сергия: «Галатская икона Божией Матери (что в Пергии, т. е. в Пирге (башне) в Царьграде). Монастырь ее был в Галате по Крузию... еще в 17 веке... Точное изображение находится в Москве в церкви св. Тихона чудотворца» [1]. И далее: «Влахернская икона Божией Матери. Влахерны — в Царьграде на западном углу города между шестым холмом и заливом. Икона находилась здесь в храме, построенном Пульхериею. Она сделана из воскомастики. Она есть та самая, которую имел царь Ираклий в походе против персов. В 1653 г. (по другим — в 1654 г.) принесена царю Алексею Михайловичу. Ныне в Успенском соборе в приделе апостолов Петра и Павла» [2].

Относительно иконы Влахернской Божьей Матери в приделе Петра и Павла Московского Успенского собора см. более подробные сведения в книге Н. П. Кондакова [3]. В той же книге есть и указание на изображение этой иконы. Что это за икона, какой тип из двух влахернских икон Богоматери она представляет,— судить искусствоведам.

Итак, свожу в единое целое свои утверждения, гипотезы и некоторые догадки.

Игорь по возвращении из плена после Новгорода Северского и Чернигова едет в Киев, где должен выполнить свой обет Богоматери Пирогощей, данный им в плену у половцев. Об этом обете прямо не говорят ни летопись, ни «Слово», так как Игорь освободился из плена «неславным путем». Только по косвенным основаниям мы можем догадываться об этом обете (его покаяния, обычно дававшиеся в связи с обетами). Обет был выполнен в киевском храме, так как, по-видимому, ни в Чернигове, ни в Новгороде Северском не был развит специальный богородичный культ, связанный с защитой

---

[1] Архиепископ Сергий. Полный месяцеслов Востока, т. II, с. 254.

[2] Там же, с. 258—259.

[3] Кондаков Н. П. Памятники христианского искусства на Афоне, с. 148 и след.

от врагов этих городов. Чернигов имел своим патрональным храмом храм Спаса. Спас был, по-видимому, патроном и вассального по отношению к Чернигову Новгорода Северского.

Игорь не обращался ни к Богородице Десятинной, ни к Богородице Софии (Нерушимой Стене), так как он не был киевским князем и не мог по феодальному этикету того времени, возвращаясь из плена, ехать в патрональные храмы Киева, в которые обычно отправлялись киевские князья воздать благодарность за победу и освобождение пленных.

Культ Богоматери в Киеве и во Владимире как защитницы Русской земли восходит к Влахернскому монастырю, где хранилась риза Богоматери и где произошло «чудо», давшее основание русскому празднику Покрова. Храм Ризы Богоматери был надвратным, «защитным» храмом во Владимире. В Киеве имелся монастырь Влахернский и с ним же был связан Киево-Печерский монастырь.

Как предполагают Н. П. Кондаков и Н. П. Лихачев, во Влахернском монастыре было две иконы Богоматери, двух разных типов. Предполагаю, что русские послы, отправлявшие в 1129 г. в заключение в Константинополь полоцких князей, на обратном пути из Константинополя в 1130 или 1131 г. привезли списки обеих влахернских икон: одну из них — сохранившуюся Богоматерь Владимирскую и другую — Одигитрии Башенной, изображавшей Богоматерь в окружении семибашенных стен Влахернского монастыря. Последняя икона и была Пирогощей.

СОН КНЯЗЯ СВЯТОСЛАВА В «СЛОВЕ»

Вещие сны не редкость в средневековых памятниках. В частности, о них рассказывается и в древнерусских и древнеславянских переводах Библии, «Деяний апостольских», «Александрии», «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия, «Хроники Георгия Амартола», Проложных житиях и сказаниях, в «Девгениевом деянии» и др. Есть вещие сны и в чисто русских памятниках. Так, о вещем сне епископа Нифонта рассказывается в Ипатьевской летописи под 1156 г. Наиболее близкая параллель к сну Святослава «Слова о полку Игореве» отыскивается в «Летописце Переяславля Суздальского» (сборник Московского главного архива иностранных дел, XV в. № 902 — 1468), изданном К. М. Оболенским в 1851 г. и больше не переиздававшемся. Обнаружил и сообщил эту параллель к сну Святослава А. И. Кирпичников в статье «К литературной истории русских летописных сказаний»[1]. Однако А. И. Кирпичников ограничился только указанием на сходство обоих снов и неполно привел текст сна Мала. Последующие исследователи и комментаторы «Слова о полку Игореве» также ограничились общим указанием на сходство обоих снов, не указывая на то, в чем это сходство состоит. Между тем, как это мы увидим, сон Мала может до известной степени помочь в толковании и прочтении одного неясного места в сне Святослава «Слова о полку Игореве».

---

[1] «Изв. ОРЯС», т. II. СПб., 1897, кн. 1, с. 60. Обзор встречающихся в древнеславянской письменности вещих снов см.: Перетц В. Н. Слово о полку Ігоревім. У Київі, 1926, с. 238—246.

Большое число параллелей к отдельным реалиям сна приведено в статье: Алексеев М. П. К «Сну Святослава» в «Слове о полку Игореве». — В кн.: «Слово о полку Игореве». Сборник исследований и статей под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.—Л., 1950.

Приведу параллельно оба рассказа.

ТЕКСТ «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» ПО ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Святъславь мутенъ сонъ видъ: въ Киевѣ на горахъ си ночь съ вечера одѣвахъте мя, рече, чръною паполомою, на кроваты тисовѣ. Чръпахуть ми синее вино съ трудомь смѣшено; сыпахуть ми тъщими тулы поганыхъ тльковинъ великый женчюгь на лоно, и нѣгуютъ мя; уже дьскы безъ кнѣса в моемъ теремѣ златоврьсѣмъ. Всю нощь съ вечера босуви врани възграяху, у Плѣсньска на болони бѣша дебрь Кисаню, и не сошлю къ синему морю.

ТЕКСТ «ЛЕТОПИСЦА ПЕРЕЯСЛАВЛЯ СУЗДАЛЬСКОГО»

Князю же веселіе творящу къ браку и сонъ часто зряше Малъ князь: се бо пришед Олга дааше ему пръты многоценьны червены вси жемчюгомъ иссаждены и одѣяла чръны съ зелеными узоры и лоди, в нихъ же несенымъ быти, смолны.

Для того чтобы сравнить оба сна, надо принять во внимание обстоятельства, которые им сопутствовали. Попробуем сравнить оба сна в свете этих обстоятельств. Сходство обоих снов состоит в следующем:

1. Оба сна предвещают несчастья с людьми, зависевшими от князя. В сне Святослава — это войско Игоря, потерпевшее поражение на Каяле. Поражение уже состоялось, но известие о нем еще не дошло до Святослава: он узнает о нем затем от своих бояр. В сне князя Мала — это гибель его послов-сватов, которых Ольга сбросила вместе с их лодьями в яму. Сон Мала рассказывается в «Летописце Переяславля Суздальского» уже после того, как послы Мала погибли в своих лодьях, но раньше того, как он об этом узнает. Следовательно, оба вещих сна сообщают о том, что уже случилось, но о чем еще не могли знать те, кому эти сны снятся.

2. И Святослав, и Мал видят себя одариваемыми подарками. К этим подаркам имеют отношение те, кто явился причиной несчастий. В сне Мала дорогие одежды и черные одеяла дарит ему Ольга, которая приказала убить послов. В сне Святослава кто-то одевает его черною паполомою и угощает синим вином. На него сыпят великий жемчуг из колчанов «поганых толко-

вин». «Поганые толковины» — это союзные Игорю Святославичу ковуи, которые первые побежали в битве с половцами и, останавливая которых, Игорь попал в плен к половцам. Бегством этих ковуев объясняет составитель рассказа Ипатьевской летописи о походе Игоря поражение последнего.

3. Подарки обоим князьям драгоценны. Они сходны: черная паполома Святославу, черные одеяла Малу. В обоих подарках присутствует жемчуг [1].

Есть и различия. В частности, в сне Мала Ольга дарит ему и «лодьи», «в нихъ же несенным быти, смолны». Однако это различие отпадает, если мы примем чтение, предложенное еще И. Снегиревым [2] и В. Макушевым [3] и развитое В. Н. Перетцем: «у Плѣсньска на болони бѣша дебрьски сани и несоша е к синему морю [4]. Возможно, вместо «несоша е» следует читать «несоша мя», так как весь рассказ ведется в первом лице самим Святославом.

Лодьи и сани — почетное средство передвижения и вместе с тем средство перевозки покойников. Первая месть Ольги послам-сватам Мала состояла в том, что их понесли в лодьях и сбросили в яму. Послы думали, что им оказывается честь, а на самом деле им были устроены похороны. Святославу приснились сани и в них также понесли его к месту несчастья русских — «къ синему морю».

Сон Мала — это древнее («Летописец Переяславля Суздальского» в этой своей части составлен в XIII—XIV вв.) этнографическое подтверждение сна Святослава. Разумеется, здесь не могло быть ни заимствования, ни влияния одного сна на другой. Сходство — в одинаковости, общности верований и представлений.

Нигде, кроме «Летописца Переяславля Суздальского», упоминание о сне Мала больше не встречается.

---

[1] О жемчуге в сне Святослава см.: Sayar B. Ein gnostisches Bild im Igorlied und in der Chronik von Georgios Hamartolos.— «Zeitschrift für Slavische Philologie». Bd. XXXIX, H. 1. 1976, с. 173—177.

[2] Снегирев И. Поведание и сказание о побоище великого князя Дмитрия Ивановича. — «Исторический сборник», т. III. М., 1838, предисловие.

[3] Макушев В. Рецензия на книгу: Н. С. Тихонравов. Слово о полку Игореве. М., 1866. ЖМНП, 1867, февраль.

[4] Перетц В. Н. Слово о полку Ігоревім, с. 252.

Составитель «Летописца» вставил в свой труд и некоторые другие фольклорные материалы. Так, например, значительному распространению подвергся в «Летописце Переяславля Суздальского» рассказ о юноше кожемяке, победившем печенежского богатыря на месте будущего Переяславля Южного. Интерес «Летописца Переяславля Суздальского» к событиям Переяславля Южного понятен, но почему и на основании каких материалов (по-видимому, все же фольклорных) вставил составитель «Летописца Переяславля Суздальского» свой рассказ о сне Мала,— неизвестно.

Вторая по близости к сну Святослава параллель может быть отмечена в «Легенде мантуанского епископа Гумпольда о святом Вячеславе (Вацлаве — *Д. Л.*) Чешском» в славянском переводе с латинского, восходящем, возможно, как это указано его исследователем Н. К. Никольским, к XI в.[1]. Параллель эта не упоминалась в литературе, между тем она интересна, свидетельствуя об устойчивости верований в приметы в сновидениях.

Приведу текст сновидения, которое видел князь Вячеслав, в славянском переводе (последний полнее, чем дошедший латинский оригинал). Составитель жития пишет:

«Не таити подобает и видение его пророчествие, еже о Павле презвитере и о дому его, еже сам, възбнув, преже тако поведа, к всем глаголя.

На одре лежашу мне и почивающу милаа моа дружино и иже от отрок моих слуги, посреди нощи страшно видение приат мя, яко Павла попа дворови вся основа от выше до долу и от всех человеческих жилищь видех отинуд опустевшь, им же видением тужа прометахся и внутренею скорбию печали за благоверныа простирахся. Но обаче видение се ко всеведущему творцу милостивому исправлю, во нь же верою и истине речи сего видениа разрешу.

Дому по истине разрешение видениа моего съпричастно моеа бабы Людмилы и честныа жены знаменается

---

[1] Никольский Н. Легенда мантуанского епископа Гумпольда о св. Вячесла́ве Чешском в сла́вяно-русском переложении. — В кн.: Памятники древней письменности и искусства, CLXXIV. СПб., 1909, с. 2—77.

смерть, и дом опустевшии Павлов клириком нашим и законником изгнание и земля и разграблению имению их являет, веде бо родителница моа яко родом тако и деянием по истине осквернением дел погана и недостоина именовати с другими съветники своими злыми, бога неведущими любящися, мысли о свекрови своеи пагубе. Си же словеса его светлее солнца сбышася»[1].

Со сном Святослава сон Вячеслава может быть сближен по следующим общим им обоим приметам:

1. Оба сна рассказываются окружающим сразу по пробуждении.

2. Князя Вячеслава на одре окружает «милая дружина»; князя Святослава после пробуждения — бояре, называющие себя «дружиной».

3. Князь Вячеслав говорит, что он лежал «на одре», князь Святослав видит себя во сне лежащим на кровати.

4. Князь Вячеслав видит опустевшим двор Павла-пресвитера во всей своей «основе» — «от выше до долу» (то есть от самого верха до низа); князь Святослав видит свой терем без «кнѣса» (то есть самой его верхней перекладины на крыше).

5. Князя Вячеслава охватывает «туга» («им же видением тужа прометахся»); по словам бояр, толкующих сон Святослава, «уже, княже, туга ум полонила».

6. Оба сна имеют в произведениях свои толкования. Сон князя Вячеслава толкует сам князь Вячеслав; сон князя Святослава — его бояре.

7. Сон князя Вячеслава предрекает смерть Людмилы и изгнание из всей страны церковнослужителей и «законников» их врагами — язычниками. Сон Святослава в толковании бояр означает поражение дружины Игоря от «поганых» и несчастье для всей Русской земли.

8. Сон Святослава касается только что случившегося или только еще происходящего; сон Вячеслава сбывается с полною точностью: «светлее солнца сбышася».

---

[1] Никольский Н. Легенда мантуанского епископа Гумпольда о св. Вячеславе Чешском в славяно-русском переложении. — В кн.: Памятники древней письменности и искусства, CLXXIV. СПб., 1909, с. 29—31.

Разумеется, не следует видеть в приведенной параллели между сном Святослава и сном Вячеслава заимствования из одного произведения в другое: перед нами близость, обусловленная общностью верований и отчасти литературной манеры, ибо чисто литературная функция предчувствий и пророчеств в литературных произведениях всегда и во все времена одна: усиливать драматическое напряжение повествования.


2

ИСТОРИЯ ПОДГОТОВКИ ТЕКСТА «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» К ПЕЧАТИ В КОНЦЕ XVIII в.

Как известно, рукопись «Слова о полку Игореве» погибла вместе со всем собранием рукописей ее владельца, А. И. Мусина-Пушкина, вместе с другими его ценнейшими рукописями в пожаре Москвы 1812 г. В том пожаре погибли и другие ценнейшие библиотеки и рукописные собрания. Их можно насчитать несколько десятков. Текст рукописи был доступен всем ею интересовавшимся около двух десятков лет. Но отразился этот текст в основном, если не считать выписок, сделанных для себя Н. М. Карамзиным и А. Ф. Малиновским, только в копии, сделанной для Екатерины II, и в первом издании «Слова» 1800 г.

Несмотря на наличие отдельных работ, посвященных специально первому изданию «Слова о полку Игореве» и так называемой Екатерининской копии, оба эти вида воспроизведения утраченной рукописи «Слова» современными приемами текстологии изучены не были. Работы П. Пекарского, П. В. Владимирова, И. И. Козловского, П. К. Симони о палеографических особенностях погибшей рукописи «Слова», о Екатерининской копии и первом издании исходили из предпосылки, что первые публикаторы «Слова» стремились передать его текст, но не умели этого сделать, не могли прочесть правильно рукопись и только поэтому допускали в своей работе отдельные, довольно многочисленные, ошибки, одни из которых больше, другие меньше искажали памятник. К изучению этих отдельных ошибок в Екатерининской копии и в первом издании и к конъектурным поправкам на этой основе отдельных мест сводилось в основном текстологическое рассмотрение Екатерининской копии и первого издания. На этом пути были достигнуты несомненные успехи. Многие ошибки были не только выяснены, но удалось правильно

и бесспорно восстановить некоторые первоначальные чтения в рукописи. Мало того, отдельные ошибки были объяснены особенностями графики погибшей рукописи (бесспорно удачны объяснения таких неправильных прочтений в Екатерининской копии, как «Зояни», «ни оочима съглядати» и т. д.). На основании этих ошибок, точно объясняемых палеографическими особенностями погибшей рукописи «Слова», оказалось возможным выяснить некоторые ее палеографические приметы и по ним приблизительно определить ее время и почерк.

Однако при всех этих отдельных достижениях изучение Екатерининской копии и первого издания имело определенные изъяны. Прежде всего отметим, что не были изучены *приемы передачи текста* в Екатерининской копии и первом издании. Все расхождения между Екатерининской копией и первым изданием «Слова» (1800 г.) объяснялись неряшливостью издателей, считались результатом простых ошибок [1]. Не было также попытки основательно рассмотреть вопрос об отношении Екатерининской копии к погибшей рукописи: списывал ли писец непосредственно с рукописи или текст был ему заранее кем-то подготовлен. Наконец, не было сделано попытки вскрыть отношение Екатерининской копии к первому изданию. Одним словом, текстологические взаимоотношения первого издания, Екатерининской копии и погибшей рукописи остаются совершенно не изученными. Неизученным остается и вопрос о том, с каких текстов делались первые переводы «Слова», а также текстологические связи этих переводов друг с другом.

Предлагаемая вниманию читателей работа представляет собой попытку текстологического исследования всех вышеперечисленных вопросов с целью установления генеалогического взаимоотношения дошедших до нас «списков» «Слова» с погибшей рукописью.

* * *

Установление приемов передачи текста памятника его издателями не представляет затруднений, когда рукопись цела и издание может быть с ней сверено.

---

[1] Именно так интерпретировал расхождения П. В. Владимиров; см.: Литература «Слова о полку Игореве» со времени его открытия (1795 г.) по 1894 г.—«Университетские известия», Киев, 1894, № 4.

В тех же случаях, когда оригинал издания погиб, сложность такой задачи возрастает, но частичное решение ее все же возможно. Некоторые вопросы решаются безусловно, а другие — гипотетически, по аналогии, на основании изучения уровня текстологической техники того времени или приемов публикации, примененных теми же издателями в отношении других памятников, рукописи которых сохранились.

В самом деле, не имея самой рукописи, но зная общие языковые, орфографические и графические нормы древнейших рукописей, можно все же решить, что именно в издании оказалось опущено, дополнено или изменено. В отношении «Слова о полку Игореве» не представляет, например, сомнений, что в рукописи были йотированные гласные, юс малый и некоторые другие буквы, в издании опущенные. Не трудно догадаться также, что пунктуация и прописные буквы расставлены издателями, исчезли титла, выносные буквы внесены в текст и т. д. Все это совершенно ясно каждому, имевшему дело с первым изданием, и не требует особого, углубленного рассмотрения, хотя надо сказать, что общего свода таких «правил публикации» издания 1800 г. до сих пор ни одним исследователем дано не было.

Кроме того, можно определить некоторые публикаторские приемы издателей «Слова» на основании других выполненных ими же изданий. Эта вторая возможность, несмотря на всю очевидность, также до сих пор не была использована [1].

В распоряжении исследователей имеется мусин-пушкинское издание «Поучения» Владимира Мономаха. Из всех изданий А. И. Мусина-Пушкина и двух его помощников по публикации «Слова» только это издание, вышедшее в 1793 г. [2], может служить для выяснения приемов передачи текста «Слова». «Русская Правда», изданная А. И. Мусиным-Пушкиным с участием Болтина

---

[1] Это писалось мною в 1957 г. (ТОДРЛ, т. XIII. М.—Л., 1957, с. 67). Впоследствии этот вопрос был подвергнут изучению в обстоятельной монографии Л. А. Дмитриева «История первого издания „Слова о полку Игореве“» (М.—Л., 1960; все ссылки на страницы этого издания в тексте статьи в скобках).

[2] Духовная великого князя Владимира Всеволодовича Мономаха детям своим, названная в летописи Суздальской «Поученье» (СПб., 1793).

в 1792 г.[1], представляет собой компиляцию XVIII в. из разных списков и поэтому не может быть сверена с рукописями. Все остальные издания А. И. Мусина-Пушкина, Н. Н. Бантыша-Каменского и А. Ф. Малиновского посвящены сравнительно поздним памятникам, и итоги сличения их с рукописями не могут быть показательными.

Не может дать особых результатов также изучение издательских приемов конца XVIII в. Эти приемы были крайне неустойчивы, разнообразны и произвольны. Изучение их в будущем потребует много труда, но вряд ли представит интерес для исследования публикаторских приемов первых издателей «Слова». Таким образом, единственным изданием, с которым в первую очередь и главным образом должен считаться исследователь первого издания «Слова», должно быть бесспорно признано мусин-пушкинское издание «Поучения».

«Поучение» Мусиным-Пушкиным издавалось непосредственно в те годы, когда была обнаружена рукопись «Слова», может быть, несколько раньше[2]. Вышедшее спустя семь лет после «Поучения» первое издание «Слова» выполнено в основном в том же типе (тот же формат, та же система примечаний внизу страницы под чертой и та же параллельная подача текста и перевода в две колонки, но разными шрифтами)[3]. Внешнее отличие первого издания «Слова» от издания «Поучения» состоит в том, что текст «Слова» напечатан гражданским шрифтом (курсивом), тогда как текст «Поучения» напечатан шрифтом церковно-славянским (на причинах, по которым первые издатели «Слова» решили отказаться от церковнославянского шрифта, и на том, ка-

---

[1] Правда Руская, или Законы великих князей Ярослава Владимировича и Владимира Всеволодовича Мономаха. С преложением древнего оных наречия и слога на употребительные ныне, и с объяснением слов и названий, из употребления вышедших. Изданы любителями отечественной истории. М., 1792; изд. 2-е. М., 1799.

[2] Н. К. Гудзий в статье «Судьбы печатного текста „Слова о полку Игореве“» (ТОДРЛ, т. VIII. М. — Л., 1951, с. 34) относит время приобретения рукописи «Слова» А. И. Мусиным-Пушкиным «к началу 1790-х годов». Присоединяемся к его мнению.

[3] Отметим, что вышедшее на год раньше издания «Поучения» мусин-пушкинское издание «Русской Правды» (СПб., 1792) уже приближается к этому типу — с тем только различием, что примечания идут не внизу страницы, под чертой, а сразу же за текстом статьи. В конце издания дан словарь-указатель.

кие существенные изменения были с этим связаны, я остановлюсь в дальнейшем).

Правда, в числе издателей «Поучения» не было еще ни Н. Н. Бантыша-Каменского, ни А. Ф. Малиновского, но именно это обстоятельство позволит нам в дальнейшем до известной степени установить долю ученого участия в первом издании «Слова» этих двух его редакторов.

Сопоставляя мусин-пушкинское издание «Поучения» с рукописным текстом «Поучения» в Лаврентьевской летописи, нетрудно убедиться в том, что издатели довольно решительно приноравливали текст «Поучения» к орфографической системе церковнославянской печати второй половины XVIII в. Решительность этого приноровления не была, впрочем, одинаково последовательной во всех случаях. Издатели «Поучения» стремились преимущественно к тому, чтобы внешний вид текста не отличался от внешнего вида обычного церковнославянского набора XVIII в. Все диакритические знаки церковнославянского шрифта, как известно, весьма обильные в XVIII и XIX вв., широко применены в издании и никак не отражают той скромной системы этих знаков, которая имеется в рукописи Лаврентьевской летописи. Текст «Поучения», само собой разумеется, разбит на слова, предлоги отделены от последующего слова, в конце слов, оканчивающихся на согласный, последовательно расставлены «ъ», прописные буквы и знаки препинания, исправлено согласно орфографическим нормам XVIII в. употребление «ѣ» («онемѣють» → «онѣмеють», с. 13; «тобе» → «тобѣ», с. 13, и т. п.). Юсы малые поставлены так, как это было принято в церковнославянской печати XVIII в. («своѥꙗ» → «своеѧ», с. 2; «моѥꙗ», → моеѧ», с. 3; «любаꙗ» → «любаѧ», с. 4, и т. д.). По орфографическим нормам церковнославянской печати XVIII в. выправлено употребление «ѡ» («ꙗко» → «ꙗкѡ», с. 4, 10 и др.; «ѥго» → «ѥгѡ»», с. 4, 6, 11 и др.; «тако» → «такѡ», с. 3 и т. д.), «ѕ» («зло» → «ѕло», с. 10, 53, 55 и др.; «злых» → «ѕлыхъ», с. 58), «ѱ» («псалтырю» → «ѱалтырю», с. 3), «і» («приимайте», → «пріимайте», с. 4; «мира» → «міра», с. 9 и т. д.). Исправлено употребление выносных букв, сокращений, титл (постоянны «б҃ъ» → «бг҃ъ», «б҃е» → «бж҃е», «гⷭ҇а» → «гдⷭ҇а», «гⷭ҇не» → «Гдⷭ҇не», «еваⷢ҇гльскому» → «еѵⷢ҇льскому», с. 9 и т. д.).

«Ю» после «ч», «ш» и «щ» заменено, согласно правописанию XVIII в., на «у» («чюна» → «чꙋдна», с. 12; «чюде» → «чꙋдесъ», с. 12 и т. д.); «ы» после «к» заменено на «и» (всюду «пакы» → «паки»; «великы^{х}» → «великихъ», с. 12). В некоторых случаях в середину слова вставлен «ь» — опять-таки в тех случаях, где это требовалось орфографией и произносительными нормами XVIII в. («печална» → «печальна», с. 4; «меншими» → «меньшими», с. 7; «хвално» → «хвально», с. 12; «силныꙗ» → «сильныꙗ», с. 12; «толко» → «только», с. 37; «дѣтми» → «дѣтьми», с. 42; «половечскы^{х}» → «Половечьскыхъ», с. 43 и т. д.). Отдельные русские формы церковнославянизированы («луче» → «лучше», с. 5; «розноличнии» → «разноличнїи», с. 12; «присужено» → «присуждено», с. 31 и т. д.).

Таким образом, мусин-пушкинское издание «Поучения» не может быть охарактеризовано только как издание, «изобилующее разнообразными ошибками»[1], неправильными прочтениями и т. п. Во многих случаях то, что исследователи принимали за ошибки, было определенной системой передачи текста. Оправдывалась эта система тем, что А. И. Мусин-Пушкин считал «Поучение» написанным на «славянском наречии», «от перепищиков инде испорченном»[2]. Можно не сомневаться, что «порчу» текста А. И. Мусин-Пушкин видел в отступлениях от современной ему церковнославянской орфографии и в нарушениях привычного корректорского единообразия.

Остановимся более подробно на некоторых приемах передачи текста в «Поучении», проливающих свет на приемы передачи текста в Екатерининской копии и в издании 1800 г.

Существенное значение для установления приемов передачи текста «Слова о полку Игореве» в Екатерининской копии и в первом издании «Слова» имеют принципы расстановки «і» в мусин-пушкинском издании «Поучения». В самой рукописи «Поучения» «і» встречается только шесть раз: «крщенїи», «прiймите», ѡдіну», «ї на биричи», «ї в ловчих», «і нынѣ». Между

---

[1] Гудзий Н. К. Судьбы печатного текста «Слова о полку Игореве», с. 35.

[2] Духовная великого князя Владимира Всеволодовича..., с. VIII.

тем в издании «Поучения» оно всюду расставлено по правилам орфографии конца XVIII в.: «крщенїи» (с. 1; оставлено как и в рукописи), «прiимите» (с. 14), «одину» (с. 15), «ни на биричи» (с. 46), «и въ ловчихъ» (с. 47), «и нынѣ» (с. 61), а также: «дѣтїй»(вм. «дѣтии»), «бжїй» (вм. «бии»), «прїимайте» (вм. «приимаите»), «лукавнующїи») (вм. «лукавнующии») и многие другие. Следовательно, только в одном случае в издании «Поучения» «i» совпадает с «i» в рукописи!

Ту же выдержанность расстановки «i» по правилам орфографии XVIII в. находим мы и в первом издании «Слова»: «братїе», «повѣстiй», «замышленїю», «вѣщiй», мыслiю» и т. д. Данные мусин-пушкинского издания «Духовной» Владимира Мономаха не позволяют сомневаться в том, что расстановка «i» в Екатерининской копии и в первом издании «Слова о полку Игореве» отнюдь не отражает графику самой рукописи. Несомненно, что «i» расставлялось в первом издании в строгом соответствии с правилами орфографии конца XVIII в.

Исключение может быть отмечено только в двух случаях: «усобiцѣ» (с. 3) и «а Володимиръ» (с. 28). Характерно, что в обоих этих случаях Екатерининская копия более последовательно проводит орфографию XVIII в. В ней читается «усобицѣ» и «а Володимiръ». Надо думать, что изменения внесены в текст издания 1800 г. из рукописи (на примерах исправления текста 1800 г. по рукописи мы еще остановимся).

Таким образом, единственный случай, где мы можем полагать, что «i» издания точно соответствует «i» рукописи,— это слово «усобiцѣ».

Отсюда ясна правота А. С. Орлова, отказавшегося в своем издании «Слова» от «i» первого издания и всюду заменившего его буквой «и». В своем издании «Слова» А. С. Орлов писал: «Новостью нашей графики является совершенное устранение буквы «i», проставленной первыми издателями в тексте «Слова» несомненно под влиянием орфографии конца XVIII в. Итак, все «i» заменены у нас посредством «и», что соответствует средневековой графике в преобладающем числе случаев» [1]. Вслед за А. С. Орловым «i» заменяется на

---

[1] Орлов А. С. «Слово о полку Игореве». Изд. 2-е, дополн. М.—Л., 1946, с. 65.

«и» и в тексте «Слова», подготовленном к печати мною[1]. Думаю, что данные первого издания «Поучения Владимира Мономаха» полностью подтверждают правильность такой замены.

Совершенно ясно, что конечный «ъ» расставлен в Екатерининской копии и в первом издании во всех случаях в конце слов, оканчивающихся на согласный, даже тогда, когда его не было в рукописи. В самом деле, не может представлять сомнения, что в рукописи «Слова» были выносные буквы. Как известно, выносные буквы очень часты в конце слов, но в выносах конечный «ъ» не пишется. В первом же издании «Слова» почти все слова, оканчивающиеся на согласный (за крайне немногими исключениями, о которых я скажу в дальнейшем), имеют конечный «ъ». Здесь тот же прием передачи текста, что и в мусин-пушкинском издании «Поучения». Обычна, в частности, постановка «ъ» после предлогов, оканчивающихся на согласный. Предлоги же, как правило, в древнерусских текстах пишутся слитно с последующим словом.

При разделении предлога и слова в мусин-пушкинском издании «Поучения» обычно после конечного согласного в предлоге ставится «ъ»: «въ сердци» (из «всрдци»), «съ нами» (из «снами») и т. д. То же самое видим мы и в первом издании «Слова»: «подъ облакы» (дважды), «предъ пълкы», «отъ стараго», «отъ него», «къ дружинѣ», «съ вами», «въ тропу», «чресъ поля», «чрезъ поля», «къ дону», «въ Кыевѣ», «въ Новѣградѣ», «въ Путивлѣ», «подъ трубами», «подъ шеломы», «въ полѣ», «въ златъ», «въ стазби» (об этом выражении ниже), «въ срожатъ» (об этом выражении ниже), «съ зарания въ пяткъ», «съ ними», «въ полѣ», «съ моря», «въ нихъ», «съ Дону», «съ моря», «отъ Дона и отъ моря и отъ всѣхъ странъ», «отъ тебе», «въ златъ», «въ градѣ», «въ Черниговѣ», «съ тояже», «къ Кіеву», «въ княжихъ», «въ ты рати, и въ ты плъкы», «съ заранія», «съ вечера», «въ полѣ», «подъ копыты», «предъ зорями», «къ полудню», «къ земли», «въ силахъ», «съ всѣхъ», «съ побѣдами», «къ морю», «въ пламянѣ», «отъ двора», «изъ луку», «отъ железныхъ», «въ градѣ», «въ гридницѣ», «изъ

[1] Слово о полку Игореве. Л., 1949 и 1953. («Б-ка поэта». Малая серия.); Слово о полку Игореве. Серия «Литературные памятники». М.—Л., 1950; Слово о полку Игореве. М., Детгиз, 1949, 1954 и др.

сѣдла», «въ сѣдло», «въ Кіевѣ», «съ вечера» (дважды), «съ трудомь», «безъ кнѣса», «къ синему», «съ отня», «въ путины», «съ нимъ», «въ морѣ», «въ жестоцемъ», «въ буести», «съ черниговьскими», «съ Могуты и съ Татраны, и съ Шельбиры, и съ Топчакы, исъ Ревугы, и съ Ольберы», «съ засапожникы», «въ прадѣднюю», «въ мытехъ», «въ обиду», подъ саблями», «подъ ранами», «въ злата», «чрезъ облаки», «съ отня», «въ буести», «въ буйстве», «подъ шеломы», «подъ тыи», «къ граду» (дважды), «подъ кликомъ», «подъ чрълеными», «изъ храбра», «чресъ злато», «изъ дѣдней», «отъ земли», «отъ нихъ», «въ плъночи», «изъ Бѣла-града», «съ Дудутокъ», «отъ тѣла», «въ ночь», «изъ Кыева», «въ Полотскѣ», «въ колоколы», «въ Кыевѣ», «въ друзѣ», «къ горамъ», «въ Каялѣ», «въ Путивлѣ», «подъ облакы», «къ мнѣ», «къ нему», «къ Путивлѣ», «въ полѣ», «изъ земли», «къ отню», «отъ великаго», «въ полуночи», «къ тростію», «съ него», «къ лугу», «подъ мьглами», «подъ сѣнію», «къ земли», «съ Кончакомъ», «къ рѣцѣ» «къ гнѣзду» (дважды), «къ Кончакови», «безъ Игоря», «въ Руской», «къ Святѣй».

Сейчас я не останавливаюсь на некоторых незначительных разночтениях между Екатерининской копией и изданием 1800 г. Важно, что и в издании «Поучения», и в Екатерининской копии, и в издании 1800 г. принята одна и та же система расстановки «ъ» в конце слов после согласного, значительно нарушающая орфографические нормы XII—XVI вв.

В связи с изложенным встает вопрос, как было написано в рукописи слово «къмети». Как известно, Мусин-Пушкин не знал этого слова и разделил его на два «къ мети», переведя «в цель». Очень может быть, что конечный «ъ» поставлен был им при разделении этого слова на два, в рукописи же это слово вполне могло быть написано без «ъ»: «кмети». Предположение это полностью подтверждается мусин-пушкинским изданием «Поучения», где вместо «инѣхъ кметии молодых» напечатано «и инѣхъ къ мети и молодыхъ» (с. 44). Так именно это слово писалось в подавляющем числе случаев [1]. Отсюда ясно, что при реконструкции непонятных

[1] См.: Срезневский И. Материалы для Словаря древнерусского языка..., т. III. СПб., 1893, с. 1390.

«въ стазби» и «въ срожатъ» надо иметь в виду, что «ъ» также мог отсутствовать в рукописи.

Из всего приведенного материала о конечном «ъ» совершенно ясна ошибочность того, что пишет С. П. Обнорский о «ъ» в конце предлогов в своем исследовании языка «Слова о полку Игореве»: «Выдержанною графической чертой памятника, вероятно, обязанной последнему его писцу, отдавшему дань позднему югославянскому влиянию, служит устойчивое употребление «ъ» в исходе предлогов. Таковы написания не только тех предлогов, которые исконно оканчивались на «ъ» (въ 46 случаев, къ 23 сл., отъ 12 сл., подъ 14 сл., предъ 3, 18, съ 28 сл., чресъ 6, 34 и чрезъ 7, 30, 45), но в подравнение к ним и предлогов, не имевших первоначально в исходе «ъ» (таковы безъ 23, 44, и изъ 21, 22, 34 bis, 35, 36, 39)»[1].

Вернемся к вопросу о некоторых, весьма немногочисленных в первом издании «Слова», исключениях из рассмотренного нами приема расстановки «ъ» после конечного согласного. Случаи эти следующие: «вмоемъ» (с. 23), «стугою» (с. 43) и «бес щитовь» (с. 27). В первом и последнем случаях в Екатерининской копии предлоги написаны с «ъ» в конце и сами предлоги отделены от последующего слова. Во втором случае («стугою») слова написаны так же точно, как в Екатерининской копии (без «ъ» и слитно). Забегая несколько вперед, скажу, что издатели «Слова», несомненно, проверяли весь текст по рукописи, но в основе своей работы имели для проверки по рукописи текст, восходящий к протографу Екатерининской копии. Одновременно надо принять во внимание, что издание 1800 г. имеет большое количество опечаток, не изученных и даже не учтенных в науке. Первые издатели были весьма малоопытными корректорами и в исправлении опечаток, и в проведении единожды принятой системы.

Установлению единообразия в издании 1800 г. мешало постоянное обращение к подлинной рукописи «Слова» и стремление как можно ближе придерживаться текста рукописи, входившее в постоянное противоречие со стремлением к корректорскому единообразию на основе орфографических приемов XVIII в.

---

[1] Обнорский С. П. Очерки по истории русского литературного языка старшего периода. М.—Л., 1946, с. 138.

Приведу некоторые примеры. В издании 1800 г. слова «съморя» дважды напечатаны слитно (с. 12), в Екатерининской копии они разделены. Такого написания не могло быть в рукописи. В рукописи, без сомнения, было «сморя». А. И. Мусин-Пушкин первоначально отделил предлог от последующего слова и поставил после предлога «ъ». Такое написание в обоих случаях и дошло до нас в Екатерининской копии. При просмотре текста по рукописям первыми издателями, а может быть, и в результате ошибки наборщиков (во втором случае набор строки оказался очень тесным) оба слова слились. Имеются в первом издании и другие явные просмотры в разделении на слова. Так, например, напечатано: «и съ Шельбиры, и съ Топчакы, исъ Ревугы, и съ Ольберы» (с. 27). Совершенно ясно, что соединение союза «и» с предлогом «съ» в сочетании «исъ Ревугы» является не больше как грубым просмотром первых издателей.

Из сказанного становится ясным происхождение тех трех случаев, в которых после предлога с конечным согласным не был поставлен конечный «ъ». Предлог «в» (с. 23) не был отделен по недосмотру издателей, в отмену своему правилу, от последующего слова. Слова были написаны вместе в результате их очевидной проверки по рукописи, и, таким образом, восстановлено написание рукописи. Перед нами, несомненно, след воздействия самой рукописи, так как в Екатерининской копии, к протографу которой, как мы увидим в дальнейшем, восходит текст первого издания, эти слова написаны раздельно и с «ъ» после «в» — согласно приемам передачи текста А. И. Мусиным-Пушкиным. Не имеет конечного «ъ» предлог «бес» при последующем шипящем: «бес щитовь» (с. 27). Как известно, в таких случаях, согласно фонетическому приему письма в Древней Руси, буква «с» вообще опускается. В рукописи «Поучения» Мономаха мы имеем два таких случая: «ищерьнигова» и «ищернигова». В своем издании «Поучения» А. И. Мусин-Пушкин восстанавливает «правильное» (согласно представлениям XVIII в.) написание этих слов: «из Чернигова» (с. 43) и «и съ Чернигова» (с. 44), но странным образом, вопреки своей системе, забывает поставить «ъ» в конце предлога «из». Очевидно, А. И. Мусин-Пушкин, дополнив предлог буквой «с» и восстановив первоначальное «Ч» в слове «Чернигова»,

не решился поставить «ъ»,— иными словами, не довел до конца своей переделки текста.

Вообще в тех случаях, когда А. И. Мусин-Пушкин в своем издании «Поучения» восстанавливал в конце предлога согласную, он не ставил «ъ»: «без суперникъ» (с. 58; в рукописи «бесуперни[к]»), «безсемени» (с. 60; в рукописи «бесемене»). Полную аналогию этим случаям из «Поучения» мы и имеем и в «Слове» в примере с «бес щитовь».

Совсем просто решается вопрос об отсутствии «ъ» в словах «стугою» (с. 43). Здесь еще в протограф Екатерининской копии «проскочило» написание подлинной рукописи. Текст издания 1800 г. генетически восходит к этому протографу Екатерининской копии (доказательства мы приведем ниже), но неоднократно проверялся по рукописи. Естественно, что эти проверки только подтверждали слитное написание «стугою» без «ъ», интересы же корректорского единообразия в данном случае ускользнули от внимания издателей (такие случаи, как мною уже отмечалось, неоднократны в издании 1800 г.).

Теперь обратимся к тем правилам передачи текста рукописи, где Екатерининская копия ближе к системе, принятой для передачи текста в «Поучении», чем издание 1800 г. Наблюдения в этой области окажутся для нас в дальнейшем особенно важными.

Выше уже указывалось, что в отношении правил расстановки «і» и «ъ» в конце слов издание 1800 г. сравнительно с Екатерининской копией допускает отдельные (правда, очень редкие) исключения, приближающие, как можно предположить, издание 1800 г. к орфографии подлинной рукописи.

Еще яснее эта тенденция выступает в других правилах передачи текста, принятых в издании «Поучения» и в Екатерининской копии, но почти отмененных в издании 1800 г.

Крайне неустойчиво в издании «Поучения» «ѣ». Постоянны случаи постановки «ѣ» в тех случаях, когда его нет в рукописи, и наоборот. По большей части такие перемены производились по орфографическим правилам конца XVIII в.; «сане[х]»→«санѣхъ», «смѣренье» → «смеренье» (с. 9), «собе» → «собѣ» (с. 10), «тобе» → «тобѣ» (с. 13), «онемѣють» → «онѣмѣютъ» (с. 13), «кленитеся» → «клѣнитеся» (с. 17), «душѣ

своеѣ» ⟶ «душе своее» (с. 17), «сторожѣ» ⟶ «стороже» (с. 20), «идеже» ⟶ «идѣже» (с. 23), «боле же» ⟶ ⟶ «болѣ же» (с. 23), «вѧтичѣ» ⟶ «вѧтиче» (с. 31), «на сутеиску» ⟶ «на Сутѣиску» (с. 32), «к бѣлѣ вежи» ⟶ «къ Беле вежи» (с. 37), «вежѣ взѧхо[м]» ⟶ «Веже взѧхомъ» (с. 38), «половьчскиѣ» ⟶ «Половчьскіе» (с. 39), «своѣ» ⟶ «свое» (с. 43), «бра[т]ѣ» ⟶ «братье» (с. 44), «дикиѣ» ⟶ «дикїе» (с. 45), «оубогыѣ вдовицѣ» ⟶ «оубогые вдовицѣ» (с. 47) и т. д.

В первом издании «Слова» сравнительно с Екатерининской копией довольно много случаев колебания в написании слов с «ѣ» и с «е». Вряд ли здесь дело только в том, что А. И. Мусин-Пушкин и его ученые помощники не разобрали написаний. По-видимому, путаница объясняется тем, что публикаторы колебались между орфографической системой XVIII в. и написаниями рукописи. При этом по большей части (хотя были и обратные случаи) Екатерининская копия следовала орфографическим правилам XVIII в., а издание 1800 г. частично восстанавливало старые формы рукописи. Так, например, звательный падеж в Екатерининской копии оканчивается на «е», в издании же 1800 г. — на «ѣ»: «землѣ» (с. 12; Ек. — «земле»), «Всеволодѣ» (с. 13, 46; Ек. — «Всеволоде»), «Осмомыслѣ» (с. 30; Ек. — «Осмомысле»), «вѣтрѣ» (с. 38; Ек. — «ветре»). Сравнительно с Екатерининской копией издание 1800 г. восстанавливает древнее написание родительного падежа множественного числа: «на стадо лебедѣи» (с. 3 и 4; Ек. — «на стадо лебедей», согласно орфографии XVIII в.) [1].

Необходимо при этом отметить, что в конце XVIII в. древнее написание окончания родительного падежа множественного числа на «ѣй» не было известно. Поэтому следование в данном случае издания 1800 г. за рукописью несомненно.

Малопонятно систематическое разноречие между Екатерининской копией и изданием 1800 г. в словах «стрелять» и «стрела». В Екатерининской копии эти слова постоянно пишутся через «е», в издании же 1800 г. — всюду через «ѣ»: «стрѣлами» (с. 12, 13, 33, 43; Ек. — «стрелами»), «стрѣлы» (с. 15, 17; Ек. — «стрелы»), «стрѣляти» (с. 29; Ек — «стреляти»), «стрѣляеши» (с. 30; Ек. —

[1] См.: Козловский И. И. Палеографические особенности погибшей рукописи Слова о полку Игореве. М., 1890, с. 5.

«стреляши»), «Стрѣляй» (с. 30; Ек. — «Стреляй»). И в рукописях XII—XVII вв., и в орфографии XVIII в. в корне этих слов обычно пишется «ѣ» (исключение могло быть только в новгородских рукописях). Окончательно решить вопрос о том, должно ли было быть в рукописи «Слова» в этих случаях «ѣ» или «е», смогут только лингвисты. Не подлежит, однако, сомнению, что либо в Екатерининском списке, либо в издании 1800 г. (а может быть, в тексте обоих) написания этих слов подверглись сплошной корректорской унификации.

К сожалению, рукопись «Поучения» не знает болгаризированной орфографии в сочетаниях плавных с «ъ» и «ь», и поэтому нам трудно с уверенностью судить о том, как поступили бы издатели «Поучения» в случаях сочетаний «ръ, «рь», «лъ» и «ль». Однако все же на с. 41 мусин-пушкинского издания «Поучения» имеется, правда, один, но весьма характерный пример: там напечатано «полкы», тогда как в рукописи стоит «плъкы». Тот же прием замены болгаризированных сочетаний «ръ», «рь», «лъ» и «ль» русскими «ор», «ер», «ол» и «ел» мы постоянно встречаем в Екатерининской копии. В издании же 1800 г. это болгаризированное сочетание восстанавливается, и, нет сомнений, по подлинной рукописи: «наплънився» (с. 5; Ек. — «наполнився»), «плъкы» (с. 5; Ек. —«полкы»), «бръзыя» (с. 5; Ек. —«борзыя»), «бръзый» (с. 7; Ек. — «бързый»), «влъци» (с. 8; Ек. — «вълци»), «чръленыя» (с. 10; Ек. — «чрленыя»), «млъніи» (с. 12; Ек. — «молніи»), «плъкы» (с. 12, 13, 27; Ек. — «полки»), «Чрънигова» (с. 13; Ек. — «Чернигова»), «плъци» (с. 14; Ек. — «полци»), «Святоплъкь» (с. 16; Ек. — «Святополкь»), «плъкы» (с. 17; Ек. — «полкы»), «чрьна» (с. 17; Ек. — «черна»), «плъкы» (с. 18; Ек. — «полкы»), «млъвити (с. 19; Ек. — «молвити»), «плъку» (с. 20; Ек. — «полку»), «плъковъ» (с. 22; Ек. — «полковъ»), «чръною» (с. 23; Ек. — «черною»), «плъки» (с. 30; Ек. — «полки»), «плъку» (с. 32, 39; Ек. — «полку»), «плъночи» (с. 35; Ек.—«полночи»), «влъкомь» (с. 35; Ек. — «волкомъ»), «влъкомъ» (с. 36 bis; Ек. bis — «волокомъ»), «пръвое» (с. 37; Ек. — «первое»), «пръвую» (с. 37; Ек. — «первую»), «пръвыхъ» (с. 37; Ек. — «первыхъ»), «слънце» (с. 39; Ек. — «Солнце»), «бръзъ» (с. 41; Ек. — «борзъ»), «влъкомъ» (с. 41 bis; Ек. bis — «волкомъ»), «бръзая» (с. 41; Ек. — «борзая»); «влънах» (с. 42; Ек. —

«волнахъ»), «помлъкоша» (с. 43; Ек. — «помолкоша»), «Млъвитъ» (с. 43; Ек. — «Молвитъ»), «плъки» (с. 46; Ек. — «полки»). Только в одном случае нужно думать, что Екатерининская копия дает лучшее чтение сравнительно с первым изданием: «мркнетъ» (с. 10; Ек. — «мрькнетъ»). Здесь, очевидно, сказалась двойная невнимательность: составитель текста Екатерининской копии не провел своей системы в сочетании, а составители текста первого издания «Слова» имели уже перед собой «исправленный» согласно орфографии XVIII в. список с «меркнетъ» вместо «мрькнетъ», который и выправили по подлинной рукописи, но не до конца (ограничившись тем, что выбросили «е»).

Как известно, отдельные страницы первого издания «Слова» перепечатывались, причем в текст вкрались изменения: вместо «пълку» — «плъку», вместо «Владимир» — «Владиміръ» и др. Можно думать, что второе из этих изменений внесено не по рукописи, а является обычным для издателей «приноровлением» орфографии подлинника к орфографии XVIII в. Во всяком случае, в древних рукописях написание «Владиміръ» с «і» нам не встречалось. Что же касается первого случая, то изменение здесь введено, как нам кажется, для единообразия, к которому, как это ясно и из текста издания «Поучения», первые издатели были весьма чувствительны. Введя болгаризированные формы «ръ», «лъ» по рукописи, издатели вполне могли начать распространять эту особенность, принятую за древнюю «систему» рукописи «Слова», и на те случаи, где этих болгаризированных форм не было. Сомнительно, например, чтобы в рукописи действительно было написание «плъночь» (см. первое издание, с.35), так как в «пол» «о» было исконным. Сомнительны и такие написания, как «Влъзѣ» (с. 9), «Чрънигова» (с. 13) и некоторые другие.

Вызывает размышление следующее наблюдение С. П. Обнорского: «Можно обратить внимание на то, что этот доминирующий в памятнике способ передачи сочетаний «о, е+р, л» по типу болгарской орфографии был освоен писцом «Слова» не сразу: по началу писец держался приблизительно старорусского типа написаний этих сочетаний, т. е. пользовался употреблением «ъ» перед плавным... а далее уже у него вырабатывается устойчивый прием написаний соответственных слов на

болгарский лад, с «ъ» после плавного...» [1]. Заметим от себя, что переход от одной системы к другой (в данном случае от старорусской к болгаризированной) мало вероятен для писца (писец обычно придерживался каких-то своих постоянных приемов передачи текста, либо следуя за текстом подлинника, либо в некоторой степени его переиначивая, но не «перестраиваясь» на ходу); для издателя же текста, стремящегося к известному единообразию, попытка выдержать текст в одной орфографической системе гораздо вероятнее: издатель, переписывая текст для публикации, мог не сразу заметить, что в нем преобладают болгаризированные формы, и перешел к ним постепенно (ближе к концу). Перед нами — типичная ошибка малоопытного *публикатора*. Эта ошибка станет нам вполне понятной, если мы вспомним, что большинство болгаризированных форм было устранено в первоначальной копии с рукописи (как об этом свидетельствуют Екатерининская копия и издание 1793 г. «Поучения») и восстановлено по рукописи в издании 1800 г. Нам кажется естественным, что, восстанавливая текст по рукописи и не отказавшись от идеи единообразия орфографии, издатели увлеклись и переделали всю систему. Исправления по рукописи незаметно для самих издателей перешли в установление новой «системы».

При перепечатке самого начала «Слова» слово «пълку» в его заголовке было также переделано на «плъку» по этой новой «системе».

Следовательно, и тут перед нами еще одно соображение в пользу того, что у издателей 1800 г. была рукопись, которую они считали авторитетной, но передать все особенности которой они не могли главным образом потому, что стремились к корректорскому единообразию, с одной стороны, и к правильности правописания — с другой. В меньшей мере сказывалось неумение читать древние тексты.

В мусин-пушкинском издании «Поучения» «ю» после шипящих «ч» и «щ» заменяется, согласно орфографическим правилам XVIII в., на «у», «душю» → «душу» (с. 6, 8), «възъношюсѧ → «взношусѧ» (с. 9), «чюдна» →

[1] Обнорский С. П. Очерки по истории русского литературного языка..., с. 141.

«чудна» (с. 12 bis), «чюдесъ» → «чудесъ» (с. 12 bis), «чюду» → «чуду» (с. 12), «чю̃дса» → «чудеса» (с. 13), «чюжимъ» → «чужимъ» (с. 22), «въсходѧщю» → «всходѧщу» (с. 29). К сожалению, мы не можем установить, как было бы в случаях с «я» после «ч» и «щ», так как в рукописи «Поучения» в этих случаях всегда «а», которое, естественно, в издании 1793 г. и сохраняется: «привечавше» (с. 24), «часто» (с. 26), «щадя» (с. 46) и др. В Екатерининской копии в основном «я» после «ч» и «щ» заменяется на «а», но в первом издании первоначальное «я» систематически восстанавливается: «начяти» (с. 1; Ек. —«начати»), «поскочяше» (с. 13; Ек. —«поскочаше»), «Святьславличя» (с. 15; Ек. —«Святъславлича»), «давечя» (с. 18; Ек. — «давеча»), «начяша» (с. 19; Ек. — «начаша»), «сыновчя» (с. 26; Ек. — «сыновча»), «Брячяслава» (с. 34; Ек. — «Брячаслава»), «начясте» (с. 35; Ек. — «начасте»). Имеется только один обратный случай: «Полочаномъ» (с. 33; Ек. —«Полочяномъ»).

Следовательно, и здесь перед нами несомненно свидетельство того, что текст «Слова» для издания 1800 г. выверялся по подлинной рукописи и приведенная выше особенность орфографии XVIII в., проникшая в первоначально подготовленный текст «Слова» (сохранившийся в Екатерининской копии), затем была отменена.

Отчасти в пользу той же выверки текста «Слова» по рукописи для издания 1800 г. свидетельствует еще и тот факт, что в издании 1800 г., сравнительно с Екатерининской копией, все цифровые обозначения чисел заменены буквенными, как в рукописи («і̃ соколовь» bis; «въ г̃ день» вместо «10 соколовъ» bis, «въ 3 день»).

Необходимо отметить, что замена «ь» на «ъ» и обратно, согласно орфографическим нормам XVIII в., проведена в мусин-пушкинском издании «Поучения» недостаточно последовательно. Так, например, в нескольких случаях «ь» в третьем лице единственного числа оставлено без изменений: «согрѣшить» (с. 15), «избываеть» (с. 15), «оумѣеть» (с. 28); оставлено в одном случае потомь» (с. 37) при изменении «потомь» в «потомъ» в двух соседних случаях и т. д.

Такою же непоследовательностью в случаях с окончаниями на «ь» и «ъ» отличалась, по-видимому, и работа первых издателей «Слова» над его текстом.

Так, например, в первом издании «Слова» очень часто конечное «ъ» Екатерининской копии, соответствующее орфографическим нормам XVIII в., заменяется на «ь» — очевидно, в соответствии с написаниями рукописи: «былинамь» (с. 2; Ек. — «былинамъ»), «помняшеть» (с. 3; Ек. — «помняшетъ»), «соколовь» (с. 3, 4; Ек. — «соколовъ»), «умь» (с. 5, 6; Е. — «умъ), «трубять» (с. 7; Ек. — «трубятъ»), «имь» (с. 8; Ек. — «имъ»), «скачють» (с. 8; Ек. — «скачютъ»), «пасеть» (с. 9; Ек. — «пасетъ»), «текуть» (с. 12; Ек. — «текутъ»), «человѣкомь» (с. 17; Ек. — «человѣкомъ»), «Святъславь» (с. 23; Ек. — «Святъславъ»), «зоветь» (с. 32; Ек. —«зоветъ»).

Однако гораздо более часты обратные случаи: «въсрожатъ» (с. 9; Ек. —«въсрожать»), «яругамъ» (с. 9; Ек. — «яругамь»), «хотятъ» (с. 12; Ек. — «хотять»), «прикрываютъ» (с. 12; Ек. — «прикрывають»), «летятъ» (с. 17; Ек. —«летять»), «заворочаетъ» (с. 18; Ек. —«заворочаеть»), «синѣмъ» (с. 19; Ек. — «синемь»), «Княземъ» (с. 19; Ек. — «Княземь»), «за нимъ» (с. 20; Ек. — «за нимь»), «Черниговъ» (с. 20; Ек. — «Черниговь»), «отецъ» (с. 21; Ек. — «отець»), «нѣгуютъ (с. 23; Ек. — «нѣгують»), «поютъ» (с. 25; Ек. — «поють»), «побѣждаютъ» (с. 27; Ек. — «побѣждають»), «подѣлимъ» (с. 27; Ек. — «подѣлимь»), «бываетъ» (с. 27; Ек. — «бываеть»), «птицъ» (с. 27; Ек. — «птиць»), «възбиваетъ» (с. 27; Ек. — «възбиваеть»), «дастъ» (с. 27; Ек. — «дасть»), «рыкаютъ» (с. 29; Ек. — «рыкають»), «текутъ» (с. 30. Ек. — «текуть»), «умъ» (с. 31; Ек. — «умь»), «бологомъ» (с. 32; Ек. — «бологомь»), «кличетъ» (с. 32; Ек. — «кличеть»), «течетъ», (с. 33; Ек. — «течеть»), «болотомъ» (с. 33; Ек. — «болотомь»), «Васильковъ» (с. 33; Ек. — «Васильковь»), «стелютъ» (с. 36; Ек. — «стелють»), «животъ кладутъ» (с. 36; Ек. — «животь кладуть»), «сыновъ» (с. 36; Ек. — «сыновь»), «пашутъ» (с. 37; Ек. — «пашуть»), «слышитъ» (с. 37; Ек. — «слышить»), «плачетъ» (с. 38, 39; Ек. — «плачеть»), «всѣмъ» (с. 39; Ек. — «всѣмь»), «идутъ» (с. 39; Ек. — «идуть»), «спитъ» (с. 40; Ек. — «спить»), «бдитъ» (с. 40; Ек. — «бдить»), «мѣритъ» (с. 40; Ек. — «мѣрить»), «Донецъ» (с. 41; Ек. — «Донець»), «летитъ» (с. 43; Ек. — «летить»), «Княземъ» (с. 46; Ек. — «Княземь»).

С. П. Обнорский в своем исследовании языка «Слова» объясняет эти колебания между Екатерининской копией и изданием 1800 г. недостаточно четким написа-

нием «ъ» и «ь», позволявшим их смешивать[1]. Палеографически такое объяснение вполне вероятно, однако несомненно и другое: сам А. И. Мусин-Пушкин и его ученые помощники явно колебались в данном случае между написаниями рукописи и интересами проведения орфографического единообразия. Эти колебания были, возможно, поддержаны тем, что «ъ» и «ь» в подлинной рукописи действительно недостаточно четко различались.

Колебания между орфографической системой XVIII в. и чтениями подлинной рукописи весьма характерны для издания 1800 г., хотя в целом мы должны признать, что первое издание гораздо ближе следует за рукописью, чем Екатерининская копия. Тем не менее есть и такие случаи, когда Екатерининская копия вернее отражает оригинал, чем издание 1800 г., подчинившее в том или ином частном случае свое правописание орфографии XVIII в. Приведем примеры: в издании 1800 г. «веселія» (с. 26), в Екатерининской копии «веселіа», что точнее отражает югославянскую графику оригинала «Слова»; затем: «Готскія» (с. 25; Ек. — «Готьскыя»), «Святславъ» (с. 26; Ек. — «Святъславъ»), «Святславлича» (с. 30; Ек. — Святъславлича»), «по Рсіи» (с. 32; Ек. — «по Роси»), «Русскую» (с. 33; Ек. — «Рускую»), «Ростиславя» (с. 42; Ек. — «Ростиславля»), «чрезъ» (с. 45; Ек. — «чресъ») и многие другие. Лучшие чтения в Екатерининской копии объясняются, во-первых, тем, что издатели «Слова» постоянно колебались при написании того или иного слова между системой (от попытки провести которую они целиком не отказались, а только несколько «умерили» ее сравнительно с Екатерининским списком) и написаниями рукописи. Во-вторых, они, по-видимому, объясняются и еще одним обстоятельством. Правя текст «Слова», А. И. Мусин-Пушкин постоянно заказывал своим писцам копии, которые и рассылал для консультации, комментирования и перевода различным ученым. Поправки вносились, по-видимому, в эти писарские копии. Эти-то писарские копии и плодили различные ошибки и упрощения текста (следствие невольного подведения текста под орфографические нормы XVIII в.).

В дальнейшем мы увидим, что в тексте «Слова» имеется целый ряд описок, общих с Екатерининским списком.

---

[1] Обнорский С. П. Очерки по истории русского литературного языка..., с. 140.

Колебания в написаниях с «ъ» и «ь» объясняются не только тем, что «ъ» и «ь» имели сходные начертания. Они объясняются, как уже говорилось, и тем, что тут имело место колебание между «системой» и текстом рукописи. Доказывается это тем обстоятельством, что в ряде случаев мы имеем отнюдь не путаницу в написаниях «ь» и «ъ», а пропуски или вставки этих самых «ъ» и «ь», которые никак не могут быть объяснены простым сходством начертаний: «Ольга» (с. 15; Ек. — «Олга»), «Тьмутороканѣ» (с. 15; Ек.— «Тмутороканѣ»), «иноходьцы» (с. 16; Ек. — «иноходцы»), «сильными» (с. 21; Ек. — «силными»), «Кіевскый» (с. 21; Ек. — «Кіевьскый»), «Тьмутороканя» (с. 24; Ек. — «Тмутороканя»), «крильца» (с. 24; Ек. — «крилця»), «готскія» (с. 25; Ек. — готьскыя»), «съ Ольберы» (с. 27; Ек. — «съ Олберы»), «Литовскія» (с. 33; Ек. — «Литовьскыя»), «Полотскѣ» (с. 36; Ек. — «Полотьскѣ), «мьглами» (с. 41; Ек. — «мглами»). Аналогичные пропуски и вставки «ь» и «ъ» в середине слов, главным образом (но не всегда) с целью приспособления текста к орфографии XVIII в., наполняют собой и издание «Поучения» 1793 г.

Особенно интересны в издании «Поучения» некоторые ошибочные прочтения, совпадающие с такими же неверными прочтениями «Слова» в Екатерининской копии и в издании «Слова» 1800 г. Мы уже говорили о том, что А. И. Мусин-Пушкин и в «Духовной», и в «Слове» не понял слова «къмети». В «Поучении» вместо «инѣхъ кметии молоды^х» напечатано «инѣхъ къ метии молодыхъ»; в первом же издании «Слова о полку Игореве» вместо «свѣдоми къмети» напечатано «свѣдоми къ мети». Не понял А. И. Мусин-Пушкин и слов «мужство», «мужаться». В «Поучении» вместо «мужьство и грамоту» напечатано «мужь твой грамоту»; в первом издании «Слова о полку Игореве» — «му жа имѣся сами» вместо «мужаимься сами». Эти общие в «Поучении» и «Слове» ошибки ясно показывают, что виновником их был сам А. И. Мусин-Пушкин, а не кто-либо из его ученых помощников. Они же, кстати сказать, лишний раз и совершенно бесспорно свидетельствуют о том, что перед А. И. Мусиным-Пушкиным была подлинная, древняя рукопись «Слова», которую он не во всех случаях умел прочесть, и что он делал типичные для него ошибки в прочтении древних рукописей.

Публикаторскую технику Мусина-Пушкина довольно ярко характеризуют и другие случаи неумелого прочтения и разделения на слова текста «Поучения» («и ѡпочиваетъ» вместо «бо почиваеть», «съ ιѧтавкомъ» вместо «со Ставкомь», «и съ Переславлѧ» вместо «ис Переѡславлѧ», «даси ми» вместо «да сими»), а также манера в случаях затруднений с пониманием какого-либо слова считать его именем собственным: «по Стугани ва...» вместо «по сту оуганивалъ». И то, и другое, как известно, представлено рядом примеров и в Екатерининской копии, и в первом издании «Слова».

Отдельные случаи своеобразной передачи текста в «Поучении» объясняют неточности Екатерининской копии и издания 1800 г. Так, например, в «Поучении» имеются вставки согласного там, где его не было в рукописи, под влиянием требований этимологии: «оттвори» (с. 35; в Екатерининской копии — более вероятное в рукописи «отвори»); ср. в издании «Поучения»: «беззаконье» (с. 4, 6 и 49; в рукописи — «безаконье»), «безсемени» (с. 60; в рукописи — «бесемене»).

Я не ставлю перед собой цели восстановления более правильных чтений, критики текста «Слова о полку Игореве». Поэтому я не предполагаю анализировать все расхождения между Екатерининской копией и изданием 1800 г. Такая работа в значительной мере уже проделана. В данном случае перед нами другая задача, гораздо более узкая, но до сих пор в науке не поставленная: установить общие приемы передачи текста в Екатерининской копии и в издании 1800 г. и самый ход работы над подготовкой Екатерининской копии и изданием 1800 г.

Приведенные материалы позволяют нам сделать следующие предварительные выводы. И Екатерининская копия, и издание 1800 г. отразили определенные приемы передачи текста древних рукописей, свойственные А. И. Мусину-Пушкину и привлеченным им ученым. Эти приемы близки к тем, которые совершенно достоверно могут быть установлены для мусин-пушкинского издания «Поучения» Мономаха. Ближе всего к приемам этого издания Екатерининская копия. В издании 1800 г. заметно стремление строже придерживаться текста рукописи, в связи с чем некоторые приемы были отменены вовсе, а в других заметны колебания, но некоторая часть приемов осталась без изменений. Будущие исследователи языка «Слова» и реконструкторы его текста

непременно должны считаться с тем, что в ошибках Екатерининской копии и издания 1800 г. отразилось не простое неумение прочесть текст погибшей рукописи, а некоторая, правда не совсем последовательная и четкая, *система* приемов передачи текста рукописи. Поэтому совершенно иначе распределяются в Екатерининской копии и издании 1800 г. достоверные и недостоверные чтения. Прежние исследователи не колебались признавать в тексте «Слова» достоверным и восходящим к погибшей рукописи все то, что является общим Екатерининской копии и изданию 1800 г. Мы убедились, что это не совсем так.

* * *

Исследователи и публикаторы Екатерининской копии не ставили вопроса о том, как работал писец, с чего он делал свою копию: непосредственно с погибшей ли рукописи «Слова» или с какого-то специально для него подготовленного текста. По-видимому, П. Пекарский, И. И. Козловский, Н. С. Тихонравов, П. К. Симони не сомневались в том, что писцу была предоставлена сама рукопись «Слова» и что писец являлся, таким образом, одним из первых ее исследователей и интерпретаторов. Так, например, И. И. Козловский считал, что особенности Екатерининской копии объясняются «простым неумением писца или руководившего им графа» прочитать затруднительный текст [1]; отсюда ясно, что И. И. Козловский считал, что писец сам переписывал рукопись. Только М. В. Щепкина в своем исследовании «К вопросу о сгоревшей рукописи „Слова о полку Игореве“» писала: «Для характеристики Екатерининской копии важно знать, с чего списывал писец — с самого оригинала конца XV — начала XVI века, т. е. непосредственно с мусин-пушкинского сборника, или уже со списка, изготовленного под наблюдением и по указаниям А. И. Мусина-Пушкина. Всего вероятнее последнее, ибо если бы даже самый опытный писец XVIII века стал копировать рукопись XV—XVI века с таким необычным текстом, то, с одной стороны, он дал бы больше неверных чтений и неправильных делений на слова, а с другой стороны, опытный писец проще и правильнее раскрыл бы ряд

[1] Козловский И. И. Палеографические особенности..., с. 4.

сокращений и учел бы ряд выносных знаков, пропущенных Мусиным-Пушкиным»[1].

Рассмотрение мусин-пушкинских приемов издания текстов ясно показывает, что так называемая Екатерининская копия «Слова» делалась не непосредственно с рукописи, а с подготовленного Мусиным-Пушкиным текста и отражает одну из стадий его работы по прочтению рукописи. Если бы писарь списывал текст непосредственно с рукописи, то он неизбежно отразил бы свое понимание текста, нарушил бы в чем-то систему передачи текста. Между тем в работе писаря мы видим ту же систему расстановки «ъ», «ь», «і» и многие характерные и для издания 1800 г. неправильности в прочтении текста: «къ мети», «мужа имѣ ся» (в первом издании «мужа имѣся»), «нъ рози нося» и т. д. В Екатерининской копии ясно ощущается, что над протографом ее работал ученый интерпретатор текста, дававший тексту свое толкование, расставлявший знаки препинания, прописные буквы, разделявший текст на слова и т. д. При этом с изданием 1800 г., даже в неверных толкованиях, гораздо больше сходства, чем различий.

Объяснение этому может быть только одно. Писец Екатерининской копии переписывал не рукопись «Слова» XV или XVI в., а приготовленный для него А. И. Мусиным-Пушкиным текст. В основном этот текст был А. И. Мусиным-Пушкиным приготовлен теми же приемами, что и издание «Поучения», но только гражданским, привычным для него почерком, а не церковнославянским полууставом. В нем поэтому не было церковно-славянских букв и были уже расставлены все знаки препинания, приведена к корректорскому единству орфография. Правда, в Екатерининской копии кое-где имеются выносные буквы, которых нет в первом издании «Слова». В этих выносных буквах видят обычно остатки графики самой рукописи, отраженные якобы писцом, стремившимся точно следовать за рукописью. Это неправильно. В мусин-пушкинском издании «Поучения» выносные буквы совершенно не отражают графику оригинала. Они расставлены Мусиным-Пушкиным по правилам их постановки в церковнославянских текстах XVIII в., главным образом в конце слов. То же самое

---

[1] Щепкина М. В. К вопросу о сгоревшей рукописи «Слова о полку Игореве». — ТОДРЛ, т. XI. М.—Л., 1955, с. 44.

видим мы и в Екатерининской копии. Здесь выносные буквы имеются также только в окончаниях слов (по преимуществу конечные «х» и «м», как и в церковнославянских текстах XVIII в.) и отражают приемы расстановки выносных букв в письме XVIII в. (не следует забывать, что выносные буквы еще продолжали употребляться в письме XVIII в.). Это обстоятельство заставляет сильно сомневаться в том, что выносные буквы Екатерининской копии перешли в нее из погибшего оригинала. Эти сомнения окончательно подтверждаются следующим наблюдением. Екатерининская копия имеет выносные буквы только в конце своих строк, там, где строка копии оказывалась длиннее обычного. Выносная буква помогала писцу Екатерининской копии избежать неудобных переносов, и только. Вот эти слова с выносными буквами: умо$^{\text{м}}$, оди$^{\text{н}}$, поведаю$^{\text{т}}$, трепещу$^{\text{тъ}}$, шеломо$^{\text{м}}$, желѣзны$^{\text{х}}$, со$^{\text{н}}$, трудо$^{\text{м}}$, ури$^{\text{м}}$, звере$^{\text{м}}$, босы$^{\text{м}}$, на свои$^{\text{х}}$, лети$^{\text{т}}$, молоды$^{\text{м}}$.

Совершенно не прав Н. С. Тихонравов, который считал выносные буквы Екатерининской копии принадлежностью погибшей рукописи «Слова» и на этом основании даже обвинял первых издателей в том, что они неверно внесли их в текст при подготовке первого издания. «Выводя некоторые слова из-под титл,— пишет Н. С. Тихонравов,— первые издатели произвольно ставят «ь» или «ъ» и там, где их, конечно, не было в подлиннике. Так, они печатают «трудомь» (с. 7), где в Екатерин. списке «трудо$^{\text{м}}$», «умомь» (с. 2), где в Ек. сп. „умо$^{\text{м}}$“»[1].

Между тем написания «трудомь» и «умомь» в издании 1800 г. как раз с полной очевидностью говорят о том, что выносные буквы «м» в этих случаях принадлежат писцу Екатерининской копии и отсутствовали в рукописи. В самом деле, если бы окончания этих слов были восстановлены А. И. Мусиным-Пушкиным, как думает Н. С. Тихонравов, а не принадлежали оригиналу, он бы восстановил их, как мы теперь можем думать, зная его систему передачи текста, не с «ь», а с «ъ», по правописанию XVIII в. Таким образом, в этом случае изданию 1800 г. мы можем верить.

Можно думать, что выносные буквы не только не принадлежат погибшей рукописи «Слова», но не отражают

---

[1] «Слово о полку Игореве». Издано для учащихся Николаем Тихонравовым, изд. 2-е. М., 1868, с. V.

даже и того оригинала, который был предоставлен А. И. Мусиным-Пушкиным писцу. Это чисто графическая особенность *самой копии,* и только.

Отнюдь не отражают графики погибшей рукописи «Слова» и такие слова под титлами, как «гн҃а» и «гн҃е» (дважды),— это обычные сокращения, принятые в церковнославянских изданиях конца XVIII в., а отчасти и в письме.

О том, что писец Екатерининской копии имел перед собою не подлинную рукопись, а подготовленный для него А. И. Мусиным-Пушкиным оригинал, убеждает также и расстановка знаков препинания в Екатерининской копии: она в большинстве случаев почти соответствует первому изданию. Совпасть в своей расстановке знаков препинания с первым изданием «Слова» в такой степени, как это мы видим в Екатерининской копии, обычный писец не смог бы.

Характерная манера Мусина-Пушкина — опускать, не оговаривая, непрочтенные места — также отразилась в Екатерининской копии. В ней пропущены слова «свистъ звѣринъ въ стазби». В первом издании эти слова восстановлены, очевидно, по инициативе А. Ф. Малиновского и Н. Н. Бантыша-Каменского. В одном случае Екатерининская копия включает в свой состав комментаторскую глоссу, взятую в скобки: «Пѣти было пѣснѣ Игореви, того (Ольга) внуку». Эту же глоссу, как известно, имеет и первое издание «Слова» (с. 6) с той разницей, что слово «Ольга» написано без «ь». Принадлежать эта глосса писцу также никак не могла. Слово «Ольга», поставленное в скобки, по свидетельству Н. М. Карамзина, отсутствовало в подлиннике и было внесено в текст «для большей ясности речи» [1].

Итак, Екатерининская копия отражает один из этапов подготовки текста к печати А. И. Мусиным-Пушкиным — этап первоначальный и далеко не совершенный. Екатерининская копия — список с подготовленного А. И. Мусиным-Пушкиным текста.

Наблюдение это подтверждается и следующим обстоятельством. Тот же писец, который переписывал текст «Слова», переписывал также и его перевод с примечаниями, и содержание «Слова». Почерк всех этих бумаг Екатерины совершенно идентичен. Но ведь

---

[1] «Сын отечества», 1839, т. VIII, отд. VI, с. 20.

перевод, примечания и содержание «Слова» составлялись писцом не самостоятельно, а переписывались с подготовленного оригинала. Следовательно, нет ничего удивительного, что и для текста «Слова» оригинал был подготовлен А. И. Мусиным-Пушкиным, причем подготовлен теми же приемами, что и издание «Поучения».

Зная, что писец переписывал не подлинную рукопись «Слова», а оригинал, подготовленный для него А. И. Мусиным-Пушкиным, можно объяснить и другие особенности Екатерининской копии. Так, например, некоторые ошибки Екатерининской копии объясняются отнюдь не тем, что писец не разобрал рукописи XVI в., а тем, что он не разобрал почерка А. И. Мусина-Пушкина. В Екатерининской копии писец написал «самого» вместо двойственного числа «самаю» в рукописи (последняя форма сохранена нам изданием 1800 г.). Для объяснения этой ошибки писца И. И. Козловский прибег к чрезвычайно натянутому объяснению: он предположил, что в погибшей рукописи «о» писалось близко к «а», а слог «го» мог быть принят за «ю» [1]. Однако всякий обращающийся к рукописям XV—XVI вв. знает, что смешать в них «а» и «о», а тем более «го» с «ю», чрезвычайно трудно и что сходные начертания могут быть указаны крайне редко. Если же мы обратимся к почерку самого А. И. Мусина-Пушкина, то в нем смешать буквы «го» и «ю» было вполне просто, тем более что форма двойственного числа «самаю» была писцу неизвестна. Окончание же «ого» вместо «аго» также было легко писцу подставить, так как такого рода прием передачи текста был типичен для мусин-пушкинских изданий (он обычен и в его издании «Поучения»).

То обстоятельство, что писец Екатерининской копии, несмотря на всю его «квалифицированность» [2], все же допускал при переписывании ошибки, может быть доказано рядом примеров. Так, под влиянием соседних букв в слове «великый» «е» заменено им ошибочно на «ы»: «грозный выликый Кіевьскый» (в издании 1800 г. «великый»). К таким же опискам писца Екатерининской копии может быть отнесено: «падоша стяж» вместо «па-

---

[1] Козловский И. И. Палеографические особенности..., с. 7—8.

[2] Он, как известно, переписывал и другие бумаги для Екатерины II (Пекарский П. Слово о полку Игореве по списку, найденному между бумагами императрицы Екатерины II. СПб., 1864, с. 6).

доша стяги». Смешать «ги» с «ж» можно было именно в почерке XVIII в., тем более что мусин-пушкинский перевод «Слова», присланный им Екатерине, дает правильное понимание этого слова: «знамена». К числу описок писца может быть отнесена и такая: «з а н е (здесь и далее разрядка моя. — *Д. Л.*) землю Русскую» вместо «за землю Русскую» (с. 30 первого издания), «халужными» вместо «харалужными» (с. 36). Некоторые описки произошли не по вине писца, а принадлежат подготовленному тексту. Вместо текста «а быхъ неслала къ нему слезъ на море рано. Ярославна р а н о плачеть» (первое издание, с. 39) в Екатерининской копии написано: «а быхъ неслала к нему слезъ на морѣ рано. Ярославна н а м о р ѣ плачеть». Писец два раза повторил «на морѣ», опустив одно «рано». Это явная описка, но описка эта произошла не по вине писца, а принадлежала тому оригиналу, с которого писец списывал. Это доказывается тем, что то же второе «на морѣ» имеется и в том мусин-пушкинском переводе «Слова», копия которого им была послана Екатерине II: «Ярославна на морѣ плачетъ къ Путивлю». В дальнейшем мы увидим, что перевод для Екатерины подготовлялся уже тогда, когда копия текста была Екатерине отослана,— следовательно, она делалась с другого оригинала, по-видимому, с протографа Екатерининской копии.

Другая явная ошибка Екатерининской копии — двойное, «очное» «о» в слове «ниоочима» — также принадлежит не писцу, а была уже в протографе Екатерининской копии, подготовленном непосредственно с рукописи; протографу же принадлежит неправильное прочтение слова «Зояни» вместо «Трояни» и многие другие.

Впрочем, Екатерининская копия была не просто переписана с текста, подготовленного для писца А. И. Мусиным-Пушкиным. Возможно, что она проверялась самим А. И. Мусиным-Пушкиным после переписки ее писцом. И. И. Козловский отметил, что в Екатерининской копии в слове «наполнився» буквы «ол» писаны по подскобленному тексту [1]. Очевидно, что Мусин-Пушкин сперва правильно скопировал рукопись: «наплънився» (так этот текст и читается в издании 1800 г.), а затем подновил его, чтобы сделать его чтение понятным. По-видимому, в этом месте текст Екатерининской копии был

[1] К о з л о в с к и й И. И. Палеографические особенности..., с. 5.

подвергнут правке с точки зрения системы, проводившейся А. И. Мусиным-Пушкиным в его изданиях.

Протограф Екатерининской копии, составленный А. И. Мусиным-Пушкиным (возможно, при участии Болтина), не затерялся. Несомненно, что он отразился в издании 1800 г. Текст издания 1800 г. генетически восходит к протографу Екатерининской копии, с поправками непосредственно по погибшей рукописи. В самом деле, интерпретация текста в издании 1800 г. во многом, несмотря на многочисленные поправки по рукописи, сохраняет особенности, характерные и для Екатерининской копии. Общими являются глосса «Ольга», отдельные ошибки («влъзѣ» со строчной; «сице и рати», «стугою», «сыпахутьми», «исъ Ревугы», «му жа имѣся» и т. д.), одинаковая расстановка знаков препинания, особенно показательная в спорных и неясных случаях (например, и в Екатерининской копии, и в издании 1800г.: «...въстала обида въ силахъ Дажь-Божа внука. Вступилъ дѣвою...», «Грозою бяшеть; притрепеталъ своими сильными плъкы» и др.

Некоторые особенности расстановки знаков препинания в издании 1800 г. объясняются через протограф Екатерининской копии. Так, например, известное место, в котором русские войска прощаются с Русской землей, в Екатерининской копии пунктуационно читается так: «О Руская земле! Уже за Шоломянемъ еси длъго: ночь мрькнетъ» и т. д. В издании 1800 г. пунктуация поправлена, очевидно под влиянием повторения этого места в начале описания битвы, где слово «длъго» отсутствует. И это слово «длъго» отделено от предшествующей фразы точкой, но объяснения своего оно еще не получило и осталось стоять особняком, отделенное точками и от предшествующей, и от последующей фразы, к которой оно относится: «О Руская земле! уже за Шеломянемъ еси. Длъго. Ночь мркнетъ...» [1].

* * *

Между протографом Екатерининской копии и изданием 1800 г. существовало еще несколько этапов работы над текстом «Слова». К сожалению, не все этапы этой

[1] На странность расстановки знаков препинания в этом месте обратил внимание еще Н. С. Тихонравов («Слово о полку Игореве». Издано для учащихся Николаем Тихонравовым. М., 1866, с. VIII; см. также изд. 2-е, с. VIII).

работы до нас дошли. Один из этих этапов может быть все же отчасти представлен с помощью того текста перевода «Слова о полку Игореве», который наряду с Екатерининской копией сохранился в бумагах Екатерины.

Не может быть сомнений в том, что текст перевода «Слова о полку Игореве», найденный среди бумаг Екатерины II, не одновременен Екатерининской копии. Факт этот также до сих пор не обращал на себя внимания исследователей.

В самом деле, бумага Екатерининской копии текста «Слова» не отличается от бумаги перевода и бумаги содержания «Слова», хотя П. Симони и утверждал, что она «несколько большего формата» [1] и имеет иные водяные знаки. Тем не менее текст «Слова», перевод и содержание когда-то составляли самостоятельные части и переплетены вместе уже после смерти Екатерины II, не ранее 1804 г., как о том можно судить по водяному знаку на первом, ненумерованном листе фолианта, вплетенном при переплете [2].

Перевод «Слова» писан той же рукой, что и текст, но это не свидетельствует об одновременности текста и перевода, так как та же рука видна и в других бумагах, писанных для Екатерины в различное время. Вместе с тем совершенно ясно из рассмотрения обоих текстов, что они переписаны различными способами и не могли составлять части единого целого. Текст «Слова» писан в лист с небольшими полями. Перевод же «Слова» писан на листах, перегнутых пополам. Перевод находится в правом столбце. Левый столбец оставлен пустым или занят случайными заметками. Внизу листов, под прямой, проведенной по линейке чертой, размещаются примечания. Обращает на себя внимание, что в этой второй тетради перевод и примечания расположены точно так же, как и в первом издании «Слова», и в издании «Поучения»; левый же, незаполненный столбец явно предназначался для текста, опять-таки так же, как и в первом издании. Перед нами, следовательно, как бы подготовительные материалы для издания, чего отнюдь нельзя сказать про Екатерининскую копию текста. Весьма

---

[1] Симони П. Текст Слова о полку Игореве по списку, хранящемуся в бумагах имп. Екатерины II. — «Древности», т. XIII, М., 1890, с. 19.

[2] Там же, с. 17.

возможно, что перевод и примечания были спешно посланы Екатерине II в том экземпляре, который оказался у А. И. Мусина-Пушкина под рукой[1].

Если же мы проанализируем и самый перевод «Слова», то убедимся, что он сделан не по Екатерининской копии текста или ее протографа, а отражает какую-то промежуточную стадию подготовки текста «Слова», более позднюю, чем Екатерининская копия, но более раннюю, чем текст издания 1800 г.[2].

Оставляя в стороне общее рассмотрение Екатерининского перевода «Слова» с точки зрения его достоинств, отраженного в нем понимания «Слова» и т. д.[3], остановимся только на тех его особенностях, которые позволяют установить какие-либо данные о том тексте, с которого этот перевод велся.

В основном Екатерининский перевод сделан с текста, близкого тексту Екатерининской копии, однако можно думать все же, что перед переводчиком был текст, содержавший уже некоторые из поправок, принятых затем в издании 1800 г. Приведу примеры.

В Екатерининской копии слово «галици», в отличие от названий других животных, последовательно пишется с прописной буквы: «Галици стада», «говоръ Галичь», « а Галици свою речь говоряхуть». Это заставляет предполагать, что подготавливавший текст для Екатерининской копии А. И. Мусин-Пушкин первоначально считал, что «галици» — это «галичане» (названия народов, жителей местности в Екатерининской копии, как и в изданиях старых текстов в XVIII — начале XIX вв., пишутся с прописной буквы: «Половци», «Нѣмци», «Греци», «Морава» и т. д.). Однако в Екатерининском переводе, так же

---

[1] Однако текст этого перевода остался у А. И. Мусина-Пушкина, а отослан был Екатерине II лишь один из имевшихся экземпляров, так как текст Екатерининского перевода отчетливо отразился во всех дошедших до нас переводах «Слова» XVIII в. (см.: Якобсон Р. О. Тетрадь князя Белосельского. — В кн.: «Слово о полку Игореве» в переводах конца восемнадцатого века. Leiden, 1954).

[2] Отметим, кстати, что Екатерининский перевод «Слова» в иных случаях почти буквально повторяет отдельные древнерусские выражения, а иногда и целые места «Слова», что облегчает реконструкцию текста, легшего в его основу.

[3] Оно сделано в работе А. В. Соловьева: «Екатерининский список и первое издание «Слова». — В кн.: «Слово о полку Игореве» в переводах конца восемнадцатого века.

как и во всех последующих переводах XVIII в., «галици» правильно переводится «галки».

Испорченное в Екатерининской копии место «падоша стяж Игоревы» в переводе понято правильно: «пали знамена Игореви».

В Екатерининской копии «Карна и Жля» соединены в одно слово: «За нимь кликну Карнаижля поскочи по Русской земли». В переводе эти слова уже разъединены: «В след за ним крикнул Карна, и Жля рассеялась по русской земле».

В Екатерининской копии не понятно слово «дъскы»: «Ужедъ скы». В переводе эти слова разделены правильно: «Уже дски».

В некоторых случаях Екатерининский перевод предлагает иное понимание текста, и хотя далекое от ныне принятого, но все же более близкое к изданию 1800 г., чем к Екатерининской копии. Так, например, в Екатерининской копии слово «урим» написано со строчной буквы: «Се ури^м кричатъ». Очевидно, что составитель текста еще не видел в нем имени собственного. В переводе это слово написано уже с прописной буквы; оно понято так же, как и в издании 1800 г.: «Се Уримъ кричитъ»[1].

В некоторых случаях переводчик не разобрал текста, правильно переписанного в Екатерининской копии: вместо «по суху шереширы стрелять» автор перевода имеет в виду какой-то другой, испорченный текст — «по суку шерёшири стрелять»; вместо «Галичкы Осмомысле» переводчик пишет «Галицкий Гостомысле». В последнем случае переводчик явно поправляет текст, предполагая, очевидно, популярного в конце XVIII в. персонажа русской истории — новгородца Гостомысла. Впрочем, последняя ошибка могла возникуть и в связи с тем, что автор принял букву «м» за треногое «т». Дурное прочтение текста переводчиком заметно и в другом случае: слова «кое ваши» переводчик переводит «но ваши». Очевидно, слово «кое» было написано в оригинале, с которого делался перевод, недостаточно ясно.

Очень важна поправка, которая была перед переводчиком, в известной ошибке Екатерининской копии: «на седмомъ вѣцѣ Зояни». Как доказано, эта ошибка — «Зояни» вместо «Трояни» — могла произойти только при одном услозии, что перед составителем текста для Екатери-

[1] В переводе издания 1800 г.: «Уже кричитъ Уримъ».

нинской копии была рукопись XVI в. с обычным для этого времени лигатурным написанием букв «Тр», которое могло быть легко принято за «З». Иного объяснения этой ошибки Екатерининской копии, как известно, дано не было. В переводе Екатерининского архива это слово понято правильно: «Трояновом» («На седьмомъ вѣкѣ Трояновомъ»). Это доказывает, что перед переводчиком был действительно иной текст, чем в Екатерининской копии, текст, проверенный и поправленный по подлинной рукописи.

Текст этот не мог представлять собой тот же протограф Екатерининской копии, но с поправками; это был заново переписанный с этого оригинала и исправленный текст, в который, как мы видели, писцом были внесены и некоторые описки. Отмеченные нами выше погрешности перевода, как мы видели, являются погрешностями того текста, который был перед переводчиком; вероятнее всего, что эти погрешности принадлежали писцу, а не самому А. И. Мусину-Пушкину, так как они обе ухудшают текст, являются следами *«механического»* непонимания текста, в чем вряд ли можно подозревать А. И. Мусина-Пушкина.

Наконец, отметим более правильное разделение на слова следующих мест Екатерининской копии: «вазнистри кусы» (в Екатерининском переводе, так же как и в переводе издания 1800 г., — «вонзив стрикусы») и «о дне пресловутицю!» (в Екатерининском переводе — «О Днѣпре, славный!»).

Таким образом, перевод делался не с Екатерининской копии, а с переписанного писцом и исправленного еще раз непосредственно по рукописи «Слова» текста, генетически восходящего к протографу Екатерининской копии.

В дальнейшем, когда предпринятая Сектором древнерусской литературы работа по опубликованию всех переводов «Слова» XVIII в. закончится, необходимо будет попытаться проверить, какие тексты лежат в основе переводов, сохранившихся в бумагах Малиновского и в архиве Воронцова.

* * *

Текстологическое исследование дошедшего до нас Екатерининского списка, первого издания 1800 г. и первого перевода «Слова» ясно доказывает, что существо-

вала авторитетная для первых издателей рукопись «Слова» и именно с нею сообразовалось то «движение текста», которое может быть отмечено прямо в издании 1800 г., сравнительно с Екатерининской копией, и косвенно в Екатерининском переводе, отражающем промежуточный этап подготовки и толкования текста.

Текст «Слова о полку Игореве» в мусин-пушкинских копиях его (мы условно называем мусин-пушкинскими те копии, которые находились в его распоряжении, но которые, по существу, являлись плодом коллективной работы ученых и простых переписчиков) постоянно исправлялся, и эти исправления в целом не отдаляли этот текст от подлинной рукописи, а приближали к ней. Все изменения в тексте «Слова» по мере подготовки его к печати могут быть объяснены четырьмя обстоятельствами: во-первых, наличием авторитетной для издателей рукописи, по которой они постоянно выправляли текст, стремясь его не только механически прочесть, но и понять, сделать удобочитаемым; во-вторых, некоторой неподготовленностью издателей к своей работе; в-третьих, стремлением издателей к унификации орфографии и попытками приблизить ее к правописанию XVIII в. — попытками, более определенными в начале работы и менее отчетливыми под конец подготовки «Слова» к печати; и, в-четвертых, тем, что в процессе работы над текстом он переписывался профессиональными писарями, которые вводили в текст некоторое (небольшое) количество механических ошибок, описок, неправильных прочтений.

Все эти четыре обстоятельства настолько несомненны при анализе разночтений, что отсюда может быть сделан и вполне определенный вывод: издатели «Слова» безусловно были уверены в подлинности рукописи; весь ход работы над изданием «Слова» убеждает, что издатели ничего сознательно не придумывали, не сочиняли, не изменяли более раннего текста без каких-либо серьезных оснований.

Если бы кто-либо из издателей «Слова», будь то сам А. И. Мусин-Пушкин, Н. Н. Бантыш-Каменский или А. Ф. Малиновский, не был уверен в подлинности рукописи, а считал бы, что имеет дело с удобочитаемой подделкой (а подделки, как правило, бывают обычно удобочитаемы: в них нет темных мест, тем более таких, которые в некоторой части с течением времени бесспорно мо-

гут быть объясняемы), то весь ход работы был бы совсем иным.

Ход работы А. И. Мусина-Пушкина и его «ученой дружины» над первым изданием на основании всего изложенного может быть наглядно показан в виде приведенной здесь схемы (см. с. 271).

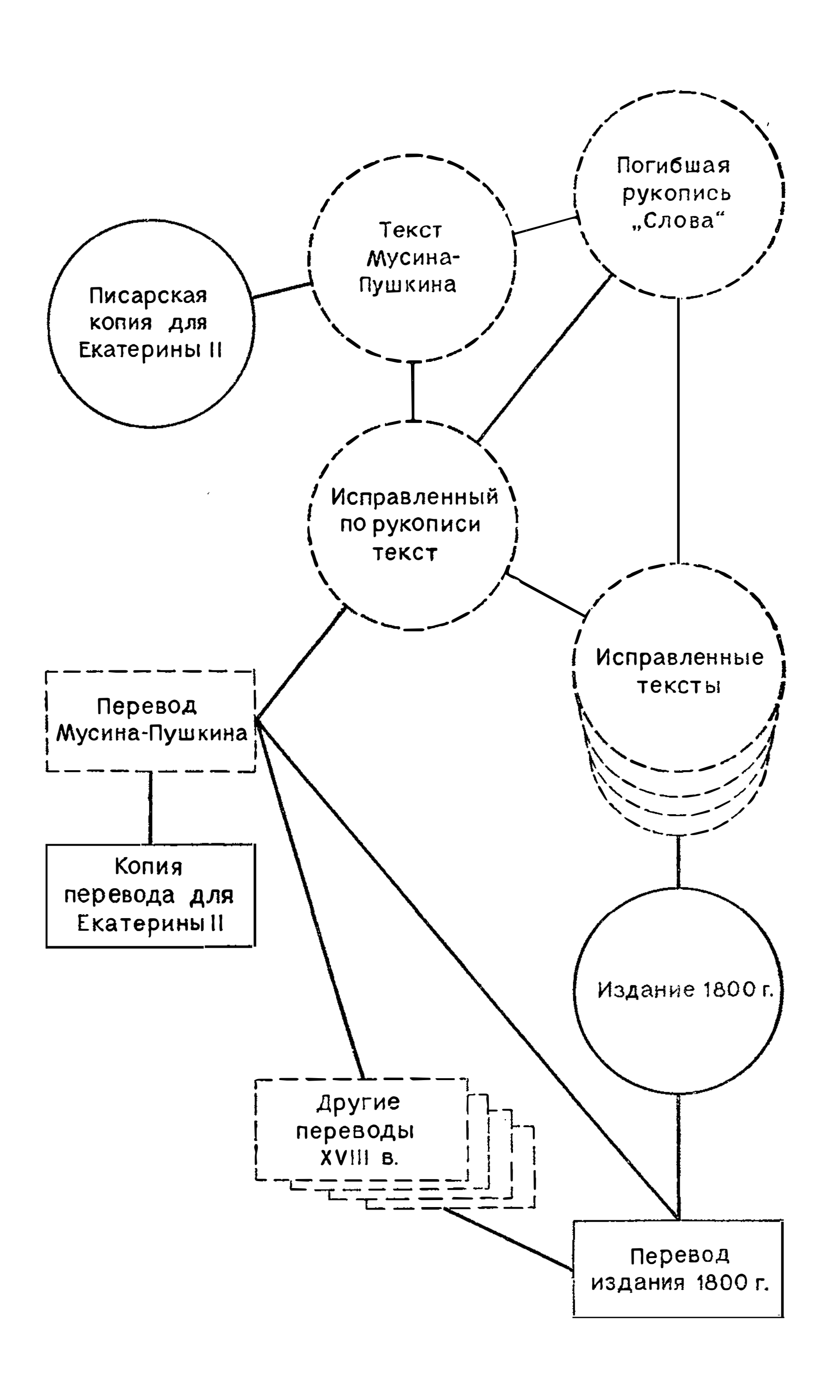
Почему издание 1800 г., в отличие от издания «Поучения» 1793 г., с которым оно имеет так много общего, применило гражданский, а не церковный шрифт?

Причины могли быть разные, и все они могли действовать в совокупности.

Прежде всего отметим, что выбор шрифта определился самим ходом работы над текстом «Слова». Текст «Слова» раньше, чем быть окончательно подготовленным к печати, многократно переписывался от руки. Его, по-видимому, подготовил первоначально сам А. И. Мусин-Пушкин или И. Н. Болтин. Затем А. И. Мусин-Пушкин давал его переписывать писарю. После писаря в текст вносили поправки сам А. И. Мусин-Пушкин и те из авторитетных для него лиц, которым он посылал текст «Слова» для замечаний, исправлений, толкований. После текст переписывался еще и еще. Само собой разумеется, что простую переписку текста не к чему было производить церковнославянским шрифтом. Церковнославянский шрифт при переписке рукописи мог быть применен только тогда, когда этот текст непосредственно предназначался для церковнославянского набора. Поскольку этого вначале не было, а текст готовился для его изучения, рассылки отдельным ученым, он многократно переписывался обычным способом, и это неизбежно создавало некоторую инерцию, которая затем и сказалась в выборе именно гражданского шрифта. По существу, выбора шрифта и не было: гражданский шрифт явился результатом всего хода работы над текстом погибшей рукописи [1].

Применение гражданского алфавита в первом издании «Слова» было удачным: оно обеспечивало гораздо бо́льшую точность передачи текста; оно избавляло изда-

[1] Можно было бы думать, что церковнославянский шрифт не подходил для памятника светского. Действительно, «Поучение», изданное А. И. Мусиным-Пушкиным, могло восприниматься как произведение церковной литературы, однако тем же Мусиным-Пушкиным была издана и «Русская Правда» — памятник не менее светский, чем «Слово», и изданный тем же церковнославянским шрифтом.



Погибшая рукопись „Слова“
Текст Мусина-Пушкина
Писарская копия для Екатерины II
Исправленный по рукописи текст
Исправленные тексты
Перевод Мусина-Пушкина
Копия перевода для Екатерины II
Издание 1800 г.
Другие переводы XVIII в.
Перевод издания 1800 г.

телей от необходимости расставлять надстрочные знаки, без которых в конце XVIII в. казались немыслимыми издания церковной печати; кроме того, оно избавляло издателей от необходимости вводить в текст ѧ, ѡ, ѕ, расстановка которых в изданиях XVIII в. также обычно не соответствовала рукописной традиции XII—XVI вв. Иной была в церковных изданиях XVIII в. и система сокращений, постановки титл и выноса букв над строкой. Гражданский шрифт гораздо менее связывал издателей, позволял точнее следовать тексту. Он был более нейтрален по отношению к древнерусскому тексту, чем церковнославянский.

Совсем иным было бы отношение издателей к гражданскому шрифту, если бы они не задавались целью более или менее точной передачи древнего текста, написанного в иной орфографической системе, чем в изданиях церковной печати конца XVIII в. Если бы перед издателями стояла цель передать древний колорит памятника или тем более создать подделку под древность, они, возможно, остановились бы в своем выборе на церковнославянском шрифте и, не будучи связаны оригиналом, расставили бы юсы, ѣ, выносные буквы и титла так, как это было принято и казалось им обычным в «славяном наречии» без всяких смущавших издателей неправильностей его.

Связанность издателей текстом авторитетной для них рукописи может быть доказана для всех случаев исправления текста, для всей системы подготовки текста к печати и для всех приемов передачи текста «Слова о полку Игореве».

В свете рассмотренных материалов становится ясным, почему редакторы первого издания, Н. Н. Бантыш-Каменский и А. Ф. Малиновский, запрещали А. И. Мусину-Пушкину править корректуры. Чего, собственно, могли опасаться Н. Н. Бантыш-Каменский и А. Ф. Малиновский? Может быть, они опасались, что А. И. Мусин-Пушкин обратится к рукописи «Слова» и введет в корректуру свое собственное понимание какого-либо множество раз уже толкованного и перетолкованного темного места «Слова», не считаясь с мнением им же самим привлеченных к изданию ученых? Вряд ли именно этого опасались Н. Н. Бантыш-Каменский и А. Ф. Малиновский. Однако они, естественно, могли ожидать, что А. И. Мусин-Пушкин станет править не по рукописи и, «унифи-

цируя» текст согласно тем старым приемам, которые он применил в издании «Поучения» и первоначальной копии, введет новые ошибки. В издании могли пострадать характерные югославянские формы «лъ», «ръ», могло быть заменено «ю» после «ч» на «у» и т. д. Иными словами, ученые редакторы первого издания имели все основания бояться правки А. И. Мусина-Пушкина не по рукописи (в этом случае А. И. Мусин-Пушкин вряд ли бы предложил самостоятельные прочтения), а правки *без* рукописи, по привычным нормам орфографии XVIII в. Последняя, как мы видели, и не была вовсе изгнана из издания 1800 г., а лишь умерена.

Весь приведенный материал бесспорно и совершенно отчетливо убеждает в том, как много потеряла наука и русская культура в целом оттого, что первые издатели «Слова» не применили дипломатических приемов передачи текста. Если бы издатели «Слова» своевременно отказались от попыток собственного прочтения текста, от введения правописания XVIII в., современного разделения на слова, расстановки знаков препинания и пр. и приняли бы дипломатические приемы издания, которые к этому времени уже стали намечаться, то мы были бы избавлены от многих ошибок и искажений, от которых не гарантирован ни один из исследователей, ставящих перед собою целью интерпретацию текста, приближение текста к читателю, а не только точное его издание.

Сейчас же волей-неволей перед исследователями встает как одна из важнейших задач исследования «Слова» реконструкция такого его текста, в котором были бы отмечены все те буквы и написания, в отношении которых мы можем подозревать, что они явились результатом интерпретации текста, введения правописания XVIII в. Такой текст мог бы служить исходным материалом для последующей лингвистической и конъектуральной работы над ним. Этот текст должен учитывать показания генеалогического соотношения двух его списков — Екатерининской копии и издания 1800 г., и на основании тех сведений, которые могут быть собраны относительно приемов передачи текста в том и другом, в нем должны быть показаны (особым шрифтом или каким-либо другим способом) все те места и отдельные буквы, которые могли быть изменены издателями сравнительно с погибшей рукописью.

Работа эта сможет быть закончена только тогда, когда станут известны не только все данные относительно того, как готовился текст к изданию 1800 г., но и история печатания этого издания, что может быть сделано на основании установления разночтений всех сохранившихся экземпляров первого издания. Было бы полезно, восстанавливая текст рукописи XVI в., отмечать все те буквы («ъ», «ь» и т. д.), которые могли быть расставлены издателями «Слова» в порядке приспособления к орфографическим нормам конца XVIII в.

* * *

Данное исследование было напечатано в XIII томе «Трудов Отдела древнерусской литературы» в 1957 г. После этого появилась уже упоминавшаяся выше обстоятельная монография Л. А. Дмитриева «История первого издания „Слова о полку Игореве“» (М. — Л., 1960), во многом подтвердившая и продолжившая выводы моего исследования. Приведу наиболее важные дополнения к моим заключениям из этой книги Л. А. Дмитриева.

Во-первых, Л. А. Дмитриев обращает внимание на то, что тенденциями первых издателей «Слова» подчинить текст его некоторым особенностям орфографии XVIII в. и приемам издательской практики А. И. Мусина-Пушкина могут объясняться некоторые отличия выписок Карамзина от чтений первого издания. «Возможно, что в некоторых случаях и Карамзин при цитации древнерусских текстов мог под влиянием современных ему орфографических правил изменять орфографическое написание цитируемого подлинника, вследствие чего мы не можем безоговорочно считать, что все написания Карамзина в выписках из «Слова», отличающиеся от написаний соответствующих слов в первом издании и Екатерининской копии, точнее передают чтения рукописи «Слова», чем первое издание или Екатерининская копия. Но, принимая во внимание то обстоятельство, что цитаты Карамзина из «Слова» могли быть сделаны либо непосредственно из рукописи, либо с какой-то неизвестной нам копии с этой рукописи, и зная тщательное отношение к цитированию Н. М. Карамзиным древнерусских текстов вообще, мы должны учитывать все его выписки из «Слова о полку Игореве», так как они могут или под-

твердить лишний раз правильность передачи написания отдельных слов в первом издании и Екатерининской копии, или дать такие чтения оригинала, которые были неверно переданы в первом издании и Екатерининской копии. Поэтому при восстановлении текста «Слова о полку Игореве», наряду с текстом первого издания, Екатерининской копией и выписками А. Ф. Малиновского, необходимо учитывать и все выписки из текста «Слова», имеющиеся в «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина» (с. 12—13).

Второе дополнение Л. А. Дмитриева заключается в следующем. Л. А. Дмитриев в своей книге весьма внимательно проследил изменения в тексте тех страниц первого издания, которые перепечатывались первыми издателями. «После наблюдений Д. С. Лихачева над текстом «Слова»,— пишет Л. А. Дмитриев,— мы можем объяснить изменения, сделанные в древнерусском тексте при перепечатке отдельных страниц, тенденцией первых издателей соблюсти в своей книге корректорское единообразие» (с. 64). Таким образом, наблюдения Л. А. Дмитриева над текстами перепечатывавшихся страниц не вносят изменений в то соотношение рукописи и печатного текста, которое было предложено нами в приведенной выше схеме.

Третье дополнение заключается в следующем. Исследуя текст выписок А. Ф. Малиновского из «Слова», Л. А. Дмитриев определил, что «выписки Малиновского очень часто совпадают по написанию отдельных слов с Екатерининской копией. Совпадения эти преимущественно падают на те написания, которые отражают стремление Мусина-Пушкина следовать орфографическим правилам XVIII в.: написание «ей» в род. п. мн. ч., правильное употребление «ѣ», замена сочетаний «ръ», «лъ» русскими слогами «ор», «ол». Таким образом, выписки Малиновского подтверждают оценку, данную Д. С. Лихачевым особенностям подготовки текста «Слова» Мусиным-Пушкиным. Сделанные Малиновским с копии, восходящей к тексту, приготовленному Мусиным-Пушкиным, они отражают те же специфические черты в подготовке древнерусского текста, которые характерны для Екатерининской копии» (с. 168—169).

Четвертое дополнение состоит в том, что исследованные Л. А. Дмитриевым первые переводы «Слова» подтверждают сделанные мною предположения об их истории.

В частности, Л. А. Дмитриев пишет: «Д. С. Лихачев... высказывает предположение, что перевод «Слова» был отправлен Мусиным-Пушкиным Екатерине очень поспешно «в том экземпляре, который оказался у А. И. Мусина-Пушкина под рукой». Это предположение подтверждается тем, что, по существу, рукопись «Е» имеет рабочий вид. Дело происходило, очевидно, так. После того как императрица познакомилась с собирательской деятельностью Мусина-Пушкина, последний решил преподнести ей текст и перевод «Слова о полку Игореве» с комментариями. Внешне он хотел оформить весь этот материал по такому же типу, как это позже было осуществлено в первом издании «Слова о полку Игореве»: в левой половине страницы — текст оригинала, справа, параллельно, его перевод, а внизу, под общей чертой, комментарии. В таком виде вся эта рукопись и стала оформляться. Сначала писец очень точно разметил по страницам распределение перевода и комментариев, вписал в правую колонку перевод, оставив левую часть чистой, чтобы потом подогнать под перевод расположение в ней древнерусского текста, и начал вписывать в нижней части листов, под чертой, комментарии к переводу. Уже во время работы писца Мусин-Пушкин решил пополнить комментарии дополнительными статьями. Так как нумерация комментариев уже была проставлена и нижнее поле рукописи занято текстом основных комментариев, то писец эти дополнительные статьи комментариев стал соотносить с текстом перевода условными знаками и вписывать их туда, где должен был быть размещен древнерусский текст «Слова». Этим нарушался чистовой характер рукописи, и писец дополнительные статьи комментариев стал вписывать скорописью, мелко и небрежно. Вся рукопись приобрела рабочий вид — вписать в нее древнерусский текст «Слова» было уже невозможно. Посылка Мусиным-Пушкиным рукописи в полурабочем виде императрице, очевидно, могла быть вызвана только какой-то спешкой. Так как древнерусский текст уже не мог быть вписан рядом с переводом, Мусин-Пушкин вынужден был послать Екатерине древнерусский текст «Слова» в виде отдельного списка. Этим и объясняется то, что у Екатерины оказались одновременно и текст, и перевод, переписанные различными способами» (с. 312—313).

Итак, история подготовки к печати текста «Слова о полку Игореве» в конце XVIII в. представляется сейчас довольно ясной. Эта история показывает, с одной стороны, что первые издатели относились к имеющемуся у них тексту «Слова» с особенной бережностью. Текст «Слова» был для них авторитетен. Совсем другой характер носила бы их правка, если бы они имели хоть тень сомнения в подлинности рукописи. С другой стороны, история подготовки текста «Слова» к изданию существенно помогает нам в восстановлении того текста, который был в руках у первых издателей и который отразился как в Екатерининской копии, так и в первом издании «Слова» 1800 г. Мои наблюдения над приемами передачи текста в Екатерининской копии и в первом издании «Слова о полку Игореве» были существенно продолжены в статье О. В. Творогова «К вопросу о датировке Мусин-Пушкинского сборника со „Словом о полку Игореве“», в параграфе втором этой статьи — «Палеографические и орфографические черты „Слова о полку Игореве“» [1].

---

[1] «Слово о полку Игореве» и памятники древнерусской литературы. — ТОДРЛ, т. XXXI. Л., 1976, с. 141—159.

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ТЕКСТА И ПРОБЛЕМА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СПИСКОВ И РЕДАКЦИЙ «ЗАДОНЩИНЫ»

(ОБ ИССЛЕДОВАНИИ АНДЖЕЛО ДАНТИ) [1]

Как хорошо известно, основной аргумент скептиков в пользу позднего происхождения «Слова о полку Игореве» заключается в том, что текст его ближе к поздним текстам «Задонщины», чем к раннему, заключенному в Кирилло-Белозерском списке № 9, а потому «Слово о полку Игореве» следует признать зависящим от «Задонщины», а не наоборот.

Текстологическая аргументация эта была впервые выдвинута чешским ученым Я. Фрчеком[2], в заслугу которому следует поставить привлечение бо́льшего числа списков «Задонщины», чем рассматривалось русскими исследователями до него. Глава скептического направления в области изучения происхождения «Слова» А. Мазон в этой части признал выводы Я. Фрчека, никак, впрочем, их не развив и не углубив. С возражениями Я. Фрчеку и А. Мазону прежде всего выступили Е. Ляцкий[3] и И. Н. Голенищев-Кутузов[4]. Не занимаясь специально текстологией «Задонщины», оба исследователя указали на то, что считать текст «Слова о полку Иго-

---

[1] Danti A. Criteri e metodi nella edizione della «Zadonščina». — Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia della Universita degli studi di Perugia, vol. VI. Roma, 1968—1969 (ссылки на страницы этой работы в дальнейшем в тексте в скобках).

[2] Frček J. Zádonština. Staroruský žalozpěv o boji rusů s tatary r. 1380. V Praze, 1948.

Работа Я. Фрчека опубликована посмертно. Сам Я. Фрчек погиб в нацистском концентрационном лагере.

[3] Ляцкий Е. Неудачный поход на «Слово о полку Игореве»: 1. Скептическое направление. — «Slavia», roč. XVII, 1939, seš. 1—2; 2. Гипнотизация и действительность. — Там же, seš. 3.

[4] Голенищев-Кутузов И. Н. «Слово о полку Игореве» и рукописи «Задонщины». — Заметки к «Слову о полку Игореве», вып. 2. Белград, 1940.

реве» более близким поздним спискам, чем списку Кб [1], нет никаких оснований. Это было правильно, но аргументация их имела существенный пробел: список Кб был вполовину короче так называемого полного текста, и поэтому, если желать видеть в нем первоначальный текст, он все же в целом, количественно, имел меньше (просто в силу своей краткости) сходных мест со «Словом», чем списки, сохранившие обе части «Задонщины». Отсюда возникла необходимость разобраться в происхождении особенностей текста Кб, а это повлекло за собой необходимость исследовать взаимоотношения списков «Задонщины» и их происхождение.

Первыми серьезными исследованиями текстов всех списков «Задонщины» явилась серия работ В. П. Адриановой-Перетц [2].

Исходя отчасти из исследований В. П. Адриановой-Перетц, но в значительной степени опираясь на свои собственные наблюдения, Р. О. Якобсон придал серьезное теоретическое значение близости текста Кб тексту списка С [3]. Благодаря этому сразу повысился уровень спора по текстологическому истолкованию взаимоотношения списков «Задонщины».

В 1966 г. одновременно вышли две замечательные работы Р. П. Дмитриевой по текстологии «Задонщины» [4]

---

[1] Здесь и далее пользуюсь условными обозначениями списков «Задонщины», принятыми в советских работах: Кб — собрание Кирилло-Белозерского монастыря, № 9/1086, ГПБ; И-1 — Гос. Исторический музей, № 2060; И-2 — Гос. Исторический музей, № 3045; У (или Унд.) — собрание Ундольского, № 632, ГБЛ; С — собрание Синодальное, № 790, Гос. Исторического музея; Ж — собрание Жданова, БАН СССР, 1.4.1.

[2] «Задонщина». Текст и примечания. — ТОДРЛ, т. V. М. — Л., 1947; «Слово о полку Игореве» и «Задонщина». — «Радянське літературознавство». Київ, 1947, № 7—8; «Задонщина» (Опыт реконструкции авторского текста). — ТОДРЛ, т. VI. М.—Л., 1948.

[3] Jakobson R. and Worth D. S. Sofonija's Tale of the Russian-Tatar Battle of the Kulikovo Field. The Hague, 1963 (sr.: Jakobson R. Selected Writings, IV. The Hague, 1966, c. 540—602).

[4] Взаимоотношение списков «Задонщины» и текст «Слова о полку Игореве»; Приемы редакторской правки книгописца Ефросина (к вопросу об индивидуальных чертах Кирилло-Белозерского списка «Задонщины»). — В кн.: «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла. К вопросу о времени написания «Слова». М.—Л., 1966 (в дальнейшем ссылки на эти работы даются в тексте с указанием страниц данного сборника).

и почти одновременно две работы А. А. Зимина[1], также посвященные текстам «Задонщины». Работы А. А. Зимина интересны в том отношении, что после многих лет молчания по этому вопросу так называемых «скептиков» была сделана первая попытка продолжить текстологическую аргументацию Фрчека, в свое время подхваченную Мазоном.

Наконец в 1969 и 1973 гг. появились две текстологические работы итальянского исследователя древнерусской литературы Анджело Данти, в которых он возвращает нас к той же проблеме с позиций итальянской текстологической школы.

Важность и острота вопроса о подлинности «Слова о полку Игореве», который стоит за всеми исследованиями «Задонщины», повысила ответственность ученых-текстологов и определила очень высокий уровень текстологического спора в последние два десятилетия. Каждый из исследователей, максимально напрягая текстологическую аргументацию, отчетливо выявил особенности своей текстологической школы. Поэтому представляется важным и интересным подойти к последним текстологическим работам о «Задонщине» с точки зрения их текстологической методики.

* * *

Наиболее резкие отличия в области методики текстологического исследования наблюдаются между работами о «Задонщине» А. А. Зимина и Р. П. Дмитриевой.

Работа А. А. Зимина «Две редакции „Задонщины“» не анализирует особенности и историю текста каждого списка. На первой странице, как априорная, высказывается та мысль, что список Кб представляет первую, древнейшую, краткую редакцию, а все остальные — позднейшую, полную. Далее вся обширная работа посвящена сравнению текста этой древнейшей редакции с текстом «полной редакции» по эпизодам. Этот анализ состоит в том, что в каждом эпизоде по отдельности различными путями обосновывается одна мысль: текст Кб всюду, во всех случаях (вернее, во всех искусственно выделенных

[1] Две редакции «Задонщины». — «Труды МГИАИ», т. 24. Вопросы источниковедения истории СССР, 1966, с. 17—54 (в оглавлении данного тома у статьи А. А. Зимина другое название: «К истории текста „Задонщины“»); Спорные вопросы текстологии «Задонщины». — «Русская литература», 1967, № 1, с. 84—104.

эпизодах), оказывается лучше, логичнее, стройнее, красивее, правильнее, чем текст «полной редакции», взятой по тексту то одного списка, то другого.

В своих субъективных толкованиях А. А. Зимин исходит из мысли, что более стройный, логичный, ясный текст всегда должен одновременно быть и более древним. Позднейший текст, с его точки зрения,— всегда испорчен, нелогичен, во всех отношениях менее художествен.

На совершенно иных методических основаниях строятся работы Р. П. Дмитриевой. Прежде чем выявить редакции и объединить тексты в группы и построить историю текста «Задонщины», Р. П. Дмитриева анализирует особенности каждого списка, сопоставляет тексты всех списков между собой, но не ограничивается списками, а привлекает заимствования из «Задонщины» в «Сказании о Мамаевом побоище».

Отсюда существенное различие в самом характере выводов Р. П. Дмитриевой и А. А. Зимина. Р. П. Дмитриева доводит историю текста не только до всех списков «Задонщины», но и отдельных заимствований из нее, строит полную стемму взаимоотношения всех списков. Выводы же А. А. Зимина касаются только двух, априорно намеченных им редакций, и не имеют опоры в истории текста отдельных списков. Поэтому выводы А. А. Зимина не могут быть изображены в полной стемме списков и как бы повисают в воздухе, они опираются только на субъективные и «однонаправленные» оценки двух редакций «Задонщины» по «эпизодам», не имея даже видимости объективности. (Для практических занятий по методике текстологических исследований представлял бы очень большой интерес сравнительный анализ методических приемов обоих исследователей в изучении текстов «Задонщины».)

Совершенно иной характер, отличный и от работ А. А. Зимина, и от работ Р. П. Дмитриевой, имеет исследование А. Данти. Его методические приемы представляют собой приемы весьма высокой и имеющей большой опыт и большую традицию итальянской «критики текста»[1].

Свои наблюдения А. Данти строит на основе уже существующих исследований, оценивая их с точки зрения приемов итальянской «критики текста». А. Данти обращает внимание на разночтения и общие чтения

[1] Термин «текстология»— русский по происхождению и в Италии не употребляется.

различных списков и, еще до того как дать объяснение их происхождения, устанавливает редакции только по сумме сходств и различий в списках. Практика западноевропейской критики текста обычно предлагает сперва классифицировать списки по сумме их сходства и различий, а потом оправдать эту классификацию исторически. Между тем, с точки зрения текстологической методики, принятой в Секторе древнерусской литературы ИРЛИ АН СССР, разночтения и сходства анализируются по их происхождению еще до того, как на их основе устанавливается взаимоотношение списков. Задача установления истории текста стоит перед исследователями в их работе с самого начала. Она не является только последним этапом текстологической работы. Вывод вытекает не из количественного подсчета разночтений, а из объяснения их происхождения. Поэтому история текста строится не на основании установленных редакций, видов и изводов текста, а наоборот: выводы о происхождении отдельных разночтений и общих мест дают основание построить историческую схему взаимоотношения редакций, видов и изводов текста.

Только последний путь обеспечивает объективность выводов.

Другое правило, которым пользуются текстологи Сектора древнерусской литературы, состоит в следующем: при установлении истории текста произведения необходимо идти от известного к неизвестному, от установленного к неустановленному, от позднего и дошедшего к более раннему и несохранившемуся. Если для советских текстологов изучение текста означает изучение переписчика, писца, редактора текста, автора, то последовательность в этом ряду должна быть такой: сперва изучаются особенности работы писца того или иного списка, затем особенности протографа дошедшего списка или дошедших списков, затем работа редактора текста, если редакции определимы, и только в конечном счете изучается сам авторский текст [1]. Исключение может представлять только текст, в котором объединены в одном лице писец и автор либо писец и редактор, но это исклю-

---

[1] Текстологический принцип, в силу которого нужно идти от более позднего к более раннему, был установлен в работах А. А. Шахматова по изучению летописей. Тщательное, слой за слоем, как у реставраторов, освобождение древних редакций из-под слоя более поздних было широко и блестяще проведено А. А. Шахматовым и позволило ему создать историю русского летописания.

чительно редкие и счастливые для текстолога случаи. Счастливыми должны быть признаны и те случаи, когда приемы писца текста, редактора мы можем изучать на нескольких разных, сохранившихся от него текстах.

При всех текстологических сложностях, которые представляют для исследователей дошедшие списки «Задонщины», в одном отношении текстолог находится здесь в очень удобном положении: самый важный и самый загадочный из списков «Задонщины» — список Кб — дошел до нас в рукописи писца и редактора, которого мы не только знаем по имени, но который оставил нам и многие другие тексты, переписанные им и им же отредактированные.

Изучение текстов «Задонщины» безусловно должно начинаться с изучения приемов работы писца и редактора списка Кб — Ефросина. И такая работа в основном сделана; она дает очень много для понимания индивидуальных особенностей списка Кб. Это — статья Р. П. Дмитриевой, напечатанная рядом с той ее работой, которую А. Данти постоянно цитирует; статья называется: «Приемы редакторской правки книгописца Ефросина (к вопросу об индивидуальных чертах Кирилло-Белозерского списка «Задонщины»)» [1]. В своей специальной работе о «Задонщине» А. Данти полностью игнорирует выводы этого исследования. Между тем, они чрезвычайно важны для того, чтобы выяснить, какие из черт списка Кб являются чертами индивидуальными, отражающими индивидуальную манеру обращения с переписываемыми текстами Ефросина.

Подходя в настоящее время к изучению взаимоотношения списка Кб с остальными списками «Задонщины», мы прежде всего должны снять эти индивидуальные черты и только после этого изучать, к какому же из других списков «Задонщины» близок остающийся текст Кб [2].

---

[1] См.: «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла. К вопросу о времени написания «Слова», с. 264—291. Ср. также предшествующую работу Я. С. Лурье: «Литературная и культурно-просветительная деятельность Ефросина в конце XV в.» — ТОДРЛ, т. XVII. М.—Л., 1961.

[2] Признаю ошибкой, что в сборнике «„Слово о полку Игореве“ и памятники Куликовского цикла» эта статья Р. П. Дмитриевой помещена после ее статьи «Взаимоотношение списков „Задонщины“ и текст „Слова о полку Игореве“». Более естественным и удобным для понимания хода рассуждений Р. П. Дмитриевой было бы объединить обе статьи в одну под общим заглавием «Взаимоотношение списков „Задонщины“» и текст второй статьи напечатать перед текстом первой.

Можно соглашаться или не соглашаться с отдельными частными наблюдениями и выводами из этих наблюдений Р. П. Дмитриевой, но никак нельзя не признать того ее общего положения, что список Кб в немалой степени должен был отразить, и, очевидно, отразил, индивидуальную редакторскую манеру его писца — Ефросина. Среди всех многочисленных и обширных текстов, которые были переписаны собственной рукой Ефросина, нет ни одного, который не подвергся бы сокращениям и изменениям с его стороны. Манера, в которой Ефросин обрабатывал переписываемые им тексты, резко индивидуальна [1].

«Техника» сокращений, произведенных Ефросином, хорошо показана Р. П. Дмитриевой; вторичность сокращений в большинстве случаев не может вызывать сомнений (см., например, с. 254).

В списке Кб имеются не только сокращения, выполненные в манере Ефросина, характерной для всей его работы переписчика различных текстов, но и явные вставки. Две из них определяются достаточно отчетливо. Первая — из «Слова о погибели Русской земли»; вторая — либо из Синодика, как думает Р. О. Якобсон, либо из Летописной повести о Куликовской битве, как полагает М. А. Салмина [2].

В одном только случае мы можем не согласиться с Р. П. Дмитриевой. Должны ли мы вслед за ней считать, что описание второй половины битвы было опущено не Ефросином, а кем-то из его предшественников? Р. П. Дмитриева приводит для этого предположения

---

[1] Говорю это вопреки тому, что утверждает А. А. Зимин в своей статье «Спорные вопросы текстологии „Задонщины"» (с. 91); возражения ему см. в статье: Дмитриева Р., Дмитриев Л., Творогов О. По поводу статьи А. А. Зимина «Спорные вопросы текстологии „Задонщины"». — «Русская литература», 1967, № 1, с. 111—112.

[2] Р. О. Якобсон объясняет влиянием Синодика употребление некоторых имен в перечне убитых в списке Кб в родительном падеже (см.: Sofonija's Tale of the Russian-Tatar Battle on the Kulikovo Field, с. 31); М. А. Салмина, сближая Кб с «Летописной повестью», опирается на наличие в обоих памятниках общих имен, неизвестных по другим спискам «Задонщины»; к тому же, по ее наблюдениям, Кб и «Летописная повесть» имеют и другие параллели (см.: Салмина М. А. «Летописная повесть» о Куликовской битве и «Задонщина». — В кн.: «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла, с. 382—383).

единственное основание: Ефросин приписал в конце своего текста текст летописных записей, близких событиям Куликовской битвы из им же переписывавшегося перед тем летописца в рукописи Кб 22 (с. 251)[1]. Р. П. Дмитриева предполагает, очевидно, что Ефросин был недоволен окончанием текста и решил сгладить впечатление от обрыва текста на половине рассказа. Но, во-первых, неясно — действительно ли Ефросин был недоволен окончанием. Ведь доволен же им современный требовательный исследователь А. А. Зимин. А, во-вторых, Ефросин мог быть в такой же мере недоволен получившимся своим окончанием, как и чужим.

Я думаю, что смысл списка Кб состоял в поминании павших к столетию Куликовской битвы. Для этого текст «Задонщины» сокращен, особенно в своей второй части. Для этого пополнен по другому источнику список убитых, для этого же вставлена выдержка из «Слова о погибели Русской земли».

Перестановки в тексте списка Кб также отчасти объясняются этим его назначением: поскольку перечисление убитых составляет смысл и конец текста, эпизод с Пересветом и Ослябей переставлен перед перечислением убитых. Плач жен по убитым по этим же причинам помещен после перечисления убитых. Наконец, по этим же причинам произведена вставка даты битвы — 8 сентября; она же — дата поминания убитых в церкви.

Характерно и важно, что вставка из «Слова о погибели Русской земли» теряет свой бравурный смысл, который это место имело в «Слове», и приобретает смысл оплакивания погибших всей Русской землей и окружающими ее странами именно в Кб.

Так, в списке И-1 читаем: «Черна земля под копыты, костьми татарскими поля насѣяша, кровью земля пролита... Кликнуло диво в Рускои земли, велит послушати грозънымъ землям. Шибла слава к Желѣзнымъ вратом, к Риму и к Кафы по морю, и к Торнаву, и оттоле к Царюграду, на похвалу: Русь великая одолѣша Мамая на

[1] Другой исследователь «Задонщины» — О. В. Творогов, как и Р. П. Дмитриева, полагает, что в распоряжении Ефросина или его предшественника находился дефектный текст «Задонщины» (см.: Творогов О. В. «Слово о полку Игореве» и «Задонщина». — В кн.: «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла, с. 311—312).

полѣ Куликовѣ»[1]. В списке Кб иначе: «Тогда поля костьми насѣяны, кровьми полиано. Воды возпиша, вѣсть подаваша порожнымь землямь, за Волгу, к Желѣзнымь вратомь, к Риму, до Черемисы, до Чяховъ, до Ляховъ, до Устюга поганыхъ татаръ, за дышущеем моремь»[2].

В списке Кб отсутствует упоминание о «славе», «похвале» и о победе над Мамаем.

Поскольку в изменениях, внесенных Ефросином в текст «Задонщины», заметно творческое начало, текст списка Кб действительно можно считать особой редакцией — редакцией Ефросина. В списке Кб мы видим не случайные ошибки и описки, а вполне сознательные сокращения и изменения. Это не дефектный список, а список, подвергшийся целенаправленной редактуре,— следовательно, это редакция[3].

* * *

Редакция, представленная в единственном, «редакторском», экземпляре, не может быть отвергнута на этом основании из текстологического рассмотрения при попытках восстановления текста, лежащего в основе всех списков «Задонщины» (разумеется, называть этот архетипный текст, лежащий в основе всех дошедших списков, авторским никак нельзя). Дело в том, что хотя редакция Ефросина поздняя, но рукопись, в которой она представлена, самая ранняя, и в силу этого не измененные Ефросином чтения представляют собой очень важные свидетельства об архетипном тексте. Именно поэтому текст списка Кб нуждается в очень тщательном сличении в предположительно сохранившейся от первоначального чтения его части со всеми остальными списками и

---

[1] «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла, с. 543. В списках У и С текст сходный.

[2] «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла, с. 549—550. Последние три строки восходят к «Слову о погибели». О. В. Творогов (в статье «„Слово о полку Игореве“ и „Задонщина“», с. 302) считает чтения Кб «за Волгу» и «порожнымь (то есть пустым, незаселенным. — *Д. Л.*) землямь» параллелями к тексту «Слова о полку Игореве» («...велить пслушати земли незнаемѣ, Влъзѣ»), слово «воды» — искажением слова «диво».

[3] Определение того, что следует называть редакцией текста, см.: Лихачев Д. С. Текстология на материале русской литературы X—XVII вв. М.—Л., 1962, с. 116 и след.

выявлении не только более архаичных, «правильных», чтений, но и отличающихся от общих для остальных списков вторичных чтений. При этом взаимоотношение списка Кб и остальных списков должно выясняться не по составу, ибо состав Кб объясняется в основном характерной работой переписчика Ефросина или случайными причинами, а по отдельным чтениям тех частей Кб, которые имеют соответствия в других списках.

Краткость списка Кб и отсутствие в нем второй части, безусловно, должны быть в первую очередь приняты во внимание при сличении, ибо эти сугубо индивидуальные особенности списка Кб придают ему характер недостоверности.

Эта работа и была проделана Р. П. Дмитриевой в ее первой статье — «Взаимоотношение списков «Задонщины» и текст „Слова о полку Игореве"» [1].

Наибольшая близость списка Кб к списку С основной редакции, предположенная Р. О. Якобсоном, была окончательно доказана Р. П. Дмитриевой и, в сущности, в целом признается и А. Данти. Однако А. Данти отрицает существование особого извода Син., куда входит и текст „Слова о полку Игореве"» [1].

Отметим те аргументы Р. П. Дмитриевой, которые не принимаются во внимание А. Данти.

Прежде всего — существование особого извода Син., к которому принадлежат С и Кб, подтверждается и текстом тех семи заимствований из «Задонщины», которые имеются в Печатном варианте «Сказания о Мамаевом побоище» и о которых во всех суждениях о тексте извода Син. ни в коем случае нельзя забывать. Р. П. Дмитриева пишет: «Список, отраженный в Печатном варианте, не мог восходить ни к тексту типа списка Кб, ни к тексту, тождественному списку С, и не мог слить эти два источника, хотя в нем и имеются особенности того и другого списков. Дело в том, что в нем сохранились некоторые более ранние чтения. Он не мог вести свое происхождение от списка, подобного Кб, так как эпизод с описанием боя, характерный для Кб списка и Печатного варианта,

[1] Напомню, что О. В. Творогов произвел сопоставления списка Кб со «Словом о полку Игореве» и обнаружил одиннадцать индивидуальных параллелей списка со «Словом»— больше, чем у любого иного списка «Задонщины» (см.: Творогов О. В. «Слово о полку Игореве» и «Задонщина», с. 300—312).

в Печатном варианте передан ближе к оригиналу» (с. 231).

В истории текста дошедших до нас списков «Задонщины» имеется, таким образом, очень важное обстоятельство: единственная вторичная редакция «Задонщины» входит в состав одного из изводов. Иными словами: сильное выделение одного из текстов (редакция) подчиняется в историческом плане более слабому выделению текста (изводу). Такое соотношение не удивляет при историческом изучении дошедших текстов, но крайне странно при попытках классифицировать тексты только по механическим признакам (исходя из формального деления текстов по разночтениям), ибо, ограничиваясь подсчетом количества разночтений [1] между Кб и остальными списками, мы действительно должны были бы объединить эти остальные списки в одну редакцию и делить все тексты «Задонщины» на две редакции: редакцию Кб (краткую) и редакцию всех остальных списков (полную). Перенесение этого деления в исторический план из формально-механического и дает ту ошибочную историю текста «Задонщины», из которой исходят исследователи, считающие текст «Слова о полку Игореве» вторичным по отношению к тексту «Задонщины».

Ш. Бедье в свое время установил очень любопытную зависимость между методикой разбивки дошедших текстов по редакциям, разработанной К. Лахманом и его школой, и полученными выводами. Оказалось, что у ученых, пользующихся «теорией общих ошибок», стеммы списков — парноветвистые (дихотомные). Ш. Бедье собрал 80 стемм, выполненных по системе К. Лахмана,—

---

[1] Именно из такого рода методики (по количеству разночтений и формально, без анализа сопоставляемого состава) исходит и А. А. Зимин. В статье «Спорные вопросы текстологии „Задонщины"» он пишет: «Отмечая текстологическую близость списков Кб и С, с одной стороны, и И-1 и У — с другой, Р. П. Дмитриева (как и Р. О. Якобсон) объявляет первую пару списков принадлежащими к одному (Синодальному) изводу, а вторую — к другому (Ундольского). Но, как известно, сходство С с И-1 и У неизмеримо больше, чем с Кб: если в первом случае совпадают и композиция текста, и лексика, и стиль, и содержание, то во втором можно говорить только об отдельных словах и небольших оборотах» (с. 92). Р. П. Дмитриева как раз и не занимается вопросом о том, какое количество сходных черт сближает Кб с С, а делает свои заключения на основании выяснения происхождения этих сходств и различий. Еще и еще раз приходится повторять: нет текстологического факта, пока он не объяснен в своем происхождении.

78 из них оказались парноветвистыми, то есть делящими все списки по два[1].

Можно, даже не собирая различных стемм, выполненных формальной, традиционной критикой текста, в которых группировка списков предшествует историческому анализу, сказать, что любые крупные деления текстов будут в этих стеммах предшествовать более мелким делениям, тогда как реальная возможность происхождения крупного деления из мелкого (например, редакций из изводов) так же велика, как и обратная: мелких делений — из крупных (например, видов текста, или его изводов,— из редакций).

* * *

Как же объясняет А. Данти близость списка Кб к списку С? Говоря о предположении Л. Матейки[2] и А. А. Зимина, что список С мог подвергнуться контаминации с одним из списков краткой редакции (редакции Ефросина), А. Данти склоняется именно к этому предположению, но с существенными оговорками. Он пишет: «По нашему мнению, при том небольшом критическом анализе текста, которого нам удалось добиться, вторая гипотеза (то есть гипотеза Л. Матейки и А. А. Зимина. — *Д. Л.*) имеет бо́льшую вероятность считаться истинной, но она должна быть еще подтверждена тщательным критическим разбором и проверена в соответствии с традиционными канонами критики текста, которой должна быть подвергнута вся рукописная традиция «Задонщины» и без которой невозможно выдвинуть ни одного ценного критерия для восстановления текста» (с. 219—220). Но именно такая работа в какой-то мере уже проделана Р. П. Дмитриевой в ее статье «Взаимоотношение списков „Задонщины“ и текст „Слова о полку Игореве“». А. Данти не заметил или не придал значения аргументам Р. П. Дмитриевой, вероятно, потому, что ее анализ текста расходится с «традиционными канонами критики текста».

---

[1] Bédier Ch. I. La Tradition manuscrite du «Lai de l'ombre». Reflexions sur l'art d'éditer les anciens textes. — «Romania», t. LIV, 1928.

[2] Matejka L. Comparative Analysis of syntactic Constructions in the Zadonščina. — In: American Contributions to the Fifth International Congress of Slavists. Sofia, 1963. The Hague, 1963, с. 383—403

Если считать, что краткая редакция есть редакция Ефросина, как это признал А. Данти в своем докладе на Варшавском съезде славистов [1], то какой же из списков этой редакции мог повлиять на традицию С? Ведь редакция Ефросина дошла до нас в списке Ефросина же, и нет никаких оснований предполагать, что она впоследствии размножалась в списках. Для того чтобы считать, что список С испытал на себе влияние одного из списков редакции Кб, надо прежде всего доказать, что группа Кб существовала, что индивидуальные особенности списка Кб не являются результатом индивидуальной манеры Ефросина; или необходимо доказывать, что на извод С повлиял непосредственно сам список Кб.

Предположение А. Данти, что список С представляет собой список извода Унд., но лишь «испорченный» по одному из протографов Кб, высказывалось и Р. П. Дмитриевой и одновременно ею же парировалось. Ввиду важности и этого предположения, и сомнений Р. П. Дмитриевой в возможности такого происхождения текста списка С, приведу касающуюся этого вопроса часть ее статьи «Взаимоотношение списков „Задонщины“ и текст „Слова о полку Игореве“»: «Если остановиться на предположении, что извод Син. был ближе списку Кб, тогда мы должны сделать совершенно определенный вывод, что при создании текста списка С основным и главным источником является текст списка извода Унд., а текст извода Син. составитель списка С использовал как дополнительный источник (предположение, к которому присоединяется А. Данти. — *Д. Л.*). Этот вывод основывается на следующем: список С сохраняет все основные характерные черты извода Унд. и в содержании, и в композиции построения произведения. Ни одного отклонения списка Кб в передаче отдельных эпизодов или изменения последовательности передачи текста список С не отражает...

Однако характер использования чтений извода Син. в списке С таков, что едва ли возможен был именно такой путь создания текста списка С. Конечно, общие чте-

---

[1] Danti A. Di un particolare aspetto della tradizione manuscritta antico-russa: testi a duplice redazione e problemi della loro edizione. Roma, 1973.

ния исторического характера вполне могли появиться в списке С таким путем, но отдельные мелкие изменения в одно-два слова, не вносящие по существу в содержание ничего нового, едва ли какой-нибудь редактор стал бы вносить и менять по другому списку. Они, скорее всего, могли появиться в списке С только из основного источника, а не из дополнительного. Такие же сомнения вызывают и изменения, касающиеся содержания и грамматического строя целых предложений. Если бы писец списка С следовал за изводом Унд., то с какой целью стал бы он грамматически стройное предложение этого извода — «Не в обиде есмя были» — заменять явно несогласованным вариантом извода Син.? Этот вариант является вторичным, искаженным текстом, его не было в изводе Унд., следовательно, в список С он вошел из извода Син.

Точно так же кажется маловероятным, чтобы составитель текста списка С, имея в основе текст извода Унд., внес бы в него изменения по списку извода Син. в той части, где приведено обращение Осляби к Пересвету. И в этом случае неясно, зачем писцу списка С понадобилось бы четкий текст речи о сыне Осляби, читающийся в изводе Унд., заменять отрывочным текстом извода Син., где недостает одного глагола, а затем снова возвращаться к своему основному оригиналу, т. е. изводу Унд., и из него брать окончание предложения? Нет никаких оснований для того, чтобы предполагать такой запутанный и смыслом текста необъяснимый путь работы над «Задонщиной» писца списка С.

Приведенные соображения, хотя и не имеют силы неоспоримых доказательств, однако в своей совокупности делают маловероятным предположение, что список С в основе имел список извода Унд. и только пополнялся по списку извода Син. (если считать, что извод Син. близок тексту списка Кб)» (с. 222—223).

В рассуждениях Р. П. Дмитриевой, помимо их значения для решения вопроса о характере списка С и его объяснения, предложенного Л. Матейкой, А. А. Зиминым и А. Данти, очень большой интерес представляет теоретическая сторона. Нельзя не согласиться с Р. П. Дмитриевой, что ошибки текста могут передаваться только из основного протографа, но дополнительный текст не может влиять на основной текст своими ошибками, осо-

бенно теми, которые обессмысливают текст, делают его непонятным [1].

Ошибки и искажения (причем явные искажения, бессмысленные ошибки) не могут переходить в основной текст из дополнительного источника, ибо перенос из дополнительного источника — всегда более или менее сознательное явление.

Если признать правильным это наблюдение (а я не могу пока представить себе, при каких обстоятельствах это общее положение могло бы быть оспорено), то общие со списком Кб ошибки и неясности в списке С могли передаться только из основного списка, и поэтому объяснение особенностям этого списка С, предложенное Зиминым и А. Данти, принято быть не может.

В уже упомянутом докладе на Международном съезде славистов в Варшаве «Об особом типе древнерусской рукописной традиции: тексты с двумя редакциями и проблема их издания» А. Данти учитывает результаты работ Я. С. Лурье и Р. П. Дмитриевой по выявлению индивидуальных особенностей Ефросина как переписчика рукописей.

А. Данти принимает выводы работ Я. С. Лурье и Р. П. Дмитриевой как доказательство того, что существуют две редакции дошедших текстов «Задонщины», однако при этом близость С к списку Кб и к выдержкам из «Задонщины» в Печатном варианте «Сказания о Мамаевом побоище» и одновременно к списку Кб им попрежнему полностью игнорируется.

Чтобы понять, почему А. Данти придерживается именно такого взгляда, присмотримся к методике рассуждений А. Данти в его докладе на последнем Международном съезде славистов.

Прийти к правильным заключениям по истории текста «Задонщины» А. Данти явно мешают постоянно

---

[1] Правка одного списка по другому — довольно частое явление в древнерусской письменности. Имеется много рукописей, в которые непосредственно вносилась такая правка. Это всегда исправления, осмысливающие текст, или дополнения, или, в крайнем случае, замены одного осмысленного текста другим осмысленным. Но правка текста никогда не заключается в переносе явно ошибочных или бессмысленных и с точки зрения древнерусского писца чтений. Это положение принципиально важно, но, к сожалению, я не отметил его в моей книге «Текстология на материале русской литературы X—XVII вв.» (М.—Л., 1962).

перекрещивающиеся с исследованием по истории текста практические задачи издания текста.

А. Данти интересуют в первую очередь не столько те разночтения, которые, будучи сами по себе незначительными и мало сложными, показательны тем не менее для истории текста и для выяснения взаимоотношения списков, сколько те разночтения, которые затрудняют издателя текста и место которых должно быть определено в подготовляемом издании. Этот «практицизм» в подходе к тексту мешает выявлению истории текста и в конечном счете затрудняет его издание.

* * *

Перехожу к заключению. Итак, вопросы эдиционные должны решаться только после того, как история текста решена с возможной для данного случая полнотой и совершенно независимо от будущих задач издания. Исследование истории текста не может быть заранее подчинено задачам издания. История текста решается не по частям в зависимости от потребностей издателя (какой список признавать «лучшим» [1], как быть с тем или иным разночтением и пр.), а в целом — для всех списков и всей традиции.

При этом, и это особенно важно в сложных и трудных случаях, как это мы имеем в «Задонщине», процесс восстановления истории текста должен двигаться от поздних явлений к более ранним (обратно тому, как это имело место в действительности). Исследователь должен идти не от суммарных характеристик нескольких списков сразу (признаваемых им за редакцию, вид, извод и пр.), а от характеристик каждого списка в отдельности (особенно когда этих списков мало,— как в случае со списками «Задонщины», когда они сравнительно поздние и когда все решительно списки сильно разнятся друг от друга). Индивидуальные особенности каждого отдельного списка никак не должны игнорироваться.

Если считать основным значением крупные различия текстов (что, конечно, существенно для их издания), то не-

[1] Критику традиционного понятия «лучший список» см.: Лихачев Д. С. Понятие «лучшего списка» в текстологической работе.— Археографический ежегодник за 1958 год. М., 1960.

обходимо будет признать деление текстов «Задонщины» на две редакции. К одной будет принадлежать редакция списка Кб, а к другой — все остальные. И при этом можно игнорировать выдержки из «Задонщины» в списках «Сказания о Мамаевом побоище», так как их, разумеется, издавать не следует. Установив с самого начала такое деление текстов «по крупному счету», можно перейти к выявлению индивидуальных особенностей для подведения разночтений. Такой способ подхода к текстам традиционен и даже в какой-то мере удобен для издателей.

Если же думать о возможно более глубоком проникновении в историю текста, то необходимо прежде всего (до деления текстов на редакции, ибо редакции определяются только в результате исторического изучения дошедших текстов, а не в результате простой классификации разночтений) исследовать индивидуальные особенности каждого списка и выделить в них поздние особенности; причем не следует ограничиваться только списками данного памятника, а принимать в расчет все свидетельства текста и изучать, если это возможно, особенности работы писца того или иного списка. Именно такой подход и характеризует работы о «Задонщине» Р. П. Дмитриевой.

Исключительные возможности предоставляет для такого рода подхода именно список Кб. Его писец Ефросин достаточно определенно выявил особенности своего обращения с текстами в оставшихся от него рукописных сборниках.

Если из переписанного Ефросином текста Кб удалить все, что так или иначе связано с особенностями его обращения с текстами, то законно поставить вопрос (поскольку этот слой поздний): с текстом какого из других списков сходствует ранний слой Кб? Сравнительно с поздним индивидуальным ефросиновским слоем текста Кб его ранний слой менее достоверен, но тем не менее вполне достаточно и его показаний, чтобы определить близость к списку С. Эти сходства находят подкрепление в особенностях того текста «Задонщины», который включен в Печатный вариант «Сказания».

Сходств этих недостаточно, чтобы говорить о редакции идеологической или стилистической, но вполне можно называть группу Кб, С и список «Задонщины», отраженный в Печатном варианте «Сказания», изводом, или вариантом.

Перед нами исключительно интересный и очень показательный случай истории текста: четко определяющаяся исторически редакция входит в более ранний извод, или вариант. Сперва создались два извода, а затем от одного из изводов возникла новая редакция.

При механическом разделении списков по значительности их разночтений, при подчинении группировки списков задачам издания текста такой результат, разумеется, не мог бы получиться.

Как дихотомные стеммы списков являются чистым результатом лахмановской методики классификации списков, так и вторичность мелких разделений текстов сравнительно с крупными и исключение возможных обратных связей являются чистым результатом, с одной стороны, «эдиционного практицизма», а с другой — приблизительной и облегченной методики распределения текстов по редакциям с помощью количественного анализа разночтений.

Реализм советской школы текстологии (термин Миниссн)[1] является прямым следствием ее историзма, но этот «реализм» труден и сложен, он совсем не облегчает работу текстолога, которая мыслится как работа не издателя, а как историка текста.

Итак, текст списка Кб «Задонщины» никак не может рассматриваться как древнейший. Это редакция, созданная Ефросином в составе извода Син. Тем самым отпадает главный аргумент скептиков, считавших, что «Слово о полку Игореве» создано на основе «Задонщины» в сравнительно позднее время.

---

[1] Minissi H. Criteri e metodi nella edizione e recensione della Povest' wremennych let. — «Ricerche slavistiche», t. V. Roma, 1957, c. 16—28.

«ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК»: «СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ», РАССКАЗ ИПАТЬЕВСКОЙ ЛЕТОПИСИ О ПОХОДЕ КНЯЗЯ ИГОРЯ В 1185 г. И «ЗАДОНЩИНА»

(К ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИМ ЗАМЕЧАНИЯМ ПРОФ. ДЖ ФЕННЕЛЛА)

В своей статье о подлинности «Слова о полку Игореве», напечатанной в 1966 г. в «Оксфордских славистических записках», я кратко говорю и о том любопытном явлении, которое обнаруживается в текстологических взаимоотношениях трех произведений — «Слова о полку Игореве», «Задонщины» и рассказа Ипатьевской летописи о походе 1185 г. на половцев, том самом походе, о котором повествует и «Слово».

«Слово» и «Задонщина» бесспорно близки друг к другу, но в отдельных своих частях близки между собой также и «Слово» и Ипатьевская летопись, хотя и в гораздо меньшей степени. И вот в некоторых из тех частей, где «Слово» и Ипатьевская близки между собой, обнаруживается их связь и с «Задонщиной». Этих мест очень немного, но существование их тем не менее показательно. Сходство Ипатьевской и «Задонщины» в местах, общих со «Словом», может быть объяснено только тем, что «Слово», близкое к Ипатьевской, повлияло на «Задонщину». Если же считать, что «Задонщина» повлияла на «Слово», тогда останется непонятной близость «Задонщины» и Ипатьевской.

Несогласие с той или иной аргументацией защитников подлинности «Слова о полку Игореве» не означает, что несоглашающийся непременно стоит на скептических позициях в отношении подлинности «Слова». Аргументация может быть сплошь неверной, а тезис оставаться тем не менее верным. В научном споре возможно, кроме того, исследовать только аргументацию, степень ее правильности, не касаясь вопроса о верности самого тезиса.

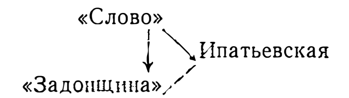
---

[1] Likhachev Dm. The Authenticity of the Slovo o Polku Igoreve: a Brief Survey of the Arguments. — «Oxford Slavonic Papers», v. XIII. Oxford, 1966.

Профессор Оксфордского университета Джон Феннелл занимает осторожную научную позицию, отказывается пока стать на одну из двух точек зрения на вопрос о подлинности «Слова». В своей книге «Early Russian literature» (L., 1974), написанной совместно с А. Стоуксом, проф. Дж. Феннелл подробно анализирует аргументацию той и другой стороны, выделяя в этой аргументации спорящих то, что ему представляется сильным, и то, что ему представляется слабым (с. 191—206). Ни с одной из сторон он, в сущности, не соглашается. Ему кажется все же, что «Слово» можно признать созданным после «Задонщины», но никак нельзя отнести к XVIII в., и поэтому он условно относит его к XVI в., не разбирая при этом вопроса, основного для такого рода решения: а есть ли соответствия между «Словом» и XVI веком? [1]

Проф. Феннелл в своей статье «The Slovo o polku Igoreve: the Textological Triangle», напечатанной в т. 1 новой серии «Oxford Slavonic Papers» (1968), подробно остановился на этом «текстологическом треугольнике» и стремился доказать, что между «Задонщиной» и Ипатьевской нет никаких следов текстологической близости.

Обычное понимание взаимоотношений «Слова», Ипатьевской и «Задонщины» следующее:



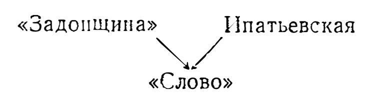
Пунктирная линия между Ипатьевской и «Задонщиной» означает не реальную связь Ипатьевской и «Задонщины», а лишь сходство отдельных мест через «Слово» [2].

---

[1] Далее следует русский перевод моего ответа проф. Дж. Феннеллу, напечатанный в т. 2 новой серии «Oxford Slavonic Papers» (Oxford, 1969, с. 106—115).

[2] В статье проф. Феннелла предлагаемое мною взаимоотношение «Слова» и Ипатьевской перевернуто (с. 135—136). Я не предполагаю, что в основе «Слова» лежит Ипатьевская. Я не могу останавливаться сейчас на этом вопросе подробно. Отмечу только, что, по-видимому, рассказ о походе Игоря 1185 г., позднее включенный в состав Ипатьевской летописи, только испытал влияние «Слова» либо какой-то песни или рассказа о походе Игоря, который послужил основой и для «Слова». О летописце Игоря Святославича см.: Лихачев Д. Русские летописи. М.—Л., 1947, с. 182—196.

Схема взаимоотношений трех памятников согласно концепции Зимина—Феннелла иная:



В этой схеме не может быть общих мест между «Задонщиной» и Ипатьевской.

Впервые на близость Ипатьевской и «Задонщины» как на доказательный материал в пользу аутентичности «Слова» обратил внимание Р. О. Якобсон в 1952 г.[1]. Я назвал этот текстологический казус «текстологическим треугольником» и несколько модифицировал его, но до сих пор я только бегло останавливался на нем в обзорных статьях[2] и не излагал подробно. Проф. Феннелл разобрал этот «текстологический треугольник» гораздо детальнее, чем я, и пришел к выводу, что никакой связи между Ипатьевской и «Задонщиной» нет. Статья проф. Феннелла побуждает меня вновь вернуться к «текстологическому треугольнику» и проверить аргументацию проф. Феннелла. Но прежде чем обратиться к проверке, позволю себе сделать три общих методических замечания о текстологическом анализе в целом.

1. Текстологический анализ не должен ограничиваться анализом текста как такового. В текстологическом анализе важны не только совпадения или различия слов, но и сопоставление содержания, общих сюжетных положений, мотивов, образов и т. д. Текстологический анализ имеет дело не только с чисто текстовыми явлениями, но также и с ситуационными соответствиями. При этом связь текстовых соответствий с ситуационными особенно показательна и доказательна.

---

[1] Jakobson R. The Puzzles of the Igor'-Tale on the 150th Anniversary of the First Edition. — «Speculum», 1952, January.

[2] Изучение «Слова о полку Игореве» и вопрос о его подлинности. — В кн.: «Слово о полку Игореве» — памятник XII века. М.—Л., 1962, с. 66—69; «Когда было написано «Слово о полку Игореве»?». — «Вопросы литературы», 1964, № 8, с. 142—144; The Authenticity of the Slovo o Polku Igoreve: A Brief Survey of the Arguments'. — «Oxford Slavonic Papers», v. XIII (1967), c. 36—37.

2. Особенное значение имеет фактическая сторона текста. Соответствие того или иного текста действительности часто свидетельствует о его первоначальности.

3. Если между двумя текстами имеется не одно сходство, а несколько, то каждое из сходств, будучи даже само по себе слабым, приобретает особенное значение в совокупности.

После этих предварительных замечаний обратимся к анализу мест, в которых обнаруживается связь всех трех памятников — «Слова», Ипатьевской и «Задонщины».

Во всех трех памятниках — «Слове», Ипатьевской и «Задонщине» — упоминается река Каяла. Исследователи не указали больше ни одного источника, где бы еще упоминалась эта река. Поскольку битва 1185 г., о которой рассказывают Ипатьевская и «Слово», произошла действительно на реке Каяле, а к «Задонщине» Каяла имеет лишь косвенное отношение в том случае, если источником «Задонщины» было «Слово», то можно считать, что фактическая сторона дела подтверждает первоначальность «Слова» и Ипатьевской, а не «Задонщины».

Проф. Феннелл отвергает в этом пункте связь «Задонщины» с Ипатьевской и «Словом» на том основании, что Каяла упомянута только в одном списке «Задонщины» — списке У[1] и является, по его мнению, простой опиской: Каяла вместо Калка. При этом проф. Феннелл ссылается (с. 128) на мнение советского ученого Л. А. Дмитриева, который якобы также считает Каялу в списке У простой опиской писца. Однако на указанной проф. Феннеллом странице Л. А. Дмитриев пишет: «Трудно сказать, является ли в данном случае (в списке У. — *Д. Л.*) «Каяла» механической опиской вместо «Калка», или же автор «Задонщины», имея в виду и битву на Каяле, воспетую «Словом о полку Игореве», и битву на Калке, отождествил в своем произведении эти реки или же самые события, связанные с ними. Во всяком случае, это место «Задонщины», как бы мы ни толковали упоминание в нем реки Каялы, красноречиво

[1] Условные обозначения списков «Задонщины» см.: наст. изд., с. 279.

свидетельствует о том, что в основе «Задонщины» лежит „Слово“»[1].

Таким образом, Л. А. Дмитриев просто не рассматривает вопроса о том, имелось ли упоминание Каялы уже в архетипе «Задонщины», так как для поставленных в статье задач это не важно. В самом деле, вопрос о том, что было в архетипе «Задонщины», не может быть решен на основании двух-трех общих соображений, как это делает проф. Феннелл. Вопрос об архетипе «Задонщины» имеет большую и сложную литературу[2]. Но так же, как и для Л. А. Дмитриева, нам совершенно не важно, является ли Каяла опиской в списке У или она отражает архетип. В самом деле, согласимся условно с проф. Феннеллом, что Каяла — описка в списке У. Значит, писец У знал либо текст «Слова», либо текст Ипатьевской, так как ни в каких других источниках Каяла не найдена. Это настолько незначительная река, что современные исследователи не могут установить ее местонахождения. Если писец описался так, что у него случайно вышла Каяла вместо Калка, то такую описку мы должны признать «пророческой»: она как бы предугадала то, что «Задонщина» со временем ляжет в основу «Слова о полку Игореве».

Вероятность того, что название «Каяла» получилось в результате случайной механической описки в слове «Калка» при общем числе букв в древнерусском алфавите 30, составляет примерно одну девятисотую $\left(\frac{1}{30} \times \frac{1}{30} = \frac{1}{900}\right)$. Кроме того, нужно учесть, что вероятность описки подряд в двух буквах данного слова сама по себе очень мала (порядка общего числа парных ошибок в списке У, деленного на общее число слов в этом списке). Так что вероятность сочетания обоих событий (производное вероятностей каждого) исчезающе мала. Практически она равняется вероятности чуда.

---

[1] Дмитриев Л. А. Вставки из «Задонщины» в «Сказании о Мамаевом побоище» как показатели по истории текста этих произведений. — В кн.: «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла. К вопросу о времени написания «Слова». М.—Л., 1966, с. 402. Ср. также рассуждение О. В. Творогова в статье «„Слово о полку Игореве“ и „Задонщина“» в том же сборнике, но не на с. 297, упомянутой проф. Феннеллом, где о Каяле говорится вскользь, а на с. 338—339, где об этом говорится специально и подробно.

[2] В первую очередь следует учесть исследования Р. П. Дмитриевой и О. В. Творогова в кн.: «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла. М.—Л., 1966.

Однако сходство «Слова», Ипатьевской и «Задонщины» не ограничивается словом «Каяла». Во всех трех памятниках о Каяле говорится с прибавлением слов «на рекѣ»: в «Задонщине» в списке У — «на рекѣ на Каялѣ», в Ипатьевской — «на рѣцѣ Каялы», в «Слове» из шести упоминаний Каялы четырежды говорится о ней с прибавлением определения «на рекѣ»: «на рѣцѣ на Каялѣ», «во днѣ Каялы, рѣкы Половецкия», «на рѣцѣ на Каялѣ» и «вь Каялѣ рѣцѣ». В остальных двух случаях Каяла упоминается в «Слове» в таком контексте, где прибавление «река» не требуется: «съ тоя же Каялы» (перед этим сказано, что Каяла — река) и «на брезѣ быстрои Каялы». Все остальные реки в «Слове» не имеют определений «река»: Волга, Дон, Малый Донец, Днепр, Дунай, Немига, Рось, Сула. Только однажды о небольшой реке Стугне в «Слове» говорится — «рѣка Стугна». Поскольку в Ипатьевской мы также читаем «на рѣцѣ Каялы», следует говорить о том, что список У совпал со «Словом» и Ипатьевской не в одном слове «Каяла», а в целом выражении «на рекѣ на Каялѣ». Но этого мало: во всех трех памятниках о Каяле говорится как о реке скорби и плача. Контекст и значение также дают в этих соответствиях важные показатели.

Итак, общее для всех трех памятников выражение «на рѣкѣ на Каяле» плюс особый оттенок значения доказывает существование «текстологического треугольника». Кроме того, соответствие именно в «Слове» повествования с фактической стороной дела само по себе уже доказывает первичность «Слова» по отношению к «Задонщине» (по крайней мере к списку У).

Обратимся к другому разбираемому проф. Феннеллом месту: к солнечному затмению, которое происходит в начале похода и предвещает его исход. Анализируя рассказ об этом знамении в «Слове», «Задонщине» и Ипатьевской, проф. Феннелл разбивает это знамение на две части и отмечает, что текстуальные совпадения имеются между «Задонщиной» и «Словом», «Словом» и Ипатьевской, но между Ипатьевской и «Задонщиной» словесного сходства нет, что якобы доказывает, будто «Слово» создало картину затмения на основании «Задонщины» и Ипатьевской.

Допустим, что между Ипатьевской и «Задонщиной» нет словесных совпадений. Однако есть совпадение самого́ солнечного знамения, которое происходит тогда,

когда князь-предводитель выступает в поход, и которое предвещает исход похода. Кроме того, во всех трех памятниках после знамения произносятся ободряющие речи. В «Слове» и Ипатьевской ободряющую речь произносит Игорь. В «Задонщине» ободряют друг друга оба предводителя похода, хотя знамение в «Задонщине» отнюдь не тревожное и это ободрение как будто бы неуместно.

Все три знамения связаны между собой ситуационно, а «Слово» и «Задонщина», «Слово» и Ипатьевская еще и словесно. Что знамение в «Задонщине» отождествлялось со знамением в «Слове», доказывается не только словесной близостью (эта близость сама по себе может быть и обратима), но и фактической стороной дела. А фактическая сторона такова. Первого мая 1185 г., в начале похода Игоря Святославича на половцев, произошло солнечное затмение. Это затмение подтверждено вычислениями астрономов [1]. Оно не является литературным вымыслом и не возникло в «Слове» под влиянием каких-либо литературных реминисценций. Оно было на самом деле. Если допустить, что рассказ о солнечном знамении переделывался не в «Задонщине», а в «Слове», то как же необыкновенно посчастливилось автору этой переделки, когда он нашел, что в начале похода Игоря, как и в начале похода Дмитрия Донского, также было солнечное знамение и при этом гораздо более убедительное и «традиционное» — солнечное затмение!

Трудно себе представить, чтобы солнечное знамение в «Задонщине» совпало ситуационно с солнечным знамением случайно не только в «Слове», но даже в Ипатьевской. В самом деле, и в Ипатьевской, и в «Задонщине» солнечное знамение происходит в начале выступления в поход русского войска. В Ипатьевской говорится: «В то же время Святославичь Игорь, внукъ Олговъ, поѣха из Новагорода...» В «Задонщине» (список У): «Тогда князь великии Дмитреи Ивановичь воступив во златое свое стрѣмя...». Знамение в солнце является предводителю похода. В Ипатьевской: «Игорь же возрѣвъ на небо и видѣ...». В «Задонщине» происходит диалог Владимира Андреевича с Дмитрием Донским, в Ипатьевской — князя и дружины.

---

[1] Степанов Н. Таблицы для решения летописных задач на время. — «Изв. ОРЯС», 1908, кн. 2, с. 127—128.

Итак, солнечное знамение во всех трех памятниках связано ситуационно, а между «Словом» и «Задонщиной», с одной стороны, и «Словом» и Ипатьевской — с другой, есть еще и словесная близость. Фактическая же сторона дела (факт солнечного затмения 1 мая 1185 г.) указывает, что «Слово» теснее связано с действительностью и поэтому может считаться первичным. Бесспорная ситуационная связь «Задонщины» и Ипатьевской, поддержанная словесной связью «Слова» и «Задонщины», «Слова» и Ипатьевской (словесная связь «Слова» и «Задонщины» доказывает, что солнечное затмение в «Слове» и Ипатьевской и яркое свечение солнца в «Задонщине» действительно отождествлялись) указывает на наличие «текстологического треугольника» и в данном эпизоде.

Другое разбираемое проф. Феннеллом место, где «Слово», Ипатьевская и «Задонщина» близки друг другу, касается поворачивания полков. Проф. Феннелл кратко цитирует:

Ипатьевская: «Игорь... поиде к полку ихъ, хотя возворотити к полкомъ...»

«Слово»: «Игорь полъкы заворочаетъ...»

«Задонщина»: «...полкн поганых вспять поворотили...» (список У).

Проф. Феннелл анализирует только словесное сходство текстов, не придавая особого значения общему контексту и сходству ситуаций. При этом проф. Феннелл приходит к выводу, что есть только небольшая связь между Ипатьевской и «Словом», но нет никакой связи обоих этих памятников с «Задонщиной». Проф. Феннелл ссылается на различие форм и значений глаголов «возворотити», «заворочает», «поворотили» (при этом «поворотили» в «Задонщине» означает «обратили в бегство»). Однако «Задонщина» и «Слово» не просто пользуются сходными выражениями. Такое соответствие между «Словом» и «Задонщиной» было бы просто невозможно ввиду диаметральной противоположности тем обоих произведений («Слово» повествует о поражении, «Задонщина» — о победе). На самом деле «Задонщина» систематически «перевертывает», «поворачивает» образы «Слова», придавая им новое значение или утверждая о татарах то, что в «Слове» говорилось о русских.

Чтобы показать связь «Задонщины» со «Словом» и Ипатьевской, возьмем тексты всех трех произведений несколько шире, чем это сделано проф. Феннеллом:

«Слово»: «Чръна земля подъ копыты костьми была посѣяна, а кровию польяна; тугою взыдоша по Рускои земли! Что ми шумить, что ми звенить далече рано предъ зорями? Игорь плъкы заворочаетъ: жаль бо ему мила брата Всеволода. Бишася день, бишася другыи, третьяго дни къ полуднию падоша стязи Игоревы. Ту ся брата разлучиста на брезѣ быстрои Каялы; ту кроваваго вина недоста, ту пиръ докончаша храбрии Русичи: сваты попоиша, а сами полегоша за землю Рускую».

В «Задонщине» этому соответствуют два места (цитирую по списку У):

1. «Что шумит и что грѣмитъ рано пред зорями? Князь Владимеръ Андрѣевичь полки пребирает и ведет к великому Дону».

2. «Тогда князь великии Дмитреи Иванович и брат его князь Владимеръ Андрѣевичь полки поганых вспять поворотили и нача ихъ, бусорманов, бити и сечи горазно без милости. И князи их падоша с конеи, загрѣмели, а трупми татарскими поля насеяша и кровию ихъ реки потекли. Туто поганые разлучишася розно...»

Сходство обоих этих мест «Задонщины» со «Словом» в самой ситуации (князь возвращает бегущие полки) поддерживается в первом случае восклицанием «Что ми шумить и что грѣмитъ рано пред зорями?», а во втором — образным описанием поля битвы, засеянного костьми и политого кровью. Между картиной боя в Ипатьевской и в «Задонщине» связь определяется и в ситуации, и в сходстве глаголов: «отлучаеми» — «разлучаеми».

В Ипатьевской непосредственно вслед за попыткой Игоря поворотить бегущие полки ковуев говорится о пленении брата Игоря — Всеволода. По общему смыслу рассказа братья были разлучены. Но как понять в «Задонщине», что «поганые разлучишася розно...»? Ясно, что перед нами в «Задонщине» реминисценция «Слова», поддержанная фактической стороной дела, отразившейся и в Ипатьевской.

Далее проф. Феннелл сопоставляет следующие места трех памятников:

«Слово»: «Русичи великая поля чрълеными щиты прегородиша».

«Задонщина» (список И-2): «Руские сыновѣ поля широкие конми огородиша»;

«Задонщина» (список Кб): «Хоробрыи Пересвѣт поскакиваеть на своемь вѣщемь сивцѣ свистомь поля перегороди».

Ипатьевская: «Не бяшеть бо лзѣ ни бѣгаючимъ утечи, зане яко стѣнами силнами огорожени бяху полкы половѣцьскими».

Проф. Феннелл считает, что контекст в Ипатьевской, с одной стороны, и в «Задонщине» и «Слове» — с другой, совершенно различен. В данных сопоставлениях он прав, но в «Слове» имеется еще одно место, которое проф. Феннелл также цитирует: «Дѣти бѣсови кликомъ поля прегородиша». Здесь сюжетный смысл тот же, что и в Ипатьевской: русским отрезано отступление.

Проф. Феннелл возражает также против сопоставления глаголов «перегородить» и «огородить». Их связь он видит только в корневой части этих слов. Но связь есть и в употреблении. Каждый из этих глаголов в «Слове», Ипатьевской и «Задонщине» употреблен в образном смысле.

Итак, между «Словом», Ипатьевской и «Задонщиной» имеется связь в образе перегораживаемых полей, причем во всех трех произведениях — в Ипатьевской, в «Слове» и в «Задонщине» — в том смысле, что русским отрезан путь к отступлению.

Еще один пример касается тех мест Ипатьевской, «Слова» и «Задонщины», где совпадают слова: «скорбь»—«туга» в Ипатьевской с «тугою»—«тоскою» в «Слове» и «бедами» — «тугою» в «Задонщине». Проф. Феннелл признает слабую связь «Слова» и Ипатьевской, более тесную связь «Слова» и «Задонщины» и пытается отвести связь «Задонщины» и Ипатьевской. Однако слово «туга» в сочетании с синонимом при общей ситуационной близости всех трех мест заставляет нас эту связь «Задонщины» и Ипатьевской признать, хотя связь эта, несомненно, слабее, чем «Задонщины» со «Словом» и «Слова» с Ипатьевской. Однако, как это мы увидим в дальнейшем, слабость связи между «Задонщиной» и Ипатьевской закономерна: она подтверждает нашу гипотезу о том, что «Задонщина» имеет общие места с Ипатьевской только через посредство «Слова» и никак не иначе.

Еще одно место, включаемое мною в «текстологический треугольник».

Ипатьевская: Святослав, услышав о поражении Игоря, «утеръ слезъ своихъ и рече: „о люба моя братья и сыновѣ и мужѣ землѣ Рускоѣ!“»

«Задонщина» (список И-1): Дмитрий Донской, услышав о потерях русских: «и прослезися горко и утер слезы», (список С): «Тогда князь великии Дмитрии заплакал гарко и рече... Втер слезы свои...»

«Слово»: Святослав, услышав о поражении Игоря, «изрони злато слово с слезами смѣшено и рече...»

Проф. Феннелл совершенно прав, что выражение «утер слезы» встречается еще раз в летописи — под 1015 г. Признаю, что я был неправ, когда писал, что «во всех русских летописях до XV века нет второго места, где бы говорилось, что князь произносит речь со слезами»[1]. Моя ошибка тем более непростительна, что я сам издавал указанный мне проф. Феннеллом текст (проф. Феннелл как раз и ссылается на издание, в котором текст готовил я). Что касается примера, приводимого проф. Феннеллом из «Повести о разорении Рязани Батыем», которую я также издавал, то это не летопись, и, следовательно, приводимый оттуда текст не может рассматриваться как противоречащий моему утверждению.

Признавая свою ошибку с выражением «утер слезы», я должен, однако, отметить, что аргументация в пользу первичности «Слова» относительно «Задонщины» отнюдь этим не уничтожается. Если выражение «утер слезы» обычно, то и это обычное выражение, употребленное в аналогичной ситуации, показательно. Выражение «утер слезы» из трех памятников имеется только в двух: в Ипатьевской и в «Задонщине».

Связь «Слова», Ипатьевской и «Задонщины» несомненна. Во всех трех памятниках глава Русской земли (Святослав, Дмитрий Донской) плачет и произносит мудрую речь по поводу гибели русских. Связь «Слова», Ипатьевской и «Задонщины» ситуационная, поддерживаемая отчасти одинаковым переходом от слез к словам: «и рече».

---

[1] Лихачев Д. Когда было написано «Слово о полку Игореве». — «Вопросы литературы», 1964, № 8, с. 143.

Обратимся к последнему примеру близости между тремя произведениями, который проф. Феннелл берет из моих работ (далее проф. Феннелл разбирает примеры «текстологического треугольника», приводимые Р. О. Якобсоном). Речь идет о диалоге половецких ханов Кзы (Гзы) и Кончака в Ипатьевской и в «Слове», который я сопоставляю с речью жителей Кафы, обращенной к Мамаю в «Задонщине». Проф. Феннелл отрицает связь этих трех эпизодов, ссылаясь на отсутствие словесной связи. Но речь идет о ситуационной связи. Все три рассказа заканчиваются вымышленными речами ссорящихся или спорящих между собой врагов. При этом связь Ипатьевской и «Задонщины» несколько слабее, чем связь Ипатьевской и «Слова», «Слова» и «Задонщины», но об этом ниже.

Я бы мог продолжить свой анализ и на примерах, приводимых Р. О. Якобсоном, которому, как я уже неоднократно указывал в своих работах, принадлежит сама идея текстологического аргумента, названного мной «текстологическим треугольником», но и приведенных примеров достаточно.

Для меня важно показать, что слабая текстологическая связь, которая осуществляется между «Задонщиной» и Ипатьевской через «Слово», не может быть отвергнута. Для этого было бы достаточно «на Каялѣ реце» и солнечного знамения.

Проф. Феннелл прав в том отношении, что все три стороны «текстологического треугольника» далеко не одинаково отчетливо выражены. И он был бы совершенно прав, если бы ограничил свое суждение о соотношении «Задонщины» и Ипатьевской только утверждением, что эта сторона «треугольника» менее отчетлива, чем две другие. В самом деле, между Ипатьевской и «Задонщиной» непосредственной связи нет. Она осуществляется только через «Слово». Естественно, что элементы сходства здесь должны быть слабее, чем между Ипатьевской и «Словом» и особенно между «Словом» и «Задонщиной».

Линия Ипатьевская — «Задонщина» не имеет самостоятельного значения. Это только та тоненькая нить, которая вьется через «Слово» к «Задонщине». Но нить эта красная, свидетельствующая о том, что «Слово» повлияло на «Задонщину», а не наоборот. Доказать отсутствие этой нити проф. Феннеллу не удалось. По

крайней мере, два места «Задонщины» об этом свидетельствуют бесспорно — «на рекѣ на Каялѣ» и солнечное знамение. Остальные примеры, приводимые мною и Р. О. Якобсоном, имеют подтверждающее значение.

Предположение, что «Слово» было создано под влиянием «Задонщины» и Ипатьевской,— невероятно. Никаких «швов» в «Слове» не заметно. Оно написано на одном творческом дыхании, в одной стилистической манере. При этом автор «Слова» должен был бы ближе держаться Ипатьевской, с которой «Слово» связано единством сюжета, чем «Задонщины», между тем как хорошо известно: «Задонщина» и «Слово» связаны между собой несравненно теснее, чем «Слово» и Ипатьевская.

Пусть не подумает читатель, что доказательства зависимости «Задонщины» от «Слова» строятся по преимуществу на этом «текстологическом треугольнике». Если бы никакой связи между Ипатьевской и «Задонщиной» вообще обнаружено не было, то прежде чем ставить вопрос о возможности зависимости «Слова» от «Задонщины» и Ипатьевской, надо было бы попытаться показать, что вся очень большая аргументация о зависимости «Задонщины» от «Слова» неверна. Между тем из статьи проф. Феннелла создается впечатление, что, разрушив «текстологический треугольник», вернее — показав отсутствие связи «Задонщины» и Ипатьевской, он уже тем самым доказывает отсутствие зависимости «Задонщины» от «Слова», так скрупулезно изложенной в работах советских исследователей. Зависимость одного произведения от другого должна изучаться не только по частям, а как целое, и непременно в литературном и историческом «контексте» эпохи. Я лично придаю основное значение анализу «поэтики подражания». «Задонщина» перерабатывает «Слово» способами и приемами, типичными для конца XIV—начала XV в.[1]. Эта переработка имеет идейное значение: в «Задонщине» победа Дмитрия Донского рассматривается как реванш за поражение русских войск на Каяле и Калке. При этом в «Задонщине» отразилось не только «Слово

---

[1] См.: Lichaczow Dym. Niestylizacyjne nasladownictwo w literaturze staroruskiej. — «Zagadienia rodzajòw literackich», 1965, t. 8, zesz. I; Лихачев Д. С. Черты подражательности «Задонщины» (К вопросу об отношении «Задонщины» к «Слову о полку Игореве»). — «Русская литература», 1964, № 3.

о полку Игореве», но также и «Слово о погибели Русской земли» (в списке Кб) и «Повесть о разорении Рязани Батыем».

Другой сильный аргумент в пользу аутентичности «Слова» извлекается из многочисленных параллелей к образам и выражениям «Слова» в памятниках XI—XIII вв.[1].

В заключение напомню о том, что из трех памятников, входящих в «текстологический треугольник», только «Слово» было издано в 1800 г. «Задонщина» впервые была издана в 1852 г. (до этого она не была известна в научной литературе), а Ипатьевская — в 1843 г. (по одной из рукописей она использовалась все же в XVIII в. В. Н. Татищевым в его «Истории российской»). Следовательно, гипотеза о зависимости «Слова» от «Задонщины» сама строится на гипотезе о том, что предполагаемому автору «Слова» в XVIII в. были известны неизданные и сравнительно редкие в рукописях «Задонщина» и Ипатьевская, что уже само по себе сильно уменьшает ее вероятность.

---

[1] Адрианова-Перетц В. П. «Слово о полку Игореве» и памятники русской литературы XI—XIII вв. Л., 1968.

ДОГАДКИ И ФАНТАЗИИ В ИСТОЛКОВАНИИ ТЕКСТА «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

(ЗАБЛУЖДЕНИЯ О. СУЛЕЙМЕНОВА)

«Слово о полку Игореве» привлекает внимание широких читателей и множества исследователей-любителей, которые, не являясь филологами, серьезно им занимаются и сделали немало интересных открытий. Некоторые из работ любителей печатаются в научных изданиях — таких, например, как «Труды отдела древнерусской литературы АН СССР».

Естественно, что любовь к «Слову» заставляет этих любителей искать и обнаруживать в «Слове» то, что им близко и что их волнует,— обнаруживать, но не навязывать «Слову». Последнее очень важио. Навязывание «Слову» своих идей и концепций тоже имеет место, но оно отнюдь не расширяет и не углубляет наших представлений о «Слове», а заставляет специалистов тратить время на опровержение этих взглядов и трактовок, изрядно иногда засоряющих нашу науку.

Не лишним поэтому представляется подытожить некоторые ошибки, совершаемые этими лишенными чувства ответственности «исследователями», и дать некоторые рекомендации начинающим ученым, собирающимся посвятить свои усилия изучению «Слова». Удобный материал представляет в этом отношении книга известного казахского поэта Олжаса Сулейменова «Аз и я. Книга благонамеренного читателя» (Алма-Ата, 1975), наполовину посвященная «Слову» [1].

В своей вступительной статье, рассматривающей историю изучения «Слова», О. Сулейменов выступает с научными и моральными наставлениями по поводу того, как следует изучать «Слово», и с сетованиями на состояние науки о «Слове». Именно этот наставительный характер книги О. Сулейменова заставляет меня

[1] Далее ссылки на эту книгу даются в тексте настоящей работы.

на ней остановиться и постараться ответить на те методологические рекомендации исследователям «Слова», на которые так щедр в своем труде автор.

Четыре главные мысли внушает нам автор:

1. «Вся литература по «Слову», накопившаяся за два века беспрерывного изучения, посвящена одному вопросу — подлинно ли „Слово о полку Игореве“» (с. 10).

2. «В этих условиях самая ценная фигура в науке — скептик» (с. 16). «Скептик — это пчела с жалом, которую невежественный садовник отгоняет от цветов заповедного сада. Но именно пчела, вторгаясь в цветок, опыляет его. Охраняя от мохнатого разбойника драгоценный нектар, мы губим будущие плоды» (с. 16).

3. Все изучение «Слова» ничего не дало науке. «...В последние десятилетия советская «словистика» (то есть наука о «Слове». — *Д. Л.)* находится в состоянии динамической статики, природа которой не в самой науке, а возле нее» (с. 15).

4. Главная причина неудач — патриотизм защитников подлинности «Слова», подавляющий научную инициативу скептиков. «За два века ораторства в библиографии по «Слову» накопилась не одна сотня названий, в которых, как в болоте, буксуют одни и те же аргументы, не всегда научные, но всегда патриотические» (с. 17).

* * *

Стоит здесь немного задержаться и напомнить читателю о тех исследованиях «Слова», которые О. Сулейменов обвиняет в бесплодном ораторстве. Это, например, исследования языка «Слова», принадлежащие С. П. Обнорскому, Л. А. Булаховскому, Н. М. Дылевскому, В. В. Колесову, В. Л. Виноградовой, текстологические исследования взаимоотношения с «Задонщиной» Н. К. Гудзия, В. Ф. Ржиги, Р. П. Дмитриевой, О. В. Творогова, М. А. Салминой, стиля и фольклоризма «Слова» В. П. Адриановой-Перетц, В. Н. Перетца, Н. П. Андреева, исторической основы «Слова» М. Н. Тихомирова, Б. А. Рыбакова, М. Д. Приселкова, А. В. Соловьева, тюркизмов «Слова» В. А. Гордлевского, С. Е. Малова, А. Зайончковского, К. Менгеса. Да мало ли еще исследователей, открывших нам новые перспективы в изучении «Слова», давшие новое понимание «Слова» — его эстетической и

исторической основы? Ученый, приступающий к изучению «Слова», не должен ставить себе задачей во что бы то ни стало высказать что-то непохожее на других. Он не должен расталкивать себе место локтями у «Слова», с пренебрежением относясь ко всем своим предшественникам.

«Если бы математика и физика,— пишет далее О. Сулейменов,— испытали такое насилие (! — *Д. С.*) патриотического подхода, человечество и сейчас каталось бы на телеге» (с. 16).

Разберемся прежде всего в этом последнем положении О. Сулейменова. Заблуждение О. Сулейменова очень печально. Истинный патриотизм не может творить насилий и идти против правды. Замалчивает истину, стремится приукрасить действительность только шовинизм, грубый национализм. Только националисты, в глубине души не верящие в свой народ и его культуру, искусственно преувеличивают заслуги своего народа, приписывают ему мнимые качества и достоинства. Подлинный патриотизм не тормозит, а стимулирует изучение родной культуры. Патриотизм нельзя смешивать с национализмом.

Оговорюсь также, что тенденциозность в изучении памятника необходимо решительно отделять от нетенденциозной заинтересованности памятником как таковым. Нетенденциозную заинтересованность памятником проявляет исследователь, который восхищен красотой памятника, исследует тайну его эстетической притягательности, но соблюдает осторожность и не пытается внести в него современные эстетические представления — не объявляет памятник реалистическим (в духе реализма XIX—XX вв.), не выискивает в нем выражения собственных идей.

Тенденциозной же заинтересованностью в памятнике я признаю такую, при которой исследователь стремится волевым образом найти в памятнике то, что кажется ему наиболее красивым, нравственным, идейно высоким, свою какую-либо концепцию или свои пристрастия, «улучшить» его.

Нельзя также согласиться с утверждением О. Сулейменова, что самая ценная фигура в науке — скептик и что только скептик «оплодотворяет науку».

Вопрос о скептиках в науке — вопрос серьезный, и на нем также стоит особо остановиться. Скептицизма в от-

ношении древнерусских памятников теперь более чем достаточно, и это касается не одного «Слова». Э. Киннан в США подвергает, например, сомнению принадлежность XVI в. сочинений Грозного и Курбского, «Казанской истории», собирается подвергнуть сомнению и еще ряд памятников XVI в. Э. Киннан также оправдывает и утешает себя тем, что он вносит творческое, подлинно научное начало в изучение памятников. Однако прежде всего заметим: исследование любого памятника отнюдь не ограничивается проверкой его подлинности. Напротив, проверка подлинности — это только самое начало исследования, вернее — первая ступень к исследованию. Последующие же вопросы, встающие перед ученым — историком, лингвистом, литературоведом, палеографом, текстологом и прочими,— неизмеримо сложнее и обширнее. Скептик в элементарном смысле этого слова — для последующего исследования фигура ненужная. Он может только напомнить о своем существовании, призвать исследователей вернуться к первому этапу изучения памятника — к этапу определения его подлинности. Для исследователей памятника как достоверного факта нужны уже совсем другие «скептики» — подвергающие сомнению не подлинность памятника, а подлинность и достоверность самого научного метода, которым пользуются его современники и пользовались предшественники. Но об этих скептиках у О. Сулейменова речи нет.

В качестве именно такого, последнего «скептика» попытаюсь показать неправильность и тенденциозность тех методических «установок», с помощью которых О. Сулейменов навязывает памятнику свои представления о нем.

Как это ни странно, но именно О. Сулейменов заявляет о том, что нельзя к источнику подходить с предвзятыми требованиями. Он пишет: «Академик Б. Д. Греков в капитальном труде «Киевская Русь» (1953 г.) обобщил широкий материал, накопленный летописями. В предисловии он (Б. Д. Греков. — *Д. Л.*) писал: «И письменные и неписьменные источники к нашим услугам. Но источник, какой бы ни был, может быть полезен лишь тогда, когда исследователь сам хорошо знает, чего он от него хочет». В этих словах изложена суть метода, принесшего много бед историографической науке» (с. 173). Метод, конечно, неправильный, если принять толкование слов Грекова Сулейменовым, но, к счастью, Б. Д. Греков сам

такого рода «метод» не применял. В полной же мере он применен именно О. Сулейменовым. И применен, надо сказать, в самой наихудшей, неуклюжей и наиоткровеннейшей форме.

В конце своей небольшой вступительной главы, где О. Сулейменов рассматривает историю изучения «Слова», он дает собственную, совершенно фантастическую концепцию истории создания «Слова» (с. 22—27; менее шести страничек). Опираясь на эту никак не обоснованную концепцию, О. Сулейменов в дальнейших главах трактует «Слово» и дает собственные реконструкции авторского текста.

Эта концепция О. Сулейменова не может рассматриваться как рабочая гипотеза или просто гипотеза. Научная гипотеза требует, чтобы в ее пользу была высказана хоть какая-нибудь аргументация и чтобы было учтено все, что так или иначе может ей противоречить.

То же требование предъявляется, в общем, и к научной фантазии, если только эта научная фантазия имеет дело с фактами и памятниками. Только если нет конкретного прикрепления к эпохе, стране и памятникам, фантазия свободна от ответственности перед исторической действительностью. Не может оправдать предвзятость и то, что автор концепции — поэт, что его подход к памятнику — подход поэта. Кем бы ни был автор, если он берется разрешать научные вопросы, он должен быть ученым. Ведь не станет же поэтическое произведение хорошим оттого, что его автор ученый, а не поэт.

Концепция, которую О. Сулейменов кладет в дальнейшем в основу своей реконструкции авторского замысла «Слова о полку Игореве», не имеет права быть свободной от этой ответственности. Это концепция предвзятая.

Попробую вкратце изложить суть концепции О. Сулейменова. Историю «Слова» О. Сулейменов разбивает на четыре этапа. Свое изложение О. Сулейменов начинает прямо со второго этапа, так как первый этап — авторский — О. Сулейменов восстанавливает в тенденциозной зависимости от последующих трех. Таким образом, в книге двойная тенденциозность: все выводы определены концепцией, а в концепции первое и важнейшее положение поставлено в зависимость от последующих.

Так вот, второй этап — это точно 1240 г.: год взятия Киева войсками Батыя. Списки «Слова» XIII в. (то есть,

очевидно, писанные между 1200 и 1240 годами) хранились именно в Киеве, и отсюда после взятия Киева войсками Батыя в 1240 г. оставшаяся от уничтожения часть их была перевезена на Север (в дальнейшем О. Сулейменов говорит о Северо-Западе — очевидно, имея в виду Новгород и Псков). Хранились эти списки «Слова» первоначально в княжеских библиотеках (О. Сулейменов считает, очевидно, что в Киеве их было несколько), а у церковников эти списки не хранились, так как считались «черными книгами» (что значит «черные книги», не совсем ясно: в источниках этот термин не встречается). В эпоху «избиения волхвов» (что это за эпоха, О. Сулейменов также умалчивает, летопись же знает только одно избиение волхвов — в 1071 г., то есть задолго до возможного написания «Слова») «произведения, насыщенные языческим колоритом, попросту смывались, и пергамент использовался для „правильных писаний"» (с. 23). Увозимые из киевских княжеских библиотек книги попадали на Северо-Западе в монастырские библиотеки. Так как «Слово», по мнению О. Сулейменова, не могло быть использовано для воспитания патриотизма (оно повествовало не о победе русских, а о поражении мелкого «князька»)[1], то списки «Слова» «смывались», и от них к XIV в. уцелело только два экземпляра.

В конце XIV в. наступает третий этап в судьбе «Слова». В одном из московских монастырей (следовательно, список «Слова» как-то неясно переместился с северо-запада Руси на северо-восток) один из двух списков «Слова» попадает в руки Софония-«ре́занца». Под «ре́занцем» О. Сулейменов понимает русского, перешедшего в мусульманство и подвергшегося обрезанию, а затем вернувшегося в христианство и даже сумевшего каким-то образом, несмотря на свое прошлое, стать монахом московского монастыря. В «ре́занца» О. Сулейменов

[1] О. Сулейменов считает, что «в эпоху тотального поражения от степняков» (с. 23) «воспитанию патриотизма» могли способствовать только сюжеты о победе русских. Это утверждение не только лишает патриотического значения такие произведения, как «Слово о погибели Русской земли», «Китежская легенда», «Повесть о разорении Рязани Батыем» и прочие, но свидетельствовало бы о крайней примитивности самого древнерусского патриотизма. На самом деле патриотизм древнерусской литературы был содержательным патриотизмом и весьма глубоким. Он был в высокой степени свойствен всем произведениям, в том числе и произведениям о поражениях.

превращает Софония-рязанца (ряза́нец и реза́нец, то есть житель Ряза́ни или Реза́ни, как иногда писалось название города в XII—XVII вв.). Софоний замысливает сделать плагиат из «Слова», для чего переделывает его текст в повествование о победе русских на Дону. (Замечу, что такое навязывание книжникам Древней Руси современных представлений об авторской собственности ни с чем не сообразно. В древнерусской письменности постоянно переделывались предшествующие произведения, и это не считалось литературным воровством, так как не было понятия литературной собственности. Таких переделок не скрывали и их не стыдились.)

Любопытна «творческо-производственная характеристика» (выражение самого О. Сулейменова), которую он «выдает» своему «ре́занцу»: «монах — копиист летописей, достаточно образованный по тем временам книжник, имеет склонность к литературному творчеству, развитую многолетними упражнениями по переписке и редактированию старых рукописей (все-то О. Сулейменов знает! — *Д. Л.*); этим же занятием воспитана способность к подражательству, оригинальным художническим даром не обладает» (с. 23) [1]. Опускаю «красочное» сравнение Софония с бездарным капельмейстером, пытающимся создавать собственную музыку из обрывков «Амурских волн» и похоронных маршей. Вот этот-то «ре́занец» нашел список «Слова» в «книжных завалах хранилища, которые, возможно, не разбирались с XIII века» (с. 24), и решил, что второго списка нет и что он может безопасно для себя использовать список для своего плагиата, а затем уничтожить его. Он так и поступает.

Четвертый и самый важный для дальнейших построений О. Сулейменова этап наступает в XVI в.— впрочем, в одном месте, тут же (с. 26), О. Сулейменов время действия этого четвертого этапа относит к XV—XVI вв. Почему именно XVI или XV—XVI вв.? Очевидно, О. Сулейменов принял на веру предположение некоторых исследователей «Слова», что список, попавший к А. И. Мусину-Пушкину, был списком именно этого времени. Между тем предположение это основывалось в литературе

[1] Характеристика, написанная в такого рода «учрежденческом» стиле, должна, очевидно, по замыслу О. Сулейменова, создать у читателя впечатление четкости концепции. Но четкости, увы, в концепции О. Сулейменова нет совершенно.

о «Слове» на соображениях палеографического характера (в XV—XVI вв. лигатура «т» и «р» писалась близко к «з» и могла породить в Екатерининской копии прочтение «Зояни» вместо «Трояни»), которые в дальнейшем (с. 119—120) О. Сулейменов сам же решительно отвергает[1], не замечая, что он сам выбивает из-под себя стул, на котором сидит. Список XIII в., найденный в книжных «завалах» московского монастыря (странные представления о монастырских библиотеках у О. Сулейменова), стал переписываться переписчиком XVI в. Главное участие во всех последующих предположениях и утверждениях О. Сулейменова принимает именно этот переписчик XVI в., которого О. Сулейменов для краткости обозначает затем шифром «П16». Именно он внес в свой список, доставшийся затем А. И. Мусину-Пушкину, все то, что не нравится в нем О. Сулейменову. Он действительно так часто упоминается в книге, что условное обозначение его тремя знаками приносит книге О. Сулейменова существенную экономию.

Как оказывается в дальнейшем, «Слово» — памятник двуязычный, русско-половецкий. Автор «Слова» не был настроен антиполовецки. Половецко-русскую вражду 1185 г. автор считал не более чем междоусобной ратью между своими. И даже главная отрицательная фигура в «Слове» — не Кончак или Гза, а сам Игорь Святославич — «человек с дьявольскими чертами» (с. 97). В XIII в. в «Слове» было, по верованиям О. Сулейменова, много половецких слов и выражений, половецких культурных понятий. Только некоторые из них сохранились, а большинство удобный для О. Сулейменова персонаж «П16» («невидимый переводчик» «Слова») переделал на русский лад, частично исказив по непониманию.

«П16» боролся именно с этой половецкой частью «Слова», так как язычество «Слова» не могло смущать церковников в XVI в. — веке, когда, по мнению О. Сулейменова, царствовала наибольшая церковная терпимость. Согласно О. Сулейменову, церковь в XVI в.

---

[1] О. Сулейменов безапелляционно заявляет: «Предположим, что писец перепутал лигатуру «тр» и букву «з», что невозможно при всем желании. Эти знаки даже отдаленно не похожи в рукописях друг на друга» (с. 119—120). Да видел ли сам О. Сулейменов эти «знаки» в рукописях? Ведь лигатура «тр» и буква «земля» не только сходны, но поразительно сходны и вполне оправдывают появление в Екатерининской копии «Слова» чтения «Зояни» вместо «Трояни»,

одряхлела, потеряла воинственность, вера обратилась в привычку, хотя «книги еще сжигаются торжественно при народе» (по-видимому, О. Сулейменову известны конкретные случаи?). О. Сулейменов не считает необходимым при этом хотя бы упомянуть, что в исторической науке и в истории русской литературы существуют прямо противоположные представления о XVI в. и о роли тогдашней церкви.

Завершает изложение своей концепции О. Сулейменов следующими словами: «И лег на стол монаха последний пергаментный список «Слова о полку Игореве». Подновив, он выпустил его в свет в бумажных сборниках, один из которых приобрел в XVIII в. Мусин-Пушкин. Другой, возможно, мелькнул на Печоре в XX веке. А третий увез с астраханского базара таинственный казах...» (с. 27). Последние два списка («печорский» и «астраханский») — свидетельство легковерия О. Сулейменова, решившего включить в свою концепцию россказни, взятые из вторых рук парижской газетой «Русские новости» (1948, № 186), и рассказ «одного из учеников» В. Н. Перетца о якобы виденном им на астраханском базаре экземпляре «Слова».

Я не могу критиковать эту фантастическую концепцию. Это и не нужно: нельзя в принципе любую, даже самую хорошую концепцию класть в основу, в начало исследования. Концепция — это результат исследования. Концепция же О. Сулейменова к тому же противоречивая и не считающаяся с фактами.

Обратимся теперь к некоторым конкретным истолкованиям О. Сулейменовым отдельных «темных мест» «Слова», предложенным им в свете своей концепции, но предварительно сделаем несколько замечаний о том, каким условиям должны вообще удовлетворять любые истолкования текста «Слова о полку Игореве».

Как известно, в «Слове о полку Игореве» еще много отдельных мест, не получивших удовлетворительного объяснения. Поэтому появление новых толкований этих «темных мест», новых исправлений текста следует только приветствовать. К таким темным местам, не получившим ясного истолкования, принадлежат, например, следующие места: «свистъ звѣринъ въ стазби», «на болони бѣша дебрь Кисаню, и не сошлю къ синему морю», «суть бо у ваю желѣзныи папорзи подъ шеломы латинскими», «и схоти ю на кровать, и рекъ», «и стругы ростре

на кусту», «рекъ Боянъ и ходы на Святъславля пѣстворца стараго времени Ярославля Ольгова Коганя хоти»[1].

Прежде всего исследователь должен доказать, что то или иное место действительно нуждается в исправлении и существующий текст никак не может быть принят. Переиначивать ясный и простой текст, исходя из собственных предвзятых представлений о памятнике, недопустимо принципиально. Всякая гипотеза или даже предположение должны быть прежде всего необходимы. В самом деле! Одному исследователю захочется уменьшить в «Слове» элемент таинственности, и он заменит «Дива» на «дива» — половца. Другому захочется уменьшить в «Слове» и без того слабый в нем церковный элемент, и он заменит обычное заключительное «аминь» на «честь» («а дружине честь»). Третий соберется увеличить в «Слове» весомость своего этноса. Идя по этому пути, исследователи станут менять текст в зависимости от различных конъюнктурных соображений, и мы вообще останемся без твердого текста памятника. Необходимость исправлений должна быть внутренней, она должна определяться самим памятником в зависимости от той суммы сведений, которые мы имеем о памятнике и об эпохе памятника (о языке, культуре и пр.). Внешняя необходимость (необходимость для подведения памятника под определенную концепцию) не может служить основанием для конъектур и новых истолкований.

Второе условие выдвижения новой гипотезы: необходимо доказать, что предлагаемое новое объяснение проще и яснее предлагавшихся ранее. Для этого исследователь должен, разумеется, полностью знать всю существующую литературу и «публично», перед своими читателями с полной честностью (не скрывая сильных сторон сделанных до него предположений) показать их неудовлетворительность.

В-третьих, исследователь должен доказать, что новое исправление не противоречит данным истории русского языка, палеографии, истории, эстетическим представлениям своего времени.

В-четвертых, если исследователь берется исправлять текст, он должен быть компетентен во всех этих вопросах и не перелагать свои обязанности на каких-то будущих специалистов.

---

[1] Цит. по первому изд. «Слова» (СПб., 1800).

Разумеется, исследователь должен уметь ориентироваться в литературе вопроса, как бы она ни была обширна. К счастью, в большой литературе о «Слове» существуют хорошие ориентиры [1]. Кстати сказать, ни одно из этих изданий, при обилии жалоб на обширность литературы, в книге О. Сулейменова даже не упомянуто.

Перечисленными условиями, разумеется, не могут быть ограничены требования к исследователям «Слова». Укажу еще на одно, очень важное. Предлагая свои поправки, исследователь обязан по возможности привести аналогии и параллели, указать на случаи употребления в древнерусском языке именно предлагаемого слова и именно в том значении, которое указывается исследователем. Если исследователь не может подкрепить свое исправление существованием сходных текстов,— вероятность его исправления сильно ослабевает. Между предлагаемыми типами исправлений существует своеобразная, но достаточно отчетливая иерархия. В первую группу входят исправления, опирающиеся на реально существовавшие слова и на их реально бытовавшие, а не придуманные значения. Во вторую группу входят исправления, хотя и опирающиеся на реально существовавшие в текстах слова, но с незарегистрированными значениями этих слов. В третью группу входят исправления, вводящие искусственные слова, увеличивающие в «Слове» число гапаксов (то есть слов, отсутствующих в других памятниках). Все три группы могут быть усложнены степенями палеографической правдоподобности. Несомненно, что палеографически наиболее правдоподобны те исправления, которые меняют только деление на слова, не вводя новых букв. Как известно, деление на слова внесено в текст «Слова» его первыми издателями. Менее достоверны исправления, сохраняющие общий счет букв и вносящие лишь незначительные замены отдельных букв при общей графической схожести исправляемых букв с теми, которые они заменяют в первом издании и Екатерининской копии. Еще менее

---

[1] См.: библиографии Л. А. Дмитриева и В. П. Адриановой-Перетц; Виноградова В. Л. Справочник-словарь «Слова о полку Игореве», вып. 1. Л., 1965; вып. 2. Л., 1967; вып. 3. Л., 1969; вып. 4. Л., 1974; Адрианова-Перетц В. П. «Слово о полку Игореве» и памятники русской литературы XI—XIII веков. Л., 1968; Головенченко Ф. М. «Слово о полку Игореве». Историко-литературный и библиографический очерк. М., 1955, и многие другие.

достоверны исправления, изменяющие общий счет букв, не считающиеся с начертаниями букв, с существовавшими обыкновениями в сокращении слов и так далее.

Разумеется, я упоминаю здесь только самые элементарные приемы оценки исправлений текста, и они не могут заменить исследователю филологической грамотности, не могут предусмотреть всех сложностей, с которыми исследователь сталкивается, особенно, допустим, при объяснении и исправлении иноязычных элементов текста.

Укажу все же еще на одно общее соображение, которое надо иметь в виду исследователю, критикующему своих предшественников. Принимая то или иное прочтение текста, издатель «Слова» не всегда считает избранное им прочтение полностью удовлетворительным. В тех случаях, когда то или иное темное место никак не может быть исправлено с полной убедительностью, достоинством условно принимаемого исправления является его нейтральность по отношению к остальному тексту «Слова»: то есть отсутствие новых сильных образов, особенно образов, выпадающих из общей эстетической системы «Слова». Издателям «Слова» сплошь и рядом приходится избирать из существующих толкований наиболее «незаметное». Приблизительно так поступают, например, реставраторы древней живописи: они покрывают исчезнувшее в красочном слое место нейтральным тоном. Мне лично приходится поступать именно так в изданиях «Слова» во всех указанных мною выше темных местах, не имеющих, по моему мнению, достаточно обоснованных толкований и конъектурных исправлений. Из всех возможных исправлений не поддающегося прочтению места «Слова» я выбираю наиболее нейтральное, не вносящее противоречащих эстетической системе XII в. образов.

Известный исследователь «Слова» И. П. Еремин предложил другой способ «преодоления» такого рода «неисправимых», «темных мест»: он просто опускал их в своем издании. Вряд ли, однако, этот способ может дать наилучший выход из положения. Получающиеся от этого в тексте «Слова» «зияния» разрушают цельность эстетического впечатления и все равно вносят произвольное изменение в текст. Пропуски в тексте отнюдь не нейтральны по отношению к соседним местам текста.

Если в свете изложенных элементарных требований к исправлениям и к критике своих предшественников подойти к предположениям и гипотезам О. Сулейменова,

то общая картина будет малоотрадной. О. Сулейменов предлагает исправлять вполне понятные места «Слова», заменяет обычные слова и выражения гапаксами, не считается с правдоподобностью и степенью вероятности уже сделанных предложений — и так далее.

Так, например, многие ясные выражения «Слова» О. Сулейменов считает кальками с различных диалектов половецкого языка, сделанными в XVI в. (тем самым «П16», о котором мы уже говорили выше). В авторском тексте «Слова» был якобы не «злат стол», а «алтын такта» (княжеский стол), не хорошо известная в древнерусских летописях «беля», а «акша» — серебряная монета. «Осмомысл», согласно О. Сулейменову, это перевод, сделанный переписчиком XVI в., казахского «Сегиз Қырлы»—«восьмиугольный» («мыс», по произвольному утверждению О. Сулейменова, имеет значение в древнерусском языке «угол»), и означает в казахском эпосе «умелый в бою джигит». В авторском тексте «Слова» так якобы и было — «Ярослав Сегиз Қырлы».

Вот какой вид приобретает, например, сон Святослава, согласно «реконструкции» О. Сулейменова. Оказывается, «Святослав увидел во сне, что его готовят к погребению по тюркскому, тенгрианскому обряду (с. 63, подчеркнуто О. Сулейменовым. — *Д. Л.*). «Тощие тулы», которыми во сне сыплют на Святослава великий жемчуг,— это, оказывается, «тощие вдовы язычников». Непонятно только, каким образом можно сыпать жемчуг этими «тощими вдовами», ведь в «Слове» сказано, не «тощие тулы» сыплют, а «тощими тулами» сыплют жемчуг. О. Сулейменов произвольно меняет падежи.

Хорошо истолкованное в литературе о «Слове» место «Уже дьскы безъ кнѣса вь моемъ теремѣ златовръсѣмъ» О. Сулейменов переводит так: «престол без князя в моем тереме златоверхом» (с. 66). Ссылается при этом О. Сулейменов на то, что «формы «дьскы» (то есть «диски» или «дески») и «кнес» — необычны для восточнославянских языков и ни одним памятником древнерусской письменности не подтверждаются» (с. 66). Но это совершенно неверно: достаточно посмотреть «Словарь-справочник» В. Л. Виноградовой на слово «доска — дьска», чтобы увидеть, что это слово постоянно употребляется в памятниках древнерусской письменности, а «кнес» — князек — постоянен в памятниках фольклора. Именно

потому и говорится в «Слове» о «златоверхом» тереме, что речь перед этим как раз идет о его «верхе» — князьке и досках крыши.

Вот отдельные места в авторском тексте «Слова», как они представляются О. Сулейменову: «(Всю нощь с вечера) бусоврамне (възграяху): „Блеснь скана болони беша дебрь кисаню инес ошлюкъ син (ему морю)“» (с. 82). Русские слова в скобках — это, согласно предположениям О. Сулейменова, вставки переписчика XVI в. Перевод звучит так: «...бусурмане: «знаешь, как вернуть разум?» Пять железных пут омой — (инес) мстливый ты...» (Подчеркнутое место мною (О. Сулейменовым. — *Д. Л.*) не понятно)» (с. 71). Несколько ниже О. Сулейменов пишет: «Для меня главное в этом тексте «дебрь кисан» — железные путы, кандалы» (с. 71). Возвращаясь к этому же месту через несколько страниц, О. Сулейменов пишет: «Более десяти лет назад я впервые так прочел «плеснь... дебрь кисань», непрерывно искал им опровержения и лишь сейчас решаюсь опубликовать эту находку. Ценность ее для истории языковых взаимоотношений Руси и Поля неоценимо велика, и относиться к ней надо со всей бережливостью» (с. 82). Постараюсь учесть это пожелание О. Сулейменова. Однако почему же О. Сулейменов, призывающий столь «бережливо» относиться к своим собственным домыслам, так небрежен к своим предшественникам?

Обратимся к некоторым другим его исправлениям «Слова», более, казалось бы, правдоподобным.

В «Слове» имеется совершенно ясный текст — «из Кыева дорискаше до куръ Тмутороканя». Речь идет о князе-оборотне Всеславе Полоцком, который передвигался ночью «до кур», то есть, как обычно толкуют, до пения петухов, в образе волка. В этом определении времени «до кур» одновременно подчеркнуто то, что Всеслав сохранял свой облик волка только ночью, и быстрота его передвижения, способность за одну ночь преодолеть огромные расстояния. О. Сулейменову кажется, однако, необычной эта форма «до кур», и он иронизирует по ее поводу, находя, что следовало бы сказать «до куров». В своих сомнениях О. Сулейменов не одинок, и у О. Сулейменова есть предшественники: Н. Я. Марр [1],

---

[1] Марр Н. Я. Абхазоведение и абхазы. — «Восточный сборник», т. 1. 1936, с. 126.

В. В. Мавродин[1], Д. Д. Мальсагов[2] и другие. Однако стоит заглянуть в «Словарь-справочник» В. Л. Виноградовой, и можно легко убедиться, что выражения «до кур» и «в куры» для определения времени («до пения петухов») совершенно обычны в древнерусских памятниках — переводных и оригинальных. Слово «куръ» в древнерусском языке имеет в родительном падеже множественного числа нулевую флексию: форма «до куръ» совершенно правильна. Необходимость в ином истолковании отпадает.

Уровень представлений О. Сулейменова о древнерусском языке может быть продемонстрирован на следующем примере. О. Сулейменов пишет: «Святослав, обращаясь к князьям с призывом встать на защиту Русской земли, находит каждому достойное, уважительное определение. И вдруг почему-то к четырем князьям он обращается буквально на ты.

...Ты буй Рюриче и Давыде!
Не ваи ли вои злачеными шеломы
По крови плаваша?
...А ты буй Романе и Мстиславе!..
Храбрая мысль носить ваю умъ на дело[3].

Много буянов в «Слове». От Святослава ожидаешь более вежливого обращения. Местоимение «вы» ему, как и автору, известно, и в данных примерах оно было бы к месту» (с. 55—56).

Следовательно, О. Сулейменов учит автора «Слова» вежливому обращению «на вы» — обращению, как известно, заимствованному из французского языка только в XVIII в.

Слово «буй» О. Сулейменов знает только в одном значении — «буйный». Он считает, что прозвище Всеволода «буй тур» необычно для русского князя, и приводит обширную выдержку из книги А. Мазона о «Слове»,

---

[1] Мавродин В. В. Очерки истории Левобережной Украины. Л., 1940, с. 167.

[2] Мальсагов Д. Д. О некоторых непонятных местах «Слова о полку Игореве». — «Изв. Чечено-Ингушск. научно-исслед. ин-та истории, языка и литературы», т. 1, вып. 2. Языковедение. Грозный, 1959, с. 150, 152.

[3] За неправильную передачу текста «Слова» в данных цитатах ответственности не несу. — *Д. Л.*

в которой А. Мазон объявляет это сочетание «американизмом» — «одним из наиболее странных изобретений автора «Слова»» (с. 54). Прозвания из мира животных О. Сулейменов считает возможными только для «простолюдинов». А как же быть в таком случае со следующей характеристикой Романа Галицкого в Ипатьевской летописи под 1201 годом: «Стремил бо ся бяше на поганыя яко и лев, сердит же бысть яко и рысь, и губяше яко и коркодил, и прехожаше землю их яко и орел, храбор бо бе яко и тур»?

Я не имею возможности даже в десятой доле разобрать все те конъектуры и толкования, которыми полна книга О. Сулейменова. Поэтому я привожу только примеры ошибочности его общего подхода к задаче восстановления авторского текста «Слова». Остановлюсь еще на одном вопросе, очень важном для оценки уже чисто палеографических исправлений О. Сулейменова.

О. Сулейменов имеет очень неточные представления о древнерусских рукописях. Между тем в его книге мы имеем постоянные ссылки на обыкновения русских писцов или на те или иные якобы характерные палеографические особенности рукописей. Все они совершенно невежественны, а порой анекдотичны.

Так, например, О. Сулейменов утверждает: «Исследователи несправедливо приуменьшают (так! — *Д. Л.*) роль переписчика. Почему-то выгодней видеть в нем копииста и не больше, вопреки известному положению — копировалось механически, почти машинно лишь священное писание; даже клякса чернильная, сделанная в ранней копии, повторялась последующими книгописцами (интересно было бы узнать хотя бы об одном конкретном факте такого рода. — *Д. Л.*); произведения же светской литературы не копировались, а переводились (так! — *Д. Л.*) на язык переписчика. Переписчик был волен сокращать оригинал и вносить дополнения, расшифровывать имена и пояснять реалии» (с. 49—50). Исходя из этого крайне упрощенного и неточного представления о практике переписывания рукописей в Древней Руси, О. Сулейменов считает «Слово» одновременно произведением и XII, и XVI вв. А почему также и не XIII, XIV и XV вв.? Разве есть доказательства, что в эти века «Слово» не переписывалось?

О. Сулейменов решительно утверждает, что сочетание «къ» «в рукописном исполнении (где? каком? —

Д. Л.) похоже на древнерусскую букву «я»» (с. 45), но при этом не приводит ни одного примера и не разъясняет даже, что он имеет в виду под древнерусской буквой «я». Такой буквы в древнерусских почерках до XVII в. вообще не было; были только юс малый и йотированное «а»».

На основании такого рода палеографических «наблюдений» О. Сулейменов делает предположение, что никакого «Трояна» в «Слове» не было, а была Тмуторокань, довольно странно, впрочем, писавшаяся: «Трокънь»!

Свои исторические фантазии О. Сулейменов преподносит как всем известные факты или выдает за сведения из летописей.

Резко критикуя, например, труд покойного специалиста по хазарам М. И. Артамонова «История хазар» (1962) за недооценку хазар в русской истории, О. Сулейменов пишет: «Почему-то в книге не нашлось места хотя бы для такой справки из русских летописей, которые сообщали, что Киев, ставший центром русского государства, основали (разрядка моя.— *Д. Л.*) хазары» (с. 176). Древнейшая русская летопись, как хорошо известно, сообщает, что Киев основан Кием из племени полян. Но О. Сулейменов внушает читателю, что Киев основан хазарами, что факт этот известен летописям и что М. И. Артамонов якобы злостно скрывает от читателя этот бесспорный факт!

Весь раздел, посвященный исторической основе «Слова» и носящий название «Честное „Слово“» (все другие изображения его исторической основы, следовательно, нечестны в корне), написан в этом роде, с такого же рода свидетельствами и с таким же именно изображением исторических событий, предшествовавших событиям «Слова» или легшим в его основу.

Снова повторю: я лишен возможности опровергнуть все те многочисленные фантазии и прямые ошибки, которые имеются в книге О. Сулейменова, написанной, надо прямо сказать, без всякого чувства ответственности перед историческими фактами. Но на одной ошибке О. Сулейменова я все же хочу особо остановиться. Она хорошо показывает степень его компетентности и степень его тенденциозности.

Князь Игорь Святославич, по О. Сулейменову, сын половчанки. Между тем об отце Игоря, русском князе Святославе Ольговиче, точно известно, что он женился

в 1136 г. в Новгороде на простой новгородке. Вот что сказано в Новгородской I летописи XIII в. под 1136 г.: «В то же лето оженися Святослав Олговиць Новегороде, и веньцяся своими попы у святого Николы; а Нифонт (новгородский архиепископ. — *Д. Л.*) его не веньця, ни попом на сватбу, ни церенцем (чернецов. — *Д. Л.*) дасть, глаголя: „Не достоить ея пояти“». Родился Игорь от этой новгородки в 1151 г.

О. Сулейменов «озабочен» восстановлением «нравственной атмосферы» в науке о «Слове». Но что такое эта нравственная атмосфера в науке? Прежде всего, думается, уважение к фактам, соразмерность выводов с собственной компетенцией в изучаемом вопросе, соблюдение элементарных методических приемов и правил, уважение к предшественникам, полное знакомство с литературой по изучаемому вопросу. Наука и нравственность неразрывны. Нравственность в науке — это прежде всего научная честность, научная осторожность, отсутствие предвзятости, одностороннего стремления навязать изучаемому памятнику заранее постулируемые качества.

Меня, как русского, очень трогает стремление О. Сулейменова вложить в «Слово о полку Игореве» черты своего, тюркского, этноса. Трогают меня и другие проявления любви О. Сулейменова к «Слову». Но одно дело — область читательских чувств, другое — наука и элементарное чувство уважения к читателю, обязывающие автора быть знакомым с литературой вопроса, которым он занимается.

Выдвигая свою «концепцию» русско-половецкого происхождения «Слова», О. Сулейменов, по-видимому, даже не подозревает, что за несколько лет до его книги А. Н. Робинсон в своем хорошо известном докладе на пленарном заседании литературоведческой секции Международного съезда славистов в Варшаве выдвинул уже обширно и серьезно аргументированную гипотезу о «Слове» как памятнике культурного пограничья между Русью и Половецкой степью[1]. Так же точно упрекая исследователей «Слова» за то, что они мало уделяют внимания половецкому элементу в этом произведении,

---

[1] Робинсон А. Н. О закономерностях развития восточнославянского и европейского эпоса в раннефеодальный период. — В кн.: Славянские литературы. VII Международный съезд славистов. Варшава, август 1973 г. М., 1973, с. 178—224.

О. Сулейменов игнорирует специально посвященные этому вопросу работы Н. А. Баскакова, П. Голубовского, В. А. Гордлевского, А. Зайончковского, С. Е. Малова, П. М. Мелиоранского, К. Г. Менгеса, О. Прицака, В. Ф. Ржиги, Ф. Е. Корша и др.

Хотелось бы подать О. Сулейменову и другой совет. Нельзя путать различные литературоведческие жанры. Серьезность темы, которой посвящена книга, и серьезность научных претензий, которые в нее вложены, требуют и серьезности исполнения. Нельзя на такие темы писать романизованные исследования, утомительно оснащая их всевозможными остротами, каламбурами, ребусами и фельетонными приемами дурного вкуса. Штукарство не «к лицу» ответственной теме. Легкий успех у читателя, «успех скандала», не должен радовать уважающего себя автора [1].

Выше мы дали хрaктеристику «исследовательским приемам» О. Сулейменова. Эти приемы отнюдь не характеризуют только одну книгу О. Сулейменова. Напротив, они в какой-то мере типичны для многих «любительских» исследований «Слова». Среди них книга О. Сулейменова выделяется тем, что в ней соединены почти все виды «любительских» ошибок и нарушений научности в интерпретации памятника: это своего рода хрестоматия приемов, которыми не следует пользоваться в научной работе.

---

[1] О книге О. Сулейменова «Аз и я» см. также большую рецензию Л. А. Дмитриева и О. В. Творогова: «Слово о полку Игореве» в интерпретации О. Сулейменова. — «Русская литература», 1976, № 1, с. 251—258. Отчеты об обсуждении книги О. Сулейменова см.: Гуральник У. Писатель и литературная наука. — «Вопросы литературы», 1976, № 2, с. 216—224; Заика С. Обсуждение книги О. Сулейменова «Аз и я». — «Изв. АН СССР. ОЛЯ», т. 35, 1976, № 4, с. 376—385; Обсуждение книги Олжаса Сулейменова. — «Вопросы истории», 1976, № 9, с. 147—154. — В общей форме О. Сулейменов признал свои ошибки в местной, алмаатинской газете «Казахстанская правда» (1977, 19 марта, «Письмо в редакцию»).

«ТАКТИЧЕСКИЕ УМОЛЧАНИЯ» В СПОРЕ О ВЗАИМООТНОШЕНИИ «СЛОВА» И «ЗАДОНЩИНЫ»

(ПО ПОВОДУ РАБОТЫ С. Н. АЗБЕЛЕВА [1])

В споре о подлинности «Слова о полку Игореве» создалось в настоящее время весьма острое, но не совсем ясное для непосвященных положение. Спор сосредоточился в основном только вокруг одного вопроса: что от чего зависит — «Слово о полку Игореве» от «Задонщины», как утверждают скептики, или «Задонщина» от «Слова о полку Игореве», как утверждают защитники подлинности «Слова». По всем остальным вопросам спора произошло достаточно выразительное отступление, если не «беспорядочное бегство», скептиков. Никто из скептиков в настоящее время не утверждает, что именно первые издатели «Слова» были фальсификаторами или знали о том, что рукопись «Слова» фальсифицирована. Не только документы, но и самый ход подготовки и правки текста «Слова» в первом его издании отчетливо убеждают в том, что подготовка и правка велись издателями не «из головы», как это было бы естественно для людей, замешанных в фальсификации, а по какой-то рукописи, которая была для них достаточно авторитетна и которую они поэтому стремились воспроизвести возможно точнее. Никто из скептиков, профессионально знакомых с историей русского языка, не пытается утверждать, что в лексическом или грамматическом строе «Слова» обнаруживаются какие-либо особенности языка XVIII в. Никто из скептиков не «доказывает» сейчас,

---

[1] Азбелев С. Н. Текстологические приемы изучения повествовательных источников о Куликовской битве в связи с фольклорной традицией. — В кн.: Источниковедение отечественной истории. Сборник статей. Редакционная коллегия: Н. И. Павленко (главный редактор), В. И. Бобыкин, В. И. Буганов, А. А. Зимин, И. Д. Ковальченко, Б. Г. Литвак, А. Г. Тартаковский, Л. В. Черепнин, С. И. Якубовская. М., 1976, с. 163—190. (Далее ссылки на это издание приводятся в тексте.)

что «Слово» соответствует литературным принципам и историческим знаниям XVIII века. Никто не решится утверждать сейчас, что рассказ «Слова» о поражении русских войск Игоря Святославича был необходим для «империалистических» замыслов Екатерины II. Не фигурируют сейчас в работах скептиков и многие другие группы их аргументов, которые когда-то были представлены в старых работах, например, в черновых набросках М. И. Успенского [1], А. Мазона и пр.

Свою оборону скептики сосредоточили сейчас на одном пункте: что древнее по текстологическим соображениям — «Слово о полку Игореве» или «Задонщина»? Оборонять свои позиции на одном этом узком плацдарме почти невозможно, так как спор о подлинности любого произведения — спор широкий. Надо не только доказать несоответствие «подозреваемого» произведения своей эпохе, но и доказать возможность его появления, по всем показателям, в той эпохе, к которой его относят скептики. Тем не менее спор по текстологическим вопросам очень сложен, он недоступен для широкой публики. И широкая публика, которая, естественно, не может уследить за всеми частностями, легко может быть поэтому введена в заблуждение и предположить, что основания для сомнений в подлинности «Слова» все же имеются. Очень четкий обзор существа текстологического спора о «Задонщине» и ее отношении к «Слову» в недавнее время был дан в журнале «Русская литература» в статье Р. П. Дмитриевой «Некоторые итоги изучения текстологии «Задонщины» (в связи с вопросом о подлинности «Слова о полку Игореве»)» [2]. Тем не менее защита позиций скептиков может вестись и даже казаться убедительной для неспециалистов в форме, которая позволяет обойтись без упоминаний самого «Слова».

На том сравнительно жалком и узком плацдарме, который в настоящее время остался скептикам, им необходимо защищать две позиции:

1) отстаивать деление списков «Задонщины» на две редакции: краткую, которую скептики считают древней-

---

[1] См. мою статью: Лихачев Д. В поисках единомышленников. — «Вопросы литературы», 1966, № 5, с. 158—166.

[2] «Русская литература», 1976, № 2, с. 87—91.

шей (отождествляя древность списка с древностью представляемой этим списком редакции), и пространную, к которой они относят все остальные списки[1];

2) показать — откуда же явились все те стилистические и языковые особенности «Задонщины», которые не находят себе соответствий в литературе ее времени и которые исследователями объясняются прямым влиянием стилистики и отдельных пассажей «Слова о полку Игореве».

Вот два пункта, по которым скептикам необходимо дать недвусмысленные и исчерпывающие ответы, если они хотят сохранить свои позиции (весьма ограниченные, как я уже сказал).

После этого короткого, но необходимого вступления обращаюсь к прямому рассмотрению статьи С. Н. Азбелева.

По первому пункту С. Н. Азбелев в своей статье никакого ответа не дает. Он даже не упоминает о том, что большинством исследователей, которые занимались тщательным текстологическим анализом взаимоотношения списков «Задонщины», дается иное деление списков: на извод Синодальный и извод Ундольского. С. Н. Азбелев даже не упоминает самих работ, в которых проводится эта точка зрения. Напротив, он исходит из деления на краткую редакцию, представленную списком Кирилло-Белозерским, и редакцию пространную, представленную всеми остальными списками, как будто это является общепризнанным, само собой разумеющимся фактом. Обратившись ко второму пункту — откуда явились особенности «Задонщины»,— С. Н. Азбелев снова исходит, как из доказанного, что краткая редакция первоначальна, и даже не упоминает об объяснении особенностей Кирилло-Белозерского списка, которые давались защитниками подлинности «Слова». С. Н. Азбелев видит в «Задонщине», в ее краткой редакции, только фольклорное произведение и пытается доказать это путем приведения сходных мест из фольклора, причем во всех случаях текст «Слова» им полностью игнорируется, как

---

[1] См. критику этого деления и проистекающих отсюда выводов для вопроса о подлинности «Слова о полку Игореве» в упомянутой выше популярной статье Р. П. Дмитриевой. Там же литература вопроса.

будто близости памятников не существует и никогда и ничего на эту тему не писалось.

Однако если мы даже забудем об этом странном методе умолчания, то и тогда сама методика сопоставления с фольклорными произведениями не может не вызвать недоумения. Попробуем разобраться в том, как же сопоставляет С. Н. Азбелев «Задонщину» с произведениями фольклора, чтобы доказать ее фольклорное происхождение.

Прежде всего отметим, что, следуя своей концепции о делении списков «Задонщины», С. Н. Азбелев сопоставляет с фольклорными отрывками только текст Кирилло-Белозерского списка. Он приводит полный его текст в колонке слева, а в колонке справа приводит параллели из фольклорных источников [1]. Эти параллели представляют собой в основном крайне укороченные, выхваченные из контекста отрывки. В конце сопоставления С. Н. Азбелев сам пишет, что «параллели к Задонщине представляют собой ряд более или менее коротких текстовых фрагментов» и что «некоторые фрагменты взяты (я бы выразился более определенно: «выхвачены». — *Д. Л.*) из фольклорного контекста, далекого по смыслу от соответствующего пассажа Задонщины» (с. 172). Взглянем, как это делается.

Отметим, что так называемые параллели, которые в большинстве случаев параллелями не являются, приводятся С. Н. Азбелевым из произведений самых разнообразных фольклорных жанров, поэтических и прозаических: из былин, исторических песен, лирических песен, сказок и в одном случае даже просто из «Словаря местных и старинных слов», приложенных ко второму тому «Былин Севера» А. М. Астаховой (сноска 8 на с. 166; отсылка дается к с. 830 второго тома «Былин Севера»). Совершенно ясно, что если мы пытаемся установить связи какого-либо произведения с фольклором, то мы прежде всего должны указать, с произведениями какого фольклорного жанра эта связь устанавливается.

В основном приводятся словарные параллели, при этом отдельные слова совершенно не характерны для

---

[1] В дальнейшем, разбирая фольклорные примеры, приводимые С. Н. Азбелевым, я в целях экономии места не даю библиографических указаний, поскольку они имеются в его статье.

фольклора, а, кроме того, примеры чисто случайны. Так, в «Задонщине» сказано: «хоригови берчаты», а параллель к этому дается: «через те ли скатерти берчаты» (с. 167). В «Задонщине» говорится: «воскладая свои златыя персты на живыя струны», а в сопоставлении с этим дается такой текст: «Держит гусли звончатые, по гусельцам лежат струны золотыя» (с. 166). Что, спрашивается, кроме слов «златыя» и «золотыя», общего между этими двумя текстами?

Я бы мог привести множество примеров подобного рода, но нет нужды в этом, так как сам С. Н. Азбелев признается, что он приводит «короткие примеры», «далекие по смыслу» (текст этот С. Н. Азбелева мною уже приведен выше). Гораздо интереснее вопрос: зачем же это делается? Если читать правую, составленную С. Н. Азбелевым из коротких отрывков колонку текста, то создается впечатление, что текст в целом довольно связан и близок к «Задонщине». Именно этого поверхностного впечатления, по-видимому, автор и добивался. Если С. Н. Азбелев станет отрицать это свое намерение, то ведь в подобном сочинительстве не важно — намеренно или ненамеренно достигается такого рода впечатление: факт тот, что это впечатление у всякого непредвзятого читателя создается. Вот пример.

В «Задонщине» сказано, что «князь великий Дмитрий Иванович и брат его князь Володимер Ондреевич поостриша сердца свои мужеству», а в приводимой С. Н. Азбелевым параллели из песни «Из Крыму и из Нагаю» приводятся следующие слова: «А ехали два братца родимыя» (с. 166). Связи нет никакой, ибо «братцы» едут совсем другие, в другом направлении и с другими намерениями. Однако в сочиняемой С. Н. Азбелевым собственной «былине» эти слова, несомненно, к месту, так как они создают впечатление, что едут те же братья, в том же направлении, с теми же целями. Вот мозаичный текст С. Н. Азбелева (точками с запятой отделяются отрывки из совершенно различных фольклорных произведений): «На то побоище Мамаево; Засряжалась рать — сила могучая на поле на Куликове; А ехали два братца родимыя; Первый полк взял Задонский князь Дмитрий Иванович...» (с. 166).

Создание искусственного текста ясно видно и на следующем примере. В «Задонщине» об обоих двоюродных

братьях Дмитрии Донском и Владимире Серпуховском говорится, что «они бо взнялися как соколи со земли Русскыя на поля половетция». К этому месту С. Н. Азбелев создает следующую параллель из двух кусков фольклорных текстов: «И стал напущать он на полки татарские что ясен сокол; В далну орду, в полувецку землю» (с. 167). Но второй отрывок (отделенный от первого точкой с запятой) искусственно присоединен к первому и не имеет никакого отношения к походу против татар первого отрывка, а без первого он никак не может рассматриваться как мало-мальски необходимая параллель. Весь смысл правого, сочиненного С. Н. Азбелевым столбца в создании искусственного контекста, рассчитанного на читателя, который поленится проверять вырванные куски по источникам. Примеров такого рода произвольного создания контекста можно было бы привести много.

Не обошлось дело и без мелких подстановок. Так, например, в Кирилло-Белозерском списке в месте, заимствованном, как хорошо известно, из «Слова о погибели Русской земли», говорится о Железных Воротах — старинной крепости на берегу Каспийского моря. Никто и никогда не сомневался в том, что́ это за Железные Ворота, и во всех изданиях текстов «Слова о погибели» и «Задонщины» они, само собой разумеется, писались, как и полагается географическим названиям, с прописных букв. Вот это место: «Воды возпиша, весть подаваша по рожнымь землямь, за Волгу, к Железным Вратомь, к Риму, до Черемисы...» и т. д. С. Н. Азбелев пишет «железным вратомь» со строчных букв и подбирает им параллель — «отворяют ворота железныи» (с. 170). Но «Железные Врата» и «железные ворота» имеют такую же связь, как река Кура с птицей курой, река Амур с амуром, город Кривой Рог с кривым рогом, Жигули с жигулями, Куликово Поле с полем куликов[1] и пр.

Чтобы приблизить собственный текст к тексту «Задонщины», С. Н. Азбелев не только выхватывает слова

---

[1] Впрочем, такое смешение в истории скептицизма уже имело место. См.: «Champ des Becasses» — «бекасиное поле» (Mazon A. Le Slovo d'Igor. Paris, 1940, с. 5). На самом деле Куликово поле происходит от «кули́чек» — отдаленных мест.

из фольклорных произведений, но и изменяет пунктуацию. Так, например, к словам «Задонщины» «земля еси Русская, как еси была доселева за царем за Соломоном» С. Н. Азбелев приводит следующие слова: «Со святой Руси пришел-то Соломон царь» (с. 169). На самом же деле в сборнике «Русские былины старой и новой записи» Н. С. Тихонравова и В. Ф. Миллера[1] текст читается так:

Не калека пришел со Святой Руси,
Пришел-то Соломон царь Давыдович.

Опуская запятую и вырывая слова из контекста, С. Н. Азбелев изменяет строй предложения. Мало того, он присоединяет к этим вырванным из контекста с измененным смыслом словам еще и другие — «Я-то прежде-то был да в земли Руськоей», которые никакого отношения к предшествующим не имеют, как не имеют и к «Задонщине», но в связи с предшествующими создают впечатление параллели.

Смысл слов, приводимых из фольклорных произведений, очень часто совершенно другой, и установить этот другой смысл по отрывочному цитированию С. Н. Азбелева совершенно невозможно. Для этого необходимо сверять цитаты с источниками. Приведу некоторые примеры (далеко, разумеется, не все). Так, к словам «Задонщины» «той бо вещий Боян... пояше славу русскыим княземь» приводятся слова «тут старому славу поют» (с. 166). Но в первом случае пение славы означает прославление, а во втором — отпевание, похороны. Вот это место полностью:

И начали копать мать сыру-землю,
И хоронить тело да во сыру-землю.
. . . .
Тут старому славу поют.

Аналогичное изменение смысла имеет место и в следующей «параллели». В «Задонщине» говорится, что Дмитрий Иванович и его брат Владимир Андреевич вспоминают, поминают князя Владимира. В примере С. Н. Азбелева Илья Муромец входит в палату и здоровается с князем Владимиром: «Поклоняется на все стороны, величает царя Владимира». Контекст, из которого

[1] Русские былины старой и новой записи. М., 1894, с. 252.

смысл последних слов был бы ясен, разумеется, опускается (с. 167).

Насколько вольно подбираются параллели, показывает и следующий пример. К словам «Задонщины» «трубы трубят в Серпухове» приводится следующая группа слов: «Трубила трубонька по заре» (с. 167). Но в «Задонщине» трубы трубят к выступлению в поход, а во втором примере — это сравнение с плачем девушки по своей косе из свадебной лирической песни:

Трубила трубонька по заре,
Восплакала Марьюшка по косе...

Я привел только незначительную часть примеров, которые можно было бы собрать для иллюстрации «сравнительного метода» в статье С. Н. Азбелева. Все это удивительно, но еще удивительнее то «отпущение грехов», которое сам автор статьи дает себе в конце своих «сопоставлений»: «Близость почти всего текста Задонщины по рукописи XV в. к текстам фольклорных произведений, записанных в новое и новейшее время, оказывается в целом достаточно (так! — *Д. Л.*) очевидной. Временами стилистическая близость переходит в почти полное текстуальное тождество. Значение этого факта не умаляется ни тем, что параллели к Задонщине представляют собой ряд более или менее коротких текстовых фрагментов, ни даже тем, что некоторые фрагменты взяты из фольклорного контекста, далекого по смыслу от соответствующего пассажа Задонщины» (с. 172). Это заявление С. Н. Азбелева можно было бы продолжить примерно так: ни даже тем, что во вновь созданном произведении фрагменты приобрели иной смысл, чем тот, который они имели in situ, что ни одна из приводившихся в литературе параллелей из «Слова о полку Игореве» и «Слова о погибели Русской земли», в отношении которого никто и никогда не сомневался, что оно предшествует «Задонщине», не перекрывается ни одной из приводимых им «параллелей» из фольклора по своей близости. Следовало бы привести параллельно текст «Задонщины», искусственную подборку из фольклорных отрывков С. Н. Азбелева и текст «Слова о полку Игореве», чтобы убедиться в большей близости «Слова» и «Задонщины». Возьму только первый отрывок. К остальным пусть подберут параллели сами читатели.

РЕАЛЬНЫЙ ТЕКСТ «ЗАДОНЩИЦЫ»	РЕАЛЬНЫЙ ТЕКСТ «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»
Тои бо вещии Боян воскладая свои златыя персты на живыя струны, пояше славу русскыим князем.	Боянъ бо вѣщии, аще кому хотяше пѣснь творити... Боянъ же, братие, не 10 соколовь на стадо лебедѣи пущаше, нъ своя вѣщие прѣсты на живая струны въскладаше, они же сами княземь славу рокотаху.

ИСКУССТВЕННАЯ ПОДБОРКА ИЗ ФОЛЬКЛОРНЫХ ОТРЫВКОВ С. Н. АЗБЕЛЕВА (ИЗ ЧЕТЫРЕХ ТЕКСТОВ)

Тут старому славу поют; Кроме его в Киеве не было гораздней на гуслях играть; Держит гусли звончатыя; И велику славу до веку поют Скопину князю Михаилу Васильевичю.

Я не разбираю всей остальной части статьи С. Н. Азбелева, где он касается списков так называемой пространной редакции, так как он полностью игнорирует литературу вопроса по текстологии «Задонщины» (работы Р. П. Дмитриевой, Л. А. Дмитриева, О. В. Творогова, мои, А. Данти и пр.). Кратко остановлюсь только на той части статьи, где он «вербует» в свои единомышленники ряд покойных и еще живых исследователей. Здесь методика С. Н. Азбелева примерно та же. В число единомышленников С. Н. Азбелев относит И. И. Срезневского, В. Ф. Ржигу, А. И. Никифорова, В. П. Адрианову-Перетц, А. Н. Котляренко. К числу своих сторонников С. Н. Азбелев одним боком присоединяет и меня.

Дело, однако, обстоит не так просто. Следует прежде всего строго различать устное происхождение отдельных списков и всего произведения, с одной стороны, и фольклорное происхождение памятника — с другой. С. Н. Азбелев «доказывает» (мы видели как), что у «Задонщины» в качестве предшественников были только фольклорные произведения, из чего с непреложностью следует, что «Слово» не предшествовало «Задонщине», а явная их близость может объясняться

только тем, что «Слово» возникло как подражание «Задонщине». Между тем ни один из указываемых С. Н. Азбелевым исследователей этого не считал.

И. И. Срезневский рассматривал «Задонщину» как «образец особого рода народных поэм исторического содержания» и при этом не исключал влияния «Слова о полку Игореве». Он писал, что в «Задонщине» «кое-что кажется дословно взятым из Слова о полку Игореве»[1]. С. Н. Азбелеву следовало бы об этом сказать, излагая точку зрения И. И. Срезневского.

В. Ф. Ржига также считал «Задонщину» подражанием «Слову о полку Игореве», но, подражая, автор «Задонщины», по его мнению, шел «в сторону большего сближения своего произведения с устным народным творчеством». «Слово о полку Игореве» автор «Задонщины» знал «по памяти» и отдельные списки «Задонщины» также писались «на память»[2].

А. И. Никифоров высказывал мнение, что «Задонщина» — целиком фольклорное произведение, былина, и в доказательство даже пел «Задонщину», как и «Слово о полку Игореве», на своей публичной защите докторской диссертации. И все же главным источником «Задонщины» А. И. Никифоров считал «Слово о полку Игореве» — «былину XII века»[3]».

Само собой разумеется, что и В. П. Адрианова-Перетц, усматривая влияние народных песен и преданий на «Задонщину», не исключала существования главного источника поэтических средств «Задонщины» — «Слова

---

[1] Срезневский И. И. Задонщина великого князя господина Дмитрия Ивановича и брата его Володимира Ондреевича. — «Изв. ОРЯС АН», т. VI, вып. V. СПб., 1858, стлб. 340, 342. Ср. также его же: Несколько дополнительных замечаний к Слову о Задонщине. — Там же, т. VII, вып. II. СПб., 1858, стлб. 96—100.

[2] Ржига В. Ф. Слово Софония Рязанца о Куликовской битве (Задонщина) как литературный памятник 80-х годов XIV в. — В кн.: Повести о Куликовской битве. Издание подготовили М. Н. Тихомиров, В. Ф. Ржига, Л. А. Дмитриев. Серия «Литературные памятники». М., 1959, с. 377, 390, 399—400.

[3] См. тезисы докторской диссертации А. И. Никифорова «„Слово о полку Игореве“ — былина XII века» (Л., 1941). Замечу, кстати, что диссертация была высоко оценена всеми тремя оппонентами за интереснейший новый сравнительный материал, но ни один оппонент с основными выводами А. И. Никифорова не согласился. Текст диссертации А. И. Никифорова хранится в Рукописном отделе Института русской литературы АН СССР.

о полку Игореве»[1]. Она только объясняла испорченность списков «Задонщины» тем, что писцы работали по памяти, однако устное происхождение текста списков — это одно, а фольклорность произведения — совсем другое.

Что касается до А. Н. Котляренко, то вот его общий вывод: «„Задонщина“ в отношении языковых особенностей продолжает те лучшие традиции письменного литературного языка, которые были свойственны величайшему памятнику древнерусской *письменности* (курсив мой. — *Д. Л.*) — «Слову о полку Игореве», под непосредственным влиянием которого повесть и была написана... В «Задонщине» отражается новый характер литературного языка, близкого, с одной стороны, к традициям древнерусской *письменности* (курсив мой. — *Д. Л.*), с другой — к живой разговорной речи и деловой письменности, и, наконец, в нем имеются элементы народно-поэтической речи»[2]. В свете этого общего положения А. Н. Котляренко следует понимать и его, цитируемое С. Н. Азбелевым (с. 173—174), частное заключение о синтаксисе «Задонщины», что он «отличается почти полным отсутствием таких явлений, которые можно отнести к специфически книжным, специально литературным по употреблению»[3].

А теперь pro domo sua. Из приводимой С. Н. Азбелевым цитаты (с. 174) можно понять, что я также считаю текст «Задонщины» фольклорным. Между тем я пишу в цитируемой им статье лишь о названии «Задонщина». Это название народное, присуще только одному списку и, по-видимому, принадлежит писцу этого списка (Кирилло-Белозерского) Ефросину, который был «любителем народных произведений». Только и всего[4].

Статья С. Н. Азбелева производит грустное впечатление, во-первых, своей тенденцией во что бы то ни стало

---

[1] Адрианова-Перетц В. П. Историческая литература XI — начала XV в. и народная поэзия. — ТОДРЛ, т. VIII. Л., 1951, с. 132, 134 и др.; перепечатана в кн.: Адрианова-Перетц В. П. Древнерусская литература и фольклор. М.—Л., 1974, с. 58 и след.

[2] Котляренко А. Н. Сравнительный анализ некоторых особенностей грамматического строя «Задонщины» и «Слова о полку Игореве». — В кн.: «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла. М.—Л., 1966, с. 193.

[3] Там же, с. 195.

[4] Лихачев Д. С. О названии «Задонщина». — В кн.: Исследования по отечественному источниковедению. Сборник статей, посвященных 75-летию профессора С. Н. Валка. М. — Л., 1964, с. 475.

доказать только фольклорное происхождение «Задонщины», поставив тем самым «Слово о полку Игореве» в зависимость от этого памятника;[1] во-вторых, скрытостью этой тенденции, заставляющей автора исключать из рассмотрения целые пласты вопросов и целые разделы научной литературы, без которых этот вопрос нельзя решать и даже ставить его; в-третьих, своей методической беспомощностью и натяжками, которые он допускает; в-четвертых, наивным представлением о том, что фольклоризм произведения сводится только к его «языковой оболочке» и может быть доказан выхваченными из контекста параллелями. Пытаться доказать только фольклорное происхождение «Задонщины», исключая ее близость к «Слову», — это все равно, что говорить о зависимости симфонической поэмы П. И. Чайковского «Гамлет» только от саги «Гамлет», сохранившейся в хронике Саксона Грамматика XII в., игнорируя полностью одноименную трагедию Шекспира.

Умолчания, к которым часто прибегают исследователи в своем стремлении провести свою концепцию, исключают их «исследования» из сферы науки.

---

[1] Еще раз напомню, что в вопросе о взаимоотношении «Задонщины» и «Слова о полку Игореве» существует только одна альтернатива: либо «Слово» воздействовало на «Задонщину», либо «Задонщина» воздействовала на «Слово». И эта единственная альтернатива существует только для неспециалистов, которым затруднительно войти во все сложности этой проблемы.

ПРИЛОЖЕНИЯ

БИБЛИОГРАФИЯ РАБОТ Д. С. ЛИХАЧЕВА ПО «СЛОВУ О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»[1]

ИССЛЕДОВАНИЯ

О русской летописи, находившейся в одном сборнике со «Словом о полку Игореве».— ТОДРЛ, т. V. М.— Л., 1947, с. 131—141.

Из наблюдений над лексикой «Слова о полку Игореве».— «Изв. АН СССР. ОЛЯ», 1949, т. 8, вып. 6, с. 551—554. [С дополнениями в наст. изд., с. 199—205.]

Исторический и политический кругозор автора «Слова о полку Игореве». — В кн.: «Слово о полку Игореве». Сборник исследований и статей под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.—Л., АН СССР, 1950, с. 5—52. [С некоторыми исправлениями и дополнениями в наст. изд., с. 75—149.]

Устные истоки художественной системы «Слова о полку Игореве».— Там же, с. 53—92. [С некоторыми исправлениями в наст. изд., с. 150—198.]

Археографический комментарий.— В кн.: «Слово о полку Игореве». Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М. — Л., АН СССР, 1950, с. 352—368.

Комментарий исторический и географический. — Там же, с. 375—466.

История подготовки к печати текста «Слова о полку Игореве» в конце XVIII в. — ТОДРЛ, т. XIII. М.—Л., 1957, с. 66—89. [С некоторыми дополнениями в наст. изд., с. 237—277.]

О словаре-комментарии «Слова о полку Игореве». — ТОДРЛ, т. XVI. М.— Л., 1960, с. 424—441. [Совместно с Б. Л. Богородским и Б. А. Лариным.]

«Воззни стрикусы» в «Слове о полку Игореве». — ТОДРЛ, т. XVIII. М.— Л., 1962, с. 587.

Черты подражательности «Задонщины». (К вопросу об отношении «Задонщины» к «Слову о полку Игореве».) — «Русская литература», 1964, № 3, с. 84—107.

[То же с некоторыми переделками]: Nem-stilizációs utánzatok. (A Zadonscsina és az Igor-ének viszonyáról.) [Нестилизационные

[1] Составитель М. А. Салмина.

подражания («Задонщина» и «Слово о полку Игореве»).] — Filológiai közlöny. A Magyar tudományos akadémia. Budapest, 1965, 11, évf., 1—2 szám, 18—35.

Нестилизационные подражания.— В кн.: Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. Л., «Наука», 1967, с. 191—211; 2-е изд., дополн. Л., «Худож. лит.», 1971, с. 209—231.

Нестилизациона подражавања. — В књ.: Лихачов Д. С. Поэтика старе руске књижевности. Превео, предговор Д. Богдановић. Београд, «Српска књижевна задруга», 1972, s. 223—245.

Nestylizované nápodoby. — In: Lichačov D. S. Poetika staroruské literatury. Přeložil Ladislav Zadražil. Doslov napsala Světla Mathauserová. Praha. Odeon. 1975, s. 174—192.

Niestylizacyjne naśladownictwo w literaturze staroruskiej. — Zagadnienia rodzajów literackich. Lódz, 1965, t. 8, zesz. 1, s. 19—40. [Резюме на русск. и англ. яз.]

Художественное пространство словесного произведения. — В кн.: Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. Л., «Наука», 1967, с. 362—363; 2-е изд., дополн. Л., «Худож. лит.», 1971, с. 401—403.

Уметнички простор у старој руској књижевности. — В књ.: Лихачов Д. С. Поэтика старе руске књижевности. Превео, предговор Д. Богдановић. Београд. «Српска књижевна задруга», 1972, s. 420—422.

Umělecký prostor ve staroruské literatuře. — In: Lichačov D. S. Poetica staroruské literatury. Přeložil Ladislav Zadražil. Doslov napsala Světla Mathauserová. Praha, Odeon, 1975, s. 331—332.

Сон князя Мала в летописце Переяславля Суздальского и сон князя Святослава в «Слове о полку Игореве».— In: Festschrift für Margarete Woltner zum 70. Geburtstag am 4. Dezember 1967. Heidelberg, Carl Winter, 1967, S. 168—170. [См. в наст. изд. с. 229—233.]

«Тресвѣтлое солнце» Плача Ярославны. — В кн.: ТОДРЛ, т. XXIV. Литература и общественная мысль Древней Руси. Л., «Наука», 1969, с. 409.

Работа Н. Заболоцкого над переводом «Слова о полку Игореве». Комментарии Д. Лихачева и Н. Степанова. [Публикация писем Д. С. Лихачева к Н. Заболоцкому и Н. Заболоцкого к Д. С. Лихачеву; комментарии Д. С. Лихачева к письмам и статье Н. Заболоцкого «К вопросу о ритмической структуре «Слова о полку Игореве».] — «Вопросы литературы», 1969, № 1, с. 164—188.

Еще раз о «сне Святослава» в «Слове о полку Игореве». — В кн.: Сравнительное изучение литератур. Сборник статей к 80-летию академика М. П. Алексеева. Л., «Наука», 1976, с. 9—11.

«Слово о полку Игореве» и эстетические представления его времени. — «Русская литература», 1976, № 2, с. 24—37. [С дополнениями в наст. изд., с. 40—74.]

ПОЛЕМИКА И РЕЦЕНЗИИ

Рец.: Besharov, J. Imagery of the Igor tale in the Light of Byzantino-Slavic Poetic Theory. [Образы повести о походе Игоря в свете византийско-славянской поэтической теории.] Leiden, 1956. — «Изв. АН СССР». ОЛЯ, 1956, т. 15, вып. 6, с. 549—552.

Рец.: Новое болгарское издание «Слова о полку Игореве». «Песен из похода на Игор, Игор Святославич, внук Олегов». Преведе Людмил Стоянов. Издание на Българската Академия на науките. София, 1956, 142 с. — «Славяне», 1956, № 7, с. 57—59.

Новый перевод «Слова о полку Игореве». [О переводе С. В. Ботвинника.] — «Ленинградский альманах», 1957, кн. 12, с. 359—360.

Рец.: Замечательный труд. «Слово о полку Игореве» на сербскохорватском языке. [Слово о полку Игореве, Белград, «Нолит», 1957.] — «Литературная газета», 1958, 6 февраля, № 16.

Рец.: Sovjetski akademik Lihačov o delu M. Panicá-Surepa. [О переводе M. Panicá-Surepa «Слова о полку Игореве» на сербохорватский язык.] — «Književne novine». Beograd, 1958, gd. 9, Nov. ser., br. 64, 21/111, s. 2.

Изучение «Слова о полку Игореве» и вопрос о его подлинности. — В кн.: «Слово о полку Игореве» — памятник XII века. М. — Л., АН СССР, 1962, с. 5—78.

«Слово о полку Игореве» и особенности русской средневековой литературы. — Там же, с. 300—320. [С некоторыми дополнениями в наст. изд., с. 7—39.]

Когда было написано «Слово о полку Игореве»? — «Вопросы литературы», 1964, № 8, с. 132—160.

[Выступление 4—6 мая 1964 г. в Отделении истории АН СССР в г. Москве по поводу концепции А. А. Зимина]: Обсуждение одной концепции о времени создания «Слова о полку Игореве». — «Вопросы истории», 1964, № 9, с. 121—140.

От редакторов. — В кн.: «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла. К вопросу о времени написания «Слова». М.—Л., «Наука», 1966, с. 3—10. [Совместно с Л. А. Дмитриевым.]

В поисках единомышленников. [К опубликованию Институтом славяноведения Парижского университета труда М. И. Успенского «Небольшие исторические данные о происхождении «Слова о полку Игореве».] — «Вопросы литературы», 1966, № 5, с. 158—166.

The Authenticity of the Slovo o Polku Igoreve: A Brief Survey of the Arguments. [Подлинность «Слова о полку Игореве»: краткий обзор аргументов.] — «Oxford Slavonic Papers», 1967, vol. 13, p. 33—46.

К статье А. Г. Кузьмина «Мнимая загадка Святослава Всеволодовича». — «Русская литература», 1969, № 3, с. 110.

Further Remarks on the Textological Triangle: Slovo o Polku Igoreve, Zadonshchina and the Hypatian Chronicle. [Дальнейшие замечания по поводу текстологического треугольника: «Слово о полку Игореве», «Задонщина» и Ипатьевская летопись.] — «Oxford Slavonic Papers», 1969, New Series, vol. 2, p. 106—115. [С некоторыми изменениями в наст. изд., с. 296—309.]

Рец.: Труд, побеждающий скептиков. Адрианова-Перетц В. П. «Слово о полку Игореве» и памятники русской литературы XI—XIII веков. Л., «Наука», 1968. — «Правда», 1969, 5 сентября, № 248. [Совместно с Л. А. Дмитриевым.]

[Ответ на выступление Д. Ланга по докладу Д. С. Лихачева «Жанр „Слова о полку Игореве“».] — In: Atti del Convegno Internazionale sul tema: La poesia epica e la sua formazione (Roma, 28 marzo — 3 aprile 1969). Roma, Accad. nazionale dei Lincei, 1970, p. 331—332. [Текст на итальянск. яз.]

[Ответ на выступление А. Лорда по докладу Д. С. Лихачева «Жанр „Слова о полку Игореве“».] — Ibid., p. 332. [Текст на итальянском яз.]

Рец.: Адрианова-Перетц В. П. «Слово о полку Игореве» и памятники русской литературы XI—XIII веков. М., «Наука», 1968. — «Social Sciences». Moscow, 1970, vol. 2, p. 163—164. [Текст на англ. яз. То же на фр. и исп. яз.]

Рец.: Опираясь на знание эпохи. [Рыбаков Б. А. «Слово о полку Игореве» и его современники. М., «Наука», 1971.] — «Вопросы литературы», 1972, № 2, с. 207—210.

«Слово о полку Игореве» и скептики. — В кн.: Лихачев Д. С. Великое наследие. Классические произведения литературы Древней Руси. (Серия: «Любителям российской словесности».) М., «Современник», 1975, с. 348—363.

Взаимоотношение списков и редакций «Задонщины» (Исследование Анджело Данти). — В кн.: ТОДРЛ, т. XXXI. «Слово о полку Игореве» и памятники древнерусской литературы. Л., «Наука», 1976, с. 165—175. [См. об этом также наст. изд., с. 278—295.]

Гипотезы или фантазии в истолковании темных мест «Слова о полку Игореве». — «Звезда», 1976, № 6, с. 203—210. [С дополнениями в наст. изд., с. 310—328.]

[Отзыв о книге О. Сулейменова «Аз и Я»]: Заика С. Обсуждение книги О. Сулейменова «Аз и Я». — «Изв. АН СССР. Серия литературы и языка», т. 35, 1976, вып. 4, с. 376—383.

[Отзыв о книге О. Сулейменова «Аз и Я»]: Обсуждение книги Олжаса Сулейменова. — «Вопросы истории», 1976, № 9, с. 147—154.

«Тактические умолчания» в споре о взаимоотношениях «Слова о полку Игореве» и «Задонщины». — «Русская литература», 1977, № 1, с. 87—91.

РАБОТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА И ПОПУЛЯРНЫЕ

Культура и народ накануне татаро-монгольского нашествия. — В кн.: Лихачев Д. С. Национальное самосознание древней Руси. Очерки из области русской литературы XI—XVII вв. (Научно-популярная серия.) М.—Л., АН СССР, 1945, с. 61—64.

«Слово о полку Игореве». Историко-литературный очерк. (Научно-популярная серия.) Изд. 2-е, дополн. М. — Л., АН СССР, 1955, 152 с.

«Слово о полку Игореве». (Историко-литературный очерк.) — В кн.: «Слово о полку Игореве». Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. (Серия: «Литературные памятники».) М. — Л., АН СССР, 1950, с. 229—290.

Бессмертное произведение русской литературы. (К 150-летню первого издания «Слова о полку Игореве».) — «Звезда», 1950, № 12, с. 150—154.

Литература [XI—XIII вв.]. — В кн.: История культуры древней Руси. Т. 2. Домонгольский период. Ч. 2. Общественный строй и духовная культура. Под ред. Н. Н. Воронина, М. К. Каргера. М.—Л., АН СССР, 1951, с. 204—212.

Die Literatur. In: Geschichte der Kultur der alten Rus'. Die vormongolische Periode. Bd. 2. Gesellschaftsordnung und geistige Kultur. Hrsg. unter der Red. von N. N. Woronin, M. K. Karger. Deutsche Ausg. besorgt von Bruno Widera. Berlin. Akademie-Verlag, 1962, S. 206—215.

«Слово о полку Игореве» в становлении русской литературы. — В кн.: Лихачев Д. С. Возникновение русской литературы. М.—Л., АН СССР, 1952, с. 179—205.

Народное поэтическое творчество в годы феодальной раздробленности Руси — до татаро-монгольского нашествия (XII — начало XIII в.) — В кн.: Русское народное поэтическое творчество. Т. 1. Очерки по истории русского народного поэтического творчества X — начала XVIII веков. М.—Л., АН СССР, 1953, с. 244—247.

Venäjän kirjallisuuden merkkiteos. [Выдающееся произведение русской литературы.] — В кн.: Laulu Igorin sotaretkestä. Suomentanut Iaakko Rugojev. Petroskoi, 1953, s. 44—70.

«Слово о полку Игореве». — БСЭ, изд. 2-е, т. 39. М., 1956, с. 357—358. [Совместно с Н. К. Гудзием.]

Бессмертное произведение древнерусской литературы. — В кн.: «Слово о полку Игореве». В иллюстрациях и документах. Составитель О. А. Пини. Л., 1958, с. 3—14.

Литература второй четверти XII — первой четверти XIII века. Рост местных литературных центров. Критическое отношение прогрессивной литературы к феодальному дроблению страны и отражение идеи единства Руси. — В кн.: История русской литературы в 3-х т. Т. 1. Литература X—XVIII веков. М.—Л., АН СССР, 1958, с. 113—130.

Литературата през втората четвърт на XII и първата четвърт на XIII в. Разрастване на местните литературни центрове. Критично отношение на прогресивната литература към феодалната раздробеност на страната и отражение на идеята за единство на руската земя. — В кн.: История на руската литература. Т. 1. Литературата от X—XVIII в. Прев. от руски. София, «Наука и изкуство», 1960, с. 90—135.

«Слово о полку Игореве» — героический пролог русской литературы. М. — Л., Гослитиздат, 1961, 134 с.; изд. 2-е, Л., «Худож. лит.», 1967, 120 с.

«Слово о полку Игореве». — «Огонёк», 1963, № 51, с. 14—15.

«Слово о полку Игореве». — В кн.: «Слово о полку Игореве». М., «Худож. лит.», 1964, с. 5—20 (Народная б-ка); изд. 2-е. М., 1967, с. 5—20; изд. 3-е. М., 1968, с. 5—20; изд. 4-е. Л., 1976, с. 3—22.

«Слово о полку Игореве». — В кн.: «Слово о полку Игореве». Куйбышев, 1974, с. 5—33. (Школьная б-ка.)

Сюжетное повествование в памятниках, стоявших вне жанровых систем XI—XIII вв. — В кн.: Истоки русской беллетристики. Возникновения жанров сюжетного повествования в древнерусской литературе. Л., «Наука», 1970, с. 195—207.

Жанр «Слова о полку Игореве». — In: Atti del Convegno Internazionale sul tema: La poesia epica e la sua formazione (Roma, 28 marzo — 3 aprile 1969). Roma, Accad. nazionale dei Lincei, 1970, p. 315—330. [Текст на русском и англ. яз.]

«Слово о полку Игореве». — КЛЭ, т. 6. М., 1971, с. 961—963.

«Слово о полку Игореве» и процесс жанрообразования XI—XIII вв. — В кн.: ТОДРЛ, т. XXVII. История жанров в русской литературе X—XVII вв. Л., «Наука», 1972, с. 69—75.

«Слово о полку Игореве». — В кн.: Лихачев Д. С. Великое наследие. Классические произведения литературы Древней Руси. Серия «Любителям российской словесности». М., «Современник», 1975, с. 132—205.

Солнце русской поэзии. — «Литературная газета», 1975, 22 октября, № 43, с. 6.

Героический пролог русской литературы. [Беседа с корр. С. Селивановой о «Слове о полку Игореве».] — «Литературная газета», 1975, 23 июля, № 30, с. 6.

«Слово о полку Игореве». Историко-литературный очерк. М., «Просвещение», 1976, 175 с.

Музей «Слова о полку Игореве». — «Литературная газета», 1976, 1 января, № 1, с. 5. [Совместно с другими.]

ИЗДАНИЯ И ПЕРЕВОДЫ

«Слово о полку Игореве». (Б-ка поэта. Малая серия. Изд. 2-е). Л., «Советский писатель», 1949, с. 5—110, 163—204; (Б-ка поэта. Малая серия. Изд. 3-е). Л., «Советский писатель», 1953, с. 5—80, 233—275. [Вступительная статья, редакция текста, прозаический перевод, примечания.]

«Слово о полку Игореве». Под. ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.—Л., АН СССР, 1950, с. 7—31, 53—101, 229—290, 352—466. [Подготовка текста, ритмический перевод с древнерусского и объяснительный перевод, статья, комментарии, разночтения и примечания.]

«Слово о полку Игореве». М. — Л., Детгиз, 1953 [на обл. 1952], с. 5—111, 165—221; изд. 2-е, дополн. М. — Л., 1954 [на обл. 1955], с. 5—111, 166—228; изд. 3-е, М. — Л., 1961, с. 5—111, 166—228; изд. 4-е, М., «Дет. лит.», 1970, с. 5—107, 157—220; изд. 5-е, М., 1972, с. 5—107, 157—220; изд. 6-е, М., 1975, с. 5—107, 157—220. [Вступительная статья, редакция текста, дословный и объяснительный перевод с древнерусского, примечания.]

«Слово о полку Игореве». Калининград, 1971, с. 5—111, 165—228. [Вступительная статья, редакция текста, дословный и объяснительный перевод с древнерусского, примечания.]

[Прозаический перевод с древнерусского «Слова о полку Игореве»]. — In: Das Igor — Lied eine Heldendichtung. Der altrussische Text mit der Übertragung von Rainer Maria Rilke und der neurussischen Prosafassung von D. S. Lichatschow. Leipzig, Insel-Verlag, 1960, S. 51—64.

«Слово о полку Игореве». (Б-ка поэта. Большая серия. Изд. 2-е). Л., «Советский писатель», 1967, 539 с. [Вступительная статья; составление и подготовка текстов совместно с Л. А. Дмитриевым; перевод с древнерусского совместно с Л. А. Дмитриевым и О. В. Твороговым.]

«Слово о полку Игореве». — В кн.: «Изборник». Сборник произведений литературы Древней Руси. (Библиотека всемирной литера-

туры). М., «Худож. лит.», 1969, с. 196—213, 715—726. [Подготовка текста, перевод и примечания.]

«Слово о походе Игоревом, Игоря, сына Святославова, внука Олегова». Художник В. Семенов. Л., «Художник РСФСР», 1971, с. 4—111. [Подготовка текста, перевод с древнерусского, послесловие.]

Древняя русская литература. [«Слово о полку Игореве».] — В кн.: Русская литература. Хрестоматия для 8 класса средней школы. Составитель Т. П. Казымова. М., «Просвещение», 1974, с. 3—18; изд. 2-е. М., 1975, с. 3—18; изд. 3-е. М., 1976, с. 3—18.

«Слово о походе Игоревом, Игоря, сына Святославова, внука Олегова». Перевод. — В кн.: Слово о полку Игореве в переводах А. Мусина-Пушкина, А. Майкова, И. Новикова, А. Югова, Н. Заболоцкого, Л. Дмитриева, Д. Лихачева, О. Творогова, Н. Рыленкова. М., «Современник», 1975, с. 211—230. [Совместно с Л. Дмитриевым и О. Твороговым.]

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

БАН — Библиотека Академии наук СССР
ГБЛ — Государственная Публичная библиотека им. В. И. Ленина
ГПБ — Государственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина
ЖМНП — Журнал министерства народного просвещения (СПб.)
МГИАИ — Московский Государственный историко-архивный институт
ОЛЯ — Отделение литературы и языка (АН СССР)
ОРЯС — Отделение русского языка и словесности (АН, СПб.)
ПСРЛ — Полное собрание русских летописей
ТОДРЛ — Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы АН СССР (Пушкинский Дом)
ЧОИДР — Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете

ВКЛЕЙКА

ПОДПИСЬ: *Ничить трава жалошами, а древо с тугою к земле преклонилось.* (Клеймо иконы «Богоматерь Одигитрия Тихвинская в житии». «Смертное благовещение». Конец XV — начало XVI в. Из Мало-Кирилловского монастыря близ Новгорода. Новгородский историко-архитектурный музей-заповедник. Инв. № 12 630. Реставратор Ф. А. Модоров.)

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ[1]

(ТЕМЫ, ОБРАЗЫ И МОТИВЫ «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»)

[1] Указатель составлен М. Ф. Антоновой.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Лихачев Д. С.

Л 65 «Слово о полку Игореве» и культура его времени. — Л.: Худож. лит., 1978. — 360 с.

Книга исследований академика Д. С. Лихачева посвящена величайшему памятнику древнерусской литературы — «Слову о полку Игореве». Автор видит свою главную задачу в том, чтобы показать подлинность «Слова» и связь его с культурой своего времени. «Слово» рассматривается в контексте исторических, политических и эстетических представлений эпохи, на широком фоне историко-литературного процесса Древней Руси.

Значительное внимание автор уделяет полемике вокруг «Слова о полку Игореве».

Книга предназначается и специалистам по древнерусской литературе, и широким кругам читателей, интересующихся русской историей.

Л $\frac{70202\text{-}052}{028(01)\text{-}78}$ 256-78 8Р1

Дмитрий Сергеевич
ЛИХАЧЕВ

«СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» И КУЛЬТУРА ЕГО ВРЕМЕНИ

Редактор *Т. Мельникова*
Художественный редактор *Р. Чумаков*
Технический редактор *М. Шафрова*
Корректор *Л. Никульшина*

ИБ № 1059

Сдано в набор 27.09.77. Подписано в печать 24.04.78. М06359. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Литературная гарнитура. Высокая печать. 18,9 усл. печ. л. 19,334+1 вкл.=19,403 уч.-изд. л. Тираж 50 000 экз. Заказ № 1115. Цена 1 р. 10 к. Издательство «Художественная литература», Ленинградское отделение, 191186, Ленинград, Д-186, Невский пр., 28. Отпечатано в ордена Трудового Красного Знамени Ленинградской типографии № 2 имени Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 198052, Ленинград, Л-52, Измайловский пр., 29 с матриц ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского производственно-технического объединения «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 197136, Ленинград, П-136, Гатчинская ул., 26.

